

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ΕPISTEMOLOGY
& PHILOSOPHY OF SCIENCE

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Т. XLVIII • № 2

Ежеквартальный научно-теоретический журнал

МОСКВА
КНОРУС
2016

СОДЕРЖАНИЕ



Editorial

- И.Т. Касавин, В.Н. Порус.* **Философия науки в России: от интеллектуальной истории к современной институционализации** 6



Panel Discussion

- Б.Г. Юдин.* **Технонаука и «улучшение» человека** 18
- Е.В. Брызгалкина.* **Технонаука и перспективы улучшения человека: «Я уже вижу наш мир, который покрыт паутиной лабораторий»** 28
- Е.Г. Гребенщикова.* **Биотехнонаука и границы улучшения человека** 34
- О.Е. Столярова.* **Технонаука как экспериментальная среда и экспериментальная методология** 40
- В.А. Луков.* **«Улучшение» человека как молодежная проблема** . . . 45
- П.Д. Тищенко.* **Двойная спираль технологизации жизни** 51
- Б.Г. Юдин.* **Человек в контурах технонауки. Комментируя комментарии** 54



Epistemology and Cognition

- Том Рокмор.* **Эпистемический конструктивизм, метафизический реализм и принцип тождества у Парменида** 59
- Димитрис Килакос.* **От парменидовского тождества — за пределы классического идеализма и эпистемического конструктивизма.** 75



Language and Mind

- И.Б. Микиртумов.* **Некомпозициональность и интендированный смысл** 87



Vista

- С.Г. Секундант.* **Иоганн Христоф Штурм: эклектицизм как философская идеология и методологическая программа** . . . 104



Case-studies

- И.А. Герасимова.* **Гиппократ и Аристотель (к вопросу о становлении первых логических программ)** 121
- В.М. Розин.* **Методология познания и конституирование реальности в междисциплинарных исследованиях** 141
- А.Ю. Антоновский.* **Коммуникативная интерпретация науки в контексте классических эпистемологических проблем** . . . 159

Е.В. Золотухина-Аболина. Здравый смысл и иррациональное 176



Interdisciplinary Studies

*Н.Г. Николаева. «Тусклое стекло» неподобных образов:
символический мир Ареопагитик 193*



Archive

*Т.Д. Соколова. Гастон Башляр и актуальность исторической
эпистемологии 209*

Гастон Башляр. Актуальность истории науки 220



Book Reviews

*И.Т. Касавин. История науки a la belle lettre: опыт Лауры
Снайдер 233*

П.С. Куслий. Свободная косвенная речь и ее семантика 238

*В.И. Аршинов. Проблема реальности как «трудная проблема»
философии науки 244*



Некролог

Памяти Е.Е. Ледникова 251

Владимир Алексеевич Колпаков (1955–2016) 252

CONTENTS

| | |
|---|-----|
| <i>Ilya Kasavin, Vladimir Porus. Philosophy of Science in Russia: from Intellectual History to the Institutional Update</i> | 6 |
| <i>Boris Yudin. Technoscience and “Human Enhancement”</i> | 18 |
| <i>Elena Bryzgalina. Technoscience and Prospects for Improving Human: “I can see our world which is covered by a net of laboratories”</i> | 28 |
| <i>Elena Grebenshikova. Biotechnoscience and Boundaries of Human Enhancement</i> | 34 |
| <i>Olga Stoliarova. Tehnoscience as an Experimental Environment and Experimental Methodology.</i> | 40 |
| <i>Valery A. Lukov. Human Enhancement as a Youth Problem</i> | 45 |
| <i>Pavel Tishchenko. Double Helix of Life Technologization</i> | 51 |
| <i>Boris Yudin. A Man within the Frame of Technoscience. Reply to Critics</i> | 54 |
| <i>Tom Rockmore. Epistemic Constructivism, Metaphysical Realism and Parmenidean Identity</i> | 59 |
| <i>Dimitris Kilakos. From the Parmenidean Identity to Beyond Classical Idealism and Epistemic Constructivism</i> | 75 |
| <i>Ivan Mikirtumov. Non-compositionality and Intended Sense</i> | 87 |
| <i>Sergei Secundant. Johann Christoph Sturm: Eclecticism as a Philosophical Ideology and Methodological Program</i> | 104 |
| <i>Irina Gerasimova. Hippocrates and Aristotle (on the Formation of the First Logical Programs)</i> | 121 |
| <i>Vadim Rozin. The Methodology of Learning and Constitution of Reality in Interdisciplinary Studies</i> | 141 |
| <i>Alexander Antonovski. Communicative Interpretation of Science in the Context of the Classical Epistemological Problems</i> | 159 |
| <i>Elena Zolotukhina-Abolina. The Common Sense and the Irrational</i> | 176 |
| <i>Nataliya Nikolaeva. The “Hazy Outline” of Dissimilar Images: The Symbolic World of Corpus Areopagiticum</i> | 193 |
| <i>Tatiana Sokolova. Gaston Bachelard and the Topicality of Historical Epistemology</i> | 209 |
| <i>Gaston Bachelard. L’actualité de l’histoire des sciences</i> | 220 |
| <i>Ilya Kasavin. History of Science a la Belle Lettre: a Case of Laura Snyder</i> | 233 |
| <i>Petr Kusliy. Free Indirect Discourse and its Semantics</i> | 238 |
| <i>Vladimir Arshinov. The Problem of Reality as a “Hard Problem” of Philosophy of Science.</i> | 244 |

Публикуемые материалы прошли процедуру рецензирования и экспертного отбора.

Журнал включен в международную базу данных "Philosophy Documentation Center" (с июня 2014 г.) и индексируется в ERIH PLUS (с августа 2015 г.).

С 2016 г. журнал входит в перечень RSCI, и весь архив публикаций индексируется в Web of Science.

Журнал включен в перечень периодических изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ для публикации материалов кандидатских и докторских диссертационных исследований в области философии, социологии и культурологии (с 1 января 2007 г.). Статус журнала подтвержден перечнем периодических изданий ВАК РФ от 1 декабря 2015 г.

All materials underwent the process of anonymous peer review and were approved for publication by the Editorial Board.

Editor:

Ilya Kasavin (Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences (IPh RAS))

Editorial Assistants:

Irina Gerasimova (IPh RAS)

Petr Kusliy (IPh RAS)

Liana Tukhvatulina (IPh RAS)

Editorial Board:

Alexandre Antonovski (IPh RAS), Vladimir Arshinov (IPh RAS), Valentin Bazhanov (Ulyanovsk State U), Vladimir Filatov (RSUH), Steve Fuller (U of Warwick, Great Britain), Vitaly Gorokhov (IPh RAS), Vladimir Kolpakov (IPh RAS), Natalia Kuznetsova (RSUH), Jennifer Lackey (Northwestern U, USA), Joan Leach (U. of Queensland, Australia), Sergei Levin (Higher School of Economics, Saint-Petersburg), Natalia Martishina (Siberian Transport U), Lyudmila Mikeshina (Moscow State Pedagogical U), Alexander Nikiforov (IPh RAS), Sofia Pirozhkova (IPh RAS), Hans Poser (Technische U Berlin, Germany), Vladimir Porus (NRU Higher School of Economics), Sergei Sekundant (Odessa State U, Ukraine), Yaroslav Shramko (Kryvyi Rih National U, Ukraine)

International Editorial Council:

Piama Gaidenko (IPh RAS, Russia), Abdusalam Guseinov (IPh RAS, Russia), Rom Harre (London School of Economics, Great Britain), Vladislav Lektorski (IPh RAS, Russia), Hans Lenk (U Karlsruhe, Germany), Tom Rockmore (Duchesne U, USA), Vyacheslav Stepin (IPh RAS, Russia)

© Институт философии РАН. Все права защищены, 2016

© ООО «Издательство «КноРус», 2016

© Institute of Philosophy RAS. All rights reserved, 2016

© «КноРус», 2016



Ф

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ В РОССИИ:

ОТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ

Илья Теодорович

Касавин — доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий сектором эпистемологии Института философии РАН.

E-mail:

itkasavin@gmail.com

Владимир Натанович

Порус — доктор философских наук, профессор, руководитель Школы философии Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (Москва).

E-mail:

vporus@rambler.ru,

vporus@hse.ru

Показывается, что для российского философского сообщества история и современное состояние философии науки и науковедения являются предметом особого интереса в силу выделенного места в системе университетского образования. Этот статус также подкрепляется ее близостью к мировому философскому мейнстриму XX в. и ее особой предметностью, связью с наукой. Одновременно философия науки сохраняет определенную нейтральность по отношению к доминирующей политической идеологии и претендует на объективное знание. История философии науки поэтому выступает во многом как история философского рационализма, а ее перспективы определяются укреплением роли науки в современной культуре. Однако современное бытие философии науки претерпевает существенное изменение, испытывая на себе целый ряд вызовов. Среди них принижение роли интеллектуала и ученого в обществе политического волюнтаризма, массового потребления и культа мистики. Философское исследование науки и техники в таком случае вынуждено брать на себя задачи социальной критики и формировать в целях самосохранения особые гражданские институты. Тем самым в философию науки интегрируются политические, этические и даже социотехнические компоненты, позволяющие рассматривать ее как жесткое ядро междисциплинарного взаимодействия всех социально-гуманитарных дисциплин.

Ключевые слова: философия науки и техники, история, междисциплинарность, социальная критика, реформа образования, традиция, философские сообщества.

P

PHILOSOPHY OF SCIENCE IN RUSSIA: FROM

INTELLECTUAL HISTORY TO THE INSTITUTIONAL UPDATE

Ilya Kasavin — PhD in philosophy, professor, correspondent member of the Russian Academy of Sciences, head of the department of social epistemology, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.

Vladimir Porus — PhD in philosophy, professor, head of the School of Philosophy, National Research University Higher School of Economics.

The article shows that Russian philosophical community is very sensitive towards the history and the current state of philosophy of science and of science studies, which are a subject matter of special interest by virtue of a dedicated space in the university education system. This status is also supported by its proximity to the international philosophical mainstream of the 20th century and its specific object, its connection with science. Philosophy of science at the same time retains some neutrality in relation to the dominant political ideology and proposes claims for an objective knowledge. History of philosophy of science, therefore, serves largely as a history of philosophical rationalism, and its prospects are determined by the strengthening of the role of science in modern culture. However, the modern existence of philosophy of science is undergoing substantial change and experiences a series of challenges. Among them there are the humiliation of intellectuals and scientists in society political voluntarism, mass consumption and the cult of mysticism. Under these conditions, a philosophical study of science and technology is forced to take on the challenges of social criticism and shape special civil institutions for self-preservation. Thus philosophy of science integrates the



political, ethical and even social engineering components that allow for treating it as a hard core of interdisciplinary interaction of all socio-humanitarian disciplines.

Key words: philosophy of science and technology, history, interdisciplinary, social criticism, education reform tradition, philosophical community.



В настоящей статье мы обращаемся к проблеме, которая рассматривалась еще десять лет назад [Касавин, 2006]. Именно тогда началась реформа философского образования в российской аспирантуре. По программе так называемого кандидатского минимума будущие ученые стали сдавать экзамен по истории и философии науки. Было много споров о целесообразности этого нововведения, но и сегодня специалисты расходятся в оценках его результатов. Кто-то увидел в этом прогрессивный сдвиг в сторону сближения философии с наукой и ее историей, положительно влияющий не только на развитие этих областей знания, но и на всю систему подготовки научных кадров. Это также соответствовало мировому тренду, в ходе которого сложился самостоятельный и высокий статус философии науки в ряде развитых философских стран. Кто-то указывал на недостатки процесса: слишком малое число специалистов по философии науки и почти полное отсутствие таковых по истории науки; неопределенность собственно исторического компонента этой дисциплины (шла ли речь об общеисторическом пути науки от античности до наших дней, или же об истории отдельных научных дисциплин). Эти и другие трудности, если их, как часто бывает, игнорировать, чреваты профанацией преподавания и разочарованием слушателей в новой дисциплине [Порус, 2007; Кузнецова, 2010].

Постепенно выяснилось, что по-своему правы и те, и другие. Конечно, преподавание философии науки в тесной связи с историей науки несет в себе потенциал расширения культурного горизонта будущих ученых и одновременно побуждает философов осваивать конкретный материал научного знания и его истории. Но реализация этого потенциала столкнулась с привычной рутинной и формализмом. Недостатки, безусловно, осознавались тогда, они известны и сегодня, но этого мало. Необходимы решительные перемены во всей системе подготовки специалистов по философии и истории науки. Кроме того, приходится иметь в виду еще и тот печальный факт, что прошедшее десятилетие знаменовалось перманентным упадком школьного



и высшего образования. Сегодняшние попытки исправить положение реформами высшей школы, идущими на фоне финансово-экономического кризиса, выглядят неубедительно. Если плохо тренированного и недокормленного бегуна включить в состав олимпийской команды легкоатлетов, результат его участия в играх нетрудно предсказать. Разумеется, это отрицательно сказывается на готовности вчерашних школьников — студентов и вчерашних студентов — аспирантов к восприятию философско-исторического смысла науки и на их заинтересованности в этом предмете.

Во всяком случае, кажется, уже всем ясно, что кавалерийским наскоком новые рубежи высшего философского образования взять не получится, здесь требуется систематическая и долгосрочная работа. Когда аспирантура была юридически оформлена как третья фаза высшего образования, программа кандидатского минимума оказалась в сложной и не вполне понятной связи с другими программами аспирантского обучения. Это лишь один пример того, что преодоление «ущербной» институционализации философии и истории науки должно рассматриваться как задача, требующая эффективного решения.

Еще раз о статусе философии науки

Философия науки — это результат соединения философской рефлексии над наукой и научной рефлексии над философией, причем обе рефлексии еще и отражаются одна в другой. Здесь нет нужды останавливаться на разборе различных определений философии науки. Специалисты так или иначе понимают друг друга, работая в ее границах. Важнее напомнить, что все участники этого тройственного отношения (философия — наука — философия науки) включены в общий исторический процесс и только в этом процессе могут быть осмыслены. Фраза И. Лакатоса «История науки без философии науки слепа, философия науки без истории науки пуста» могла бы иметь продолжение: «Философия науки, взятая вне своей собственной истории, безжизненна». Афоризм потерял бы лаконичность, но приобрел бы новый смысл. В самом деле, философия науки теснейшим образом связана и генезисом своих понятий, и методами, и результатами, обладающими научной значимостью, со своей историей, в свою очередь соотносенной с историей философии и науки.

На разных этапах своего становления и существования философия выражала различные формы отношения к науке и к философии как таковой. Философское исследование науки в античности («диалог» Платона, «Органон» и «Физика» Аристотеля), гносеологическое и методологическое обоснования результатов науки как истин-



ных знаний о мире в Новое время (рационализм Р. Декарта и Г. Лейбница, эмпиризм И. Ньютона и Дж. Локка, трансцендентальный идеализм И. Канта, Ф. Шеллинга и Г.В.Ф. Гегеля) различались своими целями и ценностными ориентациями. Когда же наука стала специальной сферой профессиональной деятельности, обслуживающей интересы общества и государства (в экономике, политике, образовании, здравоохранении, военном деле и т.д.), когда она получила ни с чем не сравнимую роль в культуре, ее философский анализ приобрел особое значение. Цели и результаты такого исследования зависят как от характера самой философии, ее «самоопределения» по отношению к науке, так и от развития науки, ее важнейших результатов, их мировоззренческого смысла и возможностей практического использования.

Этим определяется и возрастание значимости исторического подхода к самой философии науки. Ее отношения с наукой захватывают не только сферу методологии или гносеологии, они входят в социально-культурный контекст современности, пронизываются его ценностным содержанием и в свою очередь вызывают изменения этого контекста. В этом смысле философия науки оказывается частью социальной философии и философии культуры.

В определенный момент именно она становится предметом особого внимания, помогая преодолеть парадигмальную инерцию, теоретическую стагнацию, эмпирическую пресыщенность, бесконечный регресс интерпретаций как в науке, так и в самой философии. Обращение к истории напоминает также о роли философии науки в широком интеллектуальном и культурном контексте. Она обнаруживает критицизм по отношению к тоталитарным и националистическим режимам, к религиозному обскурантизму и политической мифологии, к хроническим заблуждениям обыденного сознания.

История философии науки в широком смысле выполняет и особую функцию в исследовании историко-философского процесса. Она позволяет очертить траекторию философского рационализма, осознать масштабы рационалистического философствования вообще, выступает действенным стимулом культурного развития, у которого нет альтернативы.

К эмпирической историографии философии науки

Если видеть в неразрывной связи философии науки с ее историей методологический принцип, то уместно вспомнить еще один афоризм И. Лакатоса: «История науки есть пробный камень для методологической концепции». Другими словами, эмпирическая историография философии науки должна «верифицировать» тезис о том, что на своем историческом пути философия науки не была замкнута в сфере



чисто методологических разработок, но всегда участвовала в решении проблем социального, этического и даже идеологического планов, связанных с наукой. Даже беглый обзор важнейших этапов становления и развития философии науки показывает справедливость этого тезиса [Касавин, Пружинин, 2009].

В Новое время наука вырабатывала стратегию своего очищения от прежних интеллектуальных традиций, а философия приобретала формы, близкие этой стратегии, стремилась «обрести научность» и гордилась, когда ей это в той или иной степени удавалось. Тогда их совместное движение направлялось общей целью: освобождения научного интеллекта от связывающих его отживших культурных условий и традиций. Наука должна была стать главной культурообразующей силой, и философия — если рассматривать ее основные тренды — сделала это требование своим знаменем, главным пунктом своей идеологии. Именно поэтому философия науки исторически возникла в нововременную эпоху в среде философов, которые практиковали также и эмпирическое естествознание и решили способствовать этому новому интеллектуальному движению. Решение в немалой степени было обязано разочарованию ученых в классической умозрительно-схоластической философии и инспирировалось стремлением построить научную, антиметафизическую философию по образу новой науки. Вклад философии науки состоял в том, чтобы осознать и обосновать наступающую зрелость научной мысли. В этом отношении она дистанцировалась от идей Ф. Бэкона и Р. Декарта, принадлежащих эпохе, когда сама наука еще не сформировалась и представляла в философском сознании как очищенный от заблуждений здравый смысл или его логическое развитие.

Рождение философии науки как дисциплины совпало с радикальным изменением ситуации: во второй половине XIX — начале XX в. механика и эволюционная теория последовательно образовали две ведущие научные парадигмы, далеко оторвавшиеся от обыденного сознания. Отсюда возникла необходимость в преодолении известного «кризиса европейских наук» [Гуссерль, 2004]. В целях такого нового обоснования научного знания многие представители философии науки, приходя из сферы профессионального естествознания и математики, приносили с собой эмпирическую ориентацию и приверженность логической строгости, уже мало совместимые с философским дискурсом даже в критическом стиле Д. Юма или И. Канта. Одновременно они пропагандировали новейшие научные достижения и намеревались путем их обобщения строить научную философию.

Реализация этой стратегии была связана с преобразованиями культурного пространства, и этот процесс не был ни легким, ни однозначным. Несмотря на триумфальные успехи естествознания, культура далеко не сразу приняла новую науку и новую философию в свою



сердцевину. Еще в самый разгар научной революции XVII–XVIII вв. наместились трещины и разломы европейской культуры, которые впоследствии расширились и углубились, поставив под вопрос само ее существование [Свасьян, 1990].

Нельзя сказать, что этот кризис преодолен в наши дни. Скорее, напротив, он продолжает углубляться и приобретает новые формы. И это особый предмет философии науки в новейшей фазе ее истории. Безусловно, это не может не сказаться на ее дисциплинарном статусе. Практика преподавания философии науки как университетской дисциплины дает основания судить о том, что интерес к ней поддерживается не только ее результатами, связанными со структурой научного знания или методами научного исследования, но в значительной мере тем, что она может сказать о социально-культурной роли науки, о ее перспективах в ближайшем историческом будущем. Современная история науки ставит перед философией науки новые цели и задачи, и это находит отражение в истории самой философии науки.

Ретроспекция как поиск традиции

Достижение философией науки зрелого состояния во второй половине XX в. заставило по-новому взглянуть на свою историю и обнаружить истоки в более глубокой древности. Это было требование уже не обоснования науки, а самообоснования философии науки. Историографическая задача явилась формой артикуляции собственной традиции. Она потребовала ссылок не только на О. Конта и Дж. С. Милля, но и на Платона и Аристотеля, на Бэкона и Декарта, на Локка и Канта, на французских энциклопедистов. Читатель книги Дж. Лоузи «Историческое введение в философию науки» [Losee, 1972] (книга пользуется большой популярностью и выдержала несколько обновленных и дополненных изданий) обнаруживает, что философия науки зародилась в глубокой античности. Уже тогда мыслители древности давали классификацию наук, предлагали критерии демаркации умозрительной и эмпирической науки, формулировали требования к логическому рассуждению и научному методу, анализировали природу научного объяснения и обоснования теории. Более того, в те далекие времена философы и ученые выдвигали конкурирующие методологические программы (эссенциализма и феноменологизма, эмпиризма и конструктивизма), каждая из которых базировалась на собственных критериях рациональности. Само собой, Лоузи подчиняет свое беглое изложение образовательным задачам и лишь в малой степени озабочен концептуальным анализом того, чем является философия науки как таковая.



П.П. Гайденко, относя возникновение первых научных программ к глубокой античности, также проводит мысль о философии науки как дисциплине, сопровождавшей науку в самых ее истоках [Гайденко, 1980]. А Б.М. Гессен неявно позиционирует философию науки в качестве спутника нововременного эмпирического естествознания и ньютоновой парадигмы [Гессен, 1933]. Таким образом, историография философии науки оказывается существенно зависимой от понятия науки и ее истории и претерпевает существенную эволюцию.

Эмпирическая историография науки уже стала надежным инструментом исследования для многих философов и историков науки. В этом отношении особого упоминания заслуживает творчество М.А. Розова, который к разработке своей концепции социальных эстафет как средства философско-научного анализа часто шел от case studies, почерпнутых из истории науки, блестящим знатоком и пропагандистом которой он был [Розов, 1997; Розов, 2008]. В меньшей степени подобный инструмент используется применительно к самой философии науки. Возможно, однако, что именно через его применение может открыться путь к «метафилософии науки», т.е. к теории философско-научного процесса (по аналогии с «метафилософией», которую Т.И. Ойзерман называл «теория историко-философского процесса») [Ойзерман, 2014]. Помимо чисто историко-научной задачи такой взгляд конструирует и легитимизирует интеллектуальную традицию, без которой философия науки не может претендовать на самостоятельную ценность. Применительно к российской философии науки этот проект еще предстоит реализовать.

Необходимость философско-научных сообществ

Один из критериев зрелости философской мысли — ее инфраструктурное разнообразие. В частности, речь идет о сегментации философских интересов в форме создания научных сообществ. К примеру, в Германии с ее традиционным Национальным философским обществом (Deutsche Gesellschaft für Philosophie), насчитывающим свыше 2000 членов, успешно конкурирует общество аналитической философии (Gesellschaft für Analytische Philosophie, свыше 1000 членов). Сходная ситуация и в Испании. Помимо крупных философских обществ во многих странах создаются локальные общества, чья деятельность концентрируется вокруг дисциплины (философия математики, аналитическая философия истории и т.п.) или творчества отдельного выдающегося философа (Кантовское общество в Германии, Юмовское общество в Великобритании). Главная задача такого рода обществ состоит в организации и проведении регулярных научных



мероприятий, издании журналов и поддержке (в основном моральной) различных философских исследований во всем мире.

В России первые философские общества были созданы в конце XIX в., разогнаны в 20-е гг. следующего столетия, и только в 1971 г. было организовано Философское общество СССР для позиционирования марксистской философии на международных площадках. В настоящее время создание научных обществ фактически парализовано социально-политической ситуацией: отношением к НКО, к гражданскому обществу в целом, экономическими проблемами. На это накладывается обоснованное недоверие ученых к коммерческим организациям, которые проводят платные конференции, издают платные журналы и претендуют на решение всех проблем с научными рейтингами.

Задумываясь о необходимости создания новых научных обществ в современной России, следует иметь в виду несколько обстоятельств. Во-первых, доверие к такому обществу может быть обеспечено его аффилиацией с известным и влиятельным государственным учебным или научным центром. Вообще все социальные институты делятся на те, которые формируются стихийно-исторически («снизу»), и те, которые создаются целенаправленно, с помощью административного ресурса («сверху»). Так возникали Лондонское королевское общество и Французская академия наук, ориентируясь на разные аспекты программы Ф. Бэкона, — на объективное эмпирическое исследование, с одной стороны, и на разделение научного труда под государственным надзором — с другой. Первые философские журналы в Англии и Германии также отличались изначальной независимостью от университета («Mind») и вполне определенной аффилиацией («Kant-Studien»).

Во-вторых, это доверие должно опираться на устойчивую национальную интеллектуальную традицию. В этом смысле англичанам и немцам было легче, чем многим другим: к началу XX в. у них определилась влиятельная философская традиция, ориентированная на британский эмпиризм и классический немецкий идеализм соответственно. Впрочем, институциональная история философии показывает, что философские традиции не возникают сами по себе, вне целенаправленного конструирования интеллектуального поля. Юма считали историком и публицистом и как о философе всерьез не думали до возникновения философской психологии в версии Александра Бэйна — основателя «Mind». О Канте в XIX в. забыли на добрые 50 лет, пока неокантианцы не подняли его на щит в журнале «Kant-Studien», основанном Хансом Файхингером. Лишь благодаря направленной работе английских и немецких философов сложились соответствующие национальные традиции, которые сегодня имеют мировой статус. В противном случае статус этих традиций мог еще долго находиться под сомнением. В случае России придется комбинировать: настойчиво



обеспечивать движение снизу, чтобы власть хотя бы постфактум признала наличие и значимость русской светской философии вообще.

В-третьих, нужно быть готовым к тому, что такая организация столкнется со специфическими российскими проблемами. Сегодня в нашей стране распространено недоверие к интеллектуалам-гуманитариям и их «бесполезной» деятельности вообще. Философия испытывает такое недоверие едва ли не в самой полной мере. Поэтому философскому сообществу приходится балансировать между формальной аффилированностью с государственным учреждением и фактической (в том числе финансовой) независимостью от него.

Одной из дисциплинарных площадок, где возможно появление новых научных обществ, является философия науки в единстве с науковедением. В области российской философии науки в настоящее время сформировалась влиятельная традиция. Напомним, что еще в начале XX в. ее представители (Б.М. Гессен, А.А. Малиновский, В.И. Вернадский, И.А. Боричевский) испытали политическое и идеологическое давление и она была фактически заморожена. Однако она возродилась после Второй мировой войны в качестве широкого интеллектуального движения. Ориентация на внутренние критерии качества научной работы и полученные при этом результаты отличали исследователей-шестидесятников (Б.С. Грязнов, Б.М. Кедров, П.В. Копнин, Б.Г. Кузнецов, И.В. Кузнецов, С.Т. Мелюхин, А.П. Огурцов, М.Э. Омеляновский, В.Н. Садовский, В.С. Швырев, Э.Г. Юдин и др.). В течение многих десятилетий в XX в. отечественной философии науки удавалось выживать и даже успешно развиваться во многом благодаря ее относительной аполитичности и выработанной способности держаться в стороне от идеологии [Порус, 2014]. Вместе с тем, став университетской дисциплиной, философия науки подверглась неизбежному процессу «массового тиражирования». С одной стороны, оно выступает как основание для определенной институционализации, что позволяет дисциплине быть, так сказать, форпостом философии в высшей школе. С другой стороны, именно это превращение философии науки в «учебниковую дисциплину», по выражению Л. Флека, становится тормозящим фактором на пути приобщения к мировому мейнстриму. Нельзя не отметить растущую популярность таких, например, направлений философии науки, как «science and technology studies», «science, technology and society» (STS), пока не очень поддержанных в России. Наблюдается странная ситуация, когда философия науки в вузе оказывается в значительной мере оторванной и от философии, и от науки: отсутствие достаточной научной подготовки философов и отсутствие серьезной философской подготовки ученых (как в естественных, так и в социальных и гуманитарных областях) является барьером, поверх которого обе стороны



обмениваются поверхностными замечаниями далеко не всегда положительного свойства.

Все это говорит о том, что в нынешних условиях институционализация философии науки «сверху» оказывается явно недостаточной (не говоря уже о том, что этот процесс может быть оборван, если не найдет должной поддержки «снизу»). По-видимому, назревает неотложная необходимость в создании сообщества философов и ученых, профессионально вовлеченных в исследования по философии и истории науки и заинтересованных в их результатах. Такое сообщество (25–26 марта 2016 г. в Москве прошла Учредительная конференция Русского общества философии и истории науки http://iph.ras.ru/25_03_2016.htm) могло бы стать генератором обновленческих движений и помочь международному сотрудничеству в этой сфере. Первоочередной задачей такого сообщества должно быть повышение качества исследований и преподавания дисциплины. В конечном счете речь должна идти о движении «снизу», не позволяющем процессу институционализации философии науки «сверху» опускаться ниже значимого уровня.

Итоги

Философия науки в России пережила большие трудности, и они, видимо, еще не скоро закончатся. История и социология науки, дающие эмпирическую базу для философских обобщений, развиваются недостаточно. Несмотря на соединение в философии науки очевидной теоретической ценности и высокой практической значимости для современного общества знания, образовательная и научная политика строится без учета этого обстоятельства. И все же сегодня философия науки представляет собой едва ли не самую продвинутую философскую дисциплину. Благодаря курсам повышения квалификации, хотя они еще не превратились в постоянные институты повышения квалификации университетских преподавателей, подготовлено значительное число сертифицированных специалистов в этой области. Создано большое количество учебников по философии науки. Опубликованы энциклопедии и словари, издаются специализированные научные журналы. Философия и история науки вошла во все звенья системы высшего образования. Сегодня в университетах едва ли не всем магистрантам читают курсы по философии и методологии научного исследования, современным проблемам науки и т.п. Философия науки вместе с логикой является важнейшей площадкой междисциплинарного диалога философов и ученых. В то же время дает о себе знать острый дефицит специалистов по истории науки, из-за чего преподавание этой дисциплины сталкивается с серьезными трудностями.



Преодоление этих и других проблем не придет само собой. Философии науки нужно отрешиться от нейтральной позиции по отношению к тому, что происходит в обществе, и стать формой социального критицизма. Одновременно и политика в отношении науки и техники должна занять центральное место в социальном дискурсе и выступить инициатором общественного обновления. Сегодня культурному лидерству научного знания нет достойной альтернативы. Однако оно должно быть дополнено критической рефлексией рациональной философии, примером которой является философия науки. Последней в свою очередь предстоит обрести формы институционализации, способные придать новые импульсы развитию.

Библиографический список

Гайденко, 1980 — *Гайденко П.П.* Эволюция понятия науки. Становление и развитие первых научных программ. М. : Наука, 1980.

Гессен, 1933 — *Гессен Б.М.* Социально-экономические корни механики Ньютона. М. : Л. : ГТТИ, 1933.

Гуссерль, 2004 — *Гуссерль Э.* Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология (введение в феноменологическую философию). М. : Владимир Даль, 2004.

Касавин, 2006 — *Касавин И.Т.* Философия науки: несчастная дочь, счастливая падчерица? // Эпистемология и философия науки. 2006. № 3. С. 5–14.

Касавин, Пружинин, 2009 — *Касавин И.Т., Пружинин Б.И.* Философия науки // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009. С. 1061–1065.

Кузнецова, 2010 — *Кузнецова Н.И.* История и философия науки — преимущества новизны «по декрету» // Эпистемология & философия науки. 2010. Т. XXVI, № 4. С. 119–134.

Ойзерман, 2014 — *Ойзерман Т.И.* Метафилософия (теория историко-философского процесса) // Избранные труды. Т. 5. М. : Наука, 2014.

Порус, 2007 — *Порус В.Н.* Философия науки для аспирантов: *experimentum crucis* // Эпистемология & философия науки. 2007. Т. XIV, № 4. С. 63–79.

Порус, 2014 — *Порус В.Н.* Философия науки как офшорная зона советской философии // Проблемы и дискуссии в философии России второй половины XX в.: современный взгляд ; сост.: В.А. Лекторский ; под общ. ред. В.А. Лекторского. М. : Российская политическая энциклопедия, 2014. С. 137–156.

Розов, 1997 — *Розов М.А.* Теория социальных эстафет и проблемы анализа знания // Теория социальных эстафет. История, идеи, перспективы. Новосибирск : Наука, 1997.

Розов, 2008 — *Розов М.А.* Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии. М. : Новый хронограф, 2008.

Свасьян, 1990 — *Свасьян К.* Становление европейской науки. Ереван, : Изд-во АН Армении, 1990.

Dühring, 1878 — *Dühring E.* Logik und Wissenschaftstheorie. Leipzig, Fues (Reisland), 1878.



Losee, 1972 — *Losee J. A Historical Introduction to the Philosophy of Science*. Oxford : OUP, 1972.

Whewell, 1840 — *Whewell W. The Philosophy of the Inductive Sciences Founded upon their History*. L., 1840.

References

Gajdenko P. *Evolution of the Concept of Science* [Jevoljucija ponjatija nauki], Moscow, Nauka, 1980, 568 p.

Dühring E. *Logik und Wissenschaftstheorie*. Leipzig: Fues Verlag, 1878. 561p.

Losee J. *A Historical Introduction to the Philosophy of Science*. Oxford, OUP, 1972. 328p.

Whewell W. *The Philosophy of the Inductive Sciences, Founded upon their History*. London, 1840.

Hessen B.M. *Socio-Economic Roots of Newton's Mechanics*. Moscow, Leningrad, GGTI, 1933. 79 p.

Husserl E. *Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology (an Introduction to Phenomenological philosophy)* [Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie]. Moscow: Vladimir Dahl, 2004. 400 p.

Kasavin I.T., Pruzhinin B.I. *Philosophy of Science* [Filosofija nauki]. *Jenciklopedija jepistemologii i filosofii nauki* [Encyclopedia of epistemology and philosophy of science]. Moscow, Kanon+ Reabilitacija, 2009, pp. 1061–1065.

Kasavin I.T. *Philosophy of Science: unhappy daughter, happy stepdaughter?* [Filosofija naki: neschastnaja doch', schastlivaja padcherica?]. *Epistemology and philosophy of science*, 2006, vol. IX, no 3, pp. 5–14.

Kuznetsova N.I. *History and philosophy of science — the advantages of novelty upon «Decree»*. [«Istorija i filosofija nauki» — preimushhestva novizny «po dekretu»]. *Epistemology & philosophy of science*, 2010, vol. XXVI, no. 4, pp. 119–134.

Oiserman T.I. *Metaphilosophy (theory of the historical philosophical process)*. *Oiserman R.I. Selected works*. Vol. 5. Moscow: Nauka, 2014. 440 p.

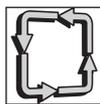
Porus V.N. *Philosophy of science as the offshore zone of Soviet philosophy*. [Filosofija nauki kak offshornaja zona sovetskoj filosofii]. *Problemy i diskussii v filosofii Rossii vtoroj poloviny XX v.: sovremennyj vzgljad — Problems and discussions in philosophy of Russia in the second half of the 20th century: a modern view*. Ed. by V. A. Lektorsky. Moscow: ROSPAN, 2014, pp. 137–156.

Porus V.N. *Philosophy of Science for PhD students: experimentum crucis*. [Filosofija nauki dlja aspirantov: experimentum crucis]. *Epistemology & philosophy of science*, 2007, vol. XIV, no. 4, pp. 63–79.

Rozov M.A. *Theory of Social relays and the problem of knowledge analysis*. [Teorija social'nyh jestafet i problema analiza znaniya]. *Teorija social'nyh jestafet. Istorija, idei, perspektivy — Theory of social relays. History, ideas, perspectives*. Novosibirsk: Novosibirsk State University, 1997. 336 p.

Rozov M.A. *Theory of social relays and problems of epistemology*. [Teorija social'nyh jestafet i problemy jepistemologii]. Moscow: New chronograph, 2008. 430 p.

Svasjan K. *The Formation of European science*. [Stanovlenie evropejskoj nauki]. Yerevan: AS Armenia publ., 1990. 448 p.



ТЕХНОНАУКА И «УЛУЧШЕНИЕ» ЧЕЛОВЕКА¹

Борис Григорьевич

Юдин — доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института философии РАН. E-mail: byudin@yandex.ru

Технологии и практики, направленные на улучшение физических, психических, интеллектуальных, моральных и т.п. характеристик человека, становятся сегодня все более востребованными. Одной из главных причин этого можно считать специфику современной стадии научного и технологического развития общества, которую часто обозначают как технонауку. В статье рассматриваются два контура технонауки: внутренний, в основе которого — установление все более тесных и многообразных связей между наукой и технологиями, и внешний, который включает еще такие составляющие, как бизнес, финансирующий разработку новых технологий, человека как индивидуального и вместе с тем массового их потребителя, и общество, через посредство которого осуществляются взаимосвязи между всеми остальными блоками этого контура. Принципиальным является то обстоятельство, что очень часто именно человек оказывается мишенью разнообразных технологических воздействий. Долгое время эти воздействия носили преимущественно медицинский, терапевтический характер. Однако постепенно спектр применения биомедицинских технологий становился все более широким, в чем сыграли существенную роль процессы медиализации жизни человека и общества. Все это послужило основой для распространения наряду с терапевтическими улучшающих технологических воздействий на человека. Автор рассматривает проблемы разграничения терапевтических и улучшающих воздействий, а также соотношение между проектами «улучшения» человека и его радикального преобразования, предлагаемого трансгуманизмом.

Ключевые слова: технонаука, биомедицинские технологии, терапевтические воздействия, «улучшение» человека, трансгуманизм.

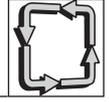
TECHNOSCIENCE AND HUMAN «ENHANCEMENT»

Boris Yudin — PhD in philosophy, Professor, Correspondent member of the Russian Academy of Sciences, Chief research fellow, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.

Technologies and practices aimed at improving the physical, mental, intellectual, moral and other characteristics of a person are becoming increasingly popular today. What makes all this possible is the present stage of scientific and technological development of society, often referred to as technoscience. This article discusses two general contours of what constitutes a technoscience. The author argues that, internally, technoscience is associated with establishing increasingly close and diverse links between science and technology. Externally, technoscience incorporates other components, such as business, financing the development of new technologies, a human as an individual person and, at the same time, as a mass consumer of new technologies, and society, through which the relations between all other blocks of the circuit are carried out. What is claimed to be of crucial importance is the fact that very often becomes the target of a variety of technological interventions. For a long time, such interventions have been primarily medical, therapeutic in their nature. Gradually, however, the spectrum of applications of biomedical technologies has grown wider. A significant role in this widening of the spectrum during last few decades is claimed to be played by processes of medicalization of human life. The author considers the delineation between therapeutic interventions and those which are aimed at improving an individual. He addresses the problems of the connection between the projects of human enhancement, on the one hand, and their radical transformation, on the other.

Key words: technoscience, biomedical technologies, therapeutic interventions, human “enhancement”, transhumanism.

¹ Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 15-18-30057.



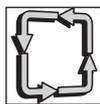
«Улучшение» человека как технологическая проблема

В последние десятилетия проблематика «улучшения» человека (human enhancement)² стала привлекать самое пристальное внимание как в научных публикациях, так и в широких общественных дискуссиях. Многие авторы высказываются в том смысле, что сегодняшние исследования и разработки в этой области в значительной мере будут определять перспективы, как ближайшие, так и более отдаленные, человека и человечества. Не только деятельность человека, но даже само его биологическое существование становится во все большей мере опосредованным применением самых разных технологий. Американский философ науки Дж. Курань [Kourany, 2014] приводит в связи с этим характерные высказывания: улучшение человека называют «наиболее важным разногласием в науке и обществе... в нашем столетии» [Allhoff, et al., 2009]; «наиболее фундаментальной социальной и политической проблемой, с которой мир сталкивается сегодня и будет сталкиваться завтра» [Gillespie, 2006]; тем, что, «вероятно, потрясет этические и социальные основы нашей современной цивилизации» [Bess, 2008].

Между тем чуть раньше, в самом начале своей статьи, Курань говорит, что «попытки улучшить человека, повысив его когнитивные, эмоциональные и физические возможности, в частности с помощью технологических средств, с самого начала человечества являются частью его существования» [Kourany, 2014: 981]: уже Адам и Ева воспользовались деревом познания в поисках когнитивного улучшения. Далее автор иллюстрирует практики улучшения человека примерами из древних Китая, Индии и Египта, из Средних веков и Нового времени.

Вообще говоря, как это очень часто бывает, очертить в истории ту грань, которую можно было бы рассматривать в качестве начала какой-либо новой институции, практики и т.п., оказывается чрезвычайно непросто. Так, Марк Кокельберг, обращаясь к анализу практик улучшения человека, замечает, что «сквозь призму современных дискуссий об улучшении человека вся история медицины представляется историей улучшения» [Coeckelbergh, 2011].

² Английское слово enhancement может переводиться на русский по-разному. Зачастую его переводят как совершенствование. На наш взгляд, термин «улучшение» в ценностном отношении более нейтрален, чем термин «совершенствование». Для того чтобы еще усилить этот оттенок ценностной нейтральности, мы будем заключать первый из названных терминов в кавычки, если не явные (их постоянное употребление приведет к утяжелению текста), то по крайней мере подразумеваемые. Кавычки позволяют передать элемент сомнения в том, насколько каждое осуществляемое с этой целью воздействие на человека будет вести именно к улучшению.



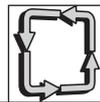
Тем не менее все авторы, затрагивающие проблемы «улучшения» человека, так или иначе констатируют беспрецедентные масштабы развития этих практик сегодня. Как отмечает Кураньи, «в XXI столетии цели улучшения выходят далеко за пределы всего того, что было в прошлом. Они направлены не меньше чем на тотальное перепроектирование человека, его тела и разума, чтобы преодолеть все присущие ему ограничения. В этот план включено все то, что мы считаем в себе главным: наши когнитивные способности и таланты, эмоции, строение и границы наших тел, наши отношения друг к другу и к миру вокруг нас, сами наши личности» [Kourany, 2014: 983].

Технонаука: вид изнутри

Чем же можно было бы объяснить *возможность* постановки таких радикальных задач, как наделение человека энциклопедической памятью, уменьшение его потребности в пище и сне, продление его жизни до 150 лет, которые обсуждаются сегодня во вполне практической плоскости? Как представляется, в основе этого лежат две взаимосвязанные причины: во-первых, человечество в наши дни обладает колоссальным научно-технологическим потенциалом; во-вторых, этот потенциал обрел особые формы своей организации и векторы своей ориентированности.

Речь идет о феномене *технонауки* — понятии, которое стало довольно популярным, в силу чего оно получает самые разнообразные трактовки.

Одна из первых трактовок технонауки принадлежит бельгийскому философу Жильберу Оттуа, который в 1979 г. писал о «современном научном исследовании, в котором технологии (окружающие нас повсюду технологические пространство и время) являются как «естественной средой, так и перводвигателем развития» [Hottois, 1984]. Оттуа здесь рассматривает сложный процесс интернализации технологии наукой: когда речь идет о технологиях как *средстве* развития науки, то подчеркивается тот факт, что науке для ее развития необходимы технологии, которые выступают при этом в качестве инструментов и артефактов. В свою очередь и сами инструменты становятся объектами исследования. Если же акцентируется роль технологий как *движущей силы* развития науки, то имеется в виду как ориентация науки на технологические приложения, так и то, что продвижения в области технологий открывают новые направления исследований. В целом же технологии — это далеко не побочный продукт научных исследований, они настолько интернализированы наукой, что становятся неотличимы от нее [Bensaude-Vincent, 2008]. Таким образом, в предлагаемой Оттуа трактовке технонауки акцентируется углубление, уплотнение связей между наукой и технологиями.



В целом можно говорить о нескольких формах взаимодействия между наукой и технологиями.

1. В эмпирических науках проверка той или иной гипотезы требует планирования и проведения эксперимента. С этой целью создается то, что принято называть экспериментальной установкой, которая позволяет контролировать и воспроизводить ход и результат интересующих исследователя процессов или преобразований. В дальнейшем такая экспериментальная установка может выступать как прообраз технического устройства, способного обеспечивать производство продукта, который интересует уже не исследователя, а потребителя. Скажем, экспериментальное устройство, которое позволяет поддерживать в определенном замкнутом пространстве температуру, необходимую для протекания тех или иных физических процессов, может послужить прототипом для конструирования термостата, обеспечивающего постоянство температуры воздуха в жилом помещении.

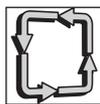
2. Наиболее известная форма взаимосвязи науки и технологий заключается в том, что в ходе создания и развития технологий возникают проблемы, для решения которых требуется провести научные исследования. Примерно так возникали термодинамика, гидравлика и многие другие отрасли науки.

3. Наука привлекается и используется для интерпретации, объяснения и понимания того, что нам удастся увидеть благодаря применению новых технологий. Здесь можно сослаться на многочисленные разделы биомедицины, например нейронауку, которые развиваются на основе технологий магниторезонансной, компьютерной, позитронно-эмиссионной и т.п. томографии.

4. Еще одна форма взаимодействия науки и технологий состоит в том, что развитие технологий открывает возможности для возникновения новых научных направлений. К примеру, по мере создания и освоения нанотехнологий становятся возможны прорывы во многих областях науки — от материаловедения до биомедицины и экологии.

Внешний контур технонауки

Все обозначенные формы взаимосвязи и взаимодействия науки и технологий, безусловно, можно характеризовать как технонауку, но само по себе это едва ли принесет сколько-нибудь ощутимое приращение знаний. Мы, со своей стороны, попробуем выделить в технонауке два контура — внутренний и внешний. При этом все рассмотренные формы будут относиться к внутреннему контуру, в котором чрезвычайно тесно, вплоть до неразличимости переплетаются науки и технологии. Наряду с этим, внутренним, мы будем рассматривать

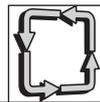


и внешний контур, который образуется за счет помещения внутреннего контура в пространство социальной жизни.

При этом наш внутренний контур будем обозначать как нечто вполне единое — как лабораторию, в которой осуществляются и научные, и технологические манипуляции. Лаборатория, будучи ядром внешнего контура, связана с остальными его составляющими (блоками), которыми являются бизнес, потребитель и общество. Важно иметь в виду, что в рамках современной технонауки эти связи между составляющими внешнего контура носят отнюдь не разовый, случайный, а устойчивый характер. Так, предпринимательский капитал, финансирующий лабораторию, т.е. исследования, разработки и выпуск новой технологической продукции, инвестирует в лабораторию постольку, поскольку в современном обществе эти вложения оказываются чрезвычайно эффективными. Поэтому прибыль, получаемая от реализации того, что произведено лабораторией, с большой долей вероятности будет вновь инвестирована в научные исследования и технологические разработки.

Весьма характерными особенностями обладает еще один блок внешнего контура технонауки — потребитель. Можно утверждать, что современный технологический прогресс во многом обязан именно удачно найденному потребителю, коим является отдельный человек со своими нуждами и запросами. Действительно, львиная доля новых технологических замыслов и свершений адресуется сегодня именно ему. Два наиболее бурных русла научно-технологических новаций — информационные и биомедицинские технологии — по большей части направлены на потребляющего индивида. А поскольку при всей своей отдельности этот индивид является еще и массовым, постольку совокупных расходов множества индивидов на новый гаджет или лекарственный препарат бывает достаточно, чтобы оправдать затраты на лабораторию и обеспечить прибыль, которая позволит инициировать новый цикл создания технологического продукта.

Таким образом, один из главных векторов, которым можно охарактеризовать направленность развития технонауки, — это ее неуклонное приближение к человеку, к его потребностям, устремлениям, чаяниям. В результате происходит все более основательное погружение человека в мир, проектируемый и обустраиваемый для него наукой и технологиями. При этом дело не ограничивается одним лишь “обслуживанием” человека — наука и технологии приближаются к нему не только извне, но и как бы изнутри, в известном смысле делая и его своим производением, проектируя не только для него, но и его самого. В буквальном смысле это делается в некоторых современных генетических, эмбриологических и т.п. биомедицинских исследованиях, например, связанных с клонированием или редактированием генома человека [Хабермас, 2002; Касс, 2003; Фукуяма, 2004].



Еще одна составляющая внешнего контура технауки — общество, которое, конечно, связано со всеми другими блоками контура. В своих предыдущих публикациях мы предлагали рассматривать в качестве этого блока СМИ [см., например: Юдин, 2010]. Действительно, в контуре технауки СМИ выполняют важнейшие функции. Прежде всего они доводят (причем зачастую в весьма агрессивных формах) до массового потребителя информацию о новых технологических продуктах, а во многих случаях участвуют и в формировании потребительских предпочтений, т.е. того спроса, на который можно ориентироваться в перспективе. Вместе с тем с их помощью потребители сообщают бизнесу и лаборатории о своих предпочтениях и ожиданиях, что позволяет ориентироваться при планировании будущих инвестиций, исследований и разработок.

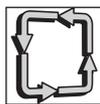
Таким образом, технаучный контур включает четыре элемента, связанных между собой прямыми и обратными информационными, финансовыми и товарными потоками. Следует подчеркнуть, что обратные связи внутри этого контура являются положительными: сигнал, проходящий от одного элемента к другому, не ослабевает, как бывает при отрицательной обратной связи, а, напротив, усиливается. Тем самым обеспечивается беспрецедентный динамизм в работе контура.

На практике это выглядит примерно так: лаборатория целенаправленно работает на удовлетворение потребительских запросов, которые становятся известны ей благодаря деятельности СМИ; потребитель готов нести расходы на продукцию, отвечающую его запросам; благодаря этому предприниматель получает прибыль, которую он в свою очередь инвестирует в лабораторию, тем самым запуская новый цикл обновления технологии; СМИ формируют у массового потребителя все новые запросы, вызывая интерес к непрерывной замене уже имеющихся изделий и технологий на новые, более эффективные, более полезные, более привлекательные...

В целом роль общества в функционировании контура технауки отнюдь не ограничивается тем, что связано со СМИ. К этому блоку следует отнести и то, что касается выработки и реализации государственной политики в области новых технологий, и анализ тех рисков, которые могут возникнуть при разработке и применении той или иной технологии, и выстраивание систем нормативного регулирования в этой области, и многое другое.

Человек как мишень технауки: между улучшением и трансмутацией

С точки зрения интересующей нас темы — разработки и применения новейших технологий для «улучшения» человека — особое зна-

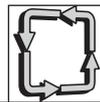


чение имеет ориентированность технауки на отдельного индивида. В предшествующие столетия отнюдь не человек был основной мишенью новых технологий, скорее они были направлены на изменение того мира, который окружает человека, и лишь косвенно — на него самого. Существенным исключением долгое время оставались медицинские (а с некоторых пор — биомедицинские) технологии, которые, впрочем, мыслились в контексте восстановления нарушенной нормы, облегчения болей и страданий, т.е. как технологии *терапевтической* направленности.

По мере формирования и развития того комплекса, который мы обозначаем как технауку, терапевтические технологии становились все более эффективными, а вместе с тем и востребованными, они порождали у людей все более широкий спектр надежд и ожиданий. Параллельно с этими изменениями в общественном восприятии нарастала и другая тенденция, которую принято называть *медикализацией*. Одно из ее проявлений — отнесение к числу нездоровых, требующих медицинского вмешательства и коррекции все большего количества состояний и параметров — физиологических, анатомических, поведенческих — человеческого организма.

Сфера применения биомедицинских технологий становилась все более широкой и все менее строго очерченной. Например, за последние десятилетия симптомами нездоровья и соответственно объектами терапевтических воздействий стали излишний вес, повышенная активность и несобранность мальчиков детского и подросткового возраста, повышенное беспокойство или, наоборот, чрезмерно вялая реакция на внешние раздражители. Обратной стороной такого размывания границ между здоровьем и болезнью оказалось то, что биомедицинские технологии начали применяться в повседневной жизни для решения мало связанных с терапией задач. Со временем все более привычным становился такой ход мысли, согласно которому вскармливаемые технаукой биомедицинские технологии могут применяться для преодоления свойственных человеческому организму природных ограничений, иными словами — для *улучшения* человека. Надо сказать, разнообразные технологии улучшения пользуются весьма высоким спросом; впрочем, следует иметь в виду, что этот широкий спектр включает и то, что уже применяется в целях «улучшения», и то, что ближе к другому полюсу спектра, который заполнен преимущественно ожиданиями.

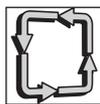
В качестве иллюстрации того, насколько далеко отстоят друг от друга эти полюса, попробуем сопоставить весьма нехитрую технологию «улучшения» с помощью такого фармацевтического препарата, как риталин, с одной стороны, и замысел трансгуманизма — с другой. Препарат риталин был разработан как средство против встречающегося у мальчиков синдрома дефицита внимания и гиперактивности.



Такое его применение можно считать вполне терапевтическим. Однако с недавнего времени риталин стали использовать студенты в качестве препарата, который позволяет меньше отвлекаться при подготовке к экзаменам. В этом случае мы, очевидно, имеем дело с технологией «улучшения».

Другим полюсом представляется трансгуманизм в том виде, например, как его характеризует уже упоминавшийся нами Оттуа. Он отмечает, что трансгуманизм, «сосредоточенный вокруг идеи улучшения, отказывается от исключительного господства терапевтической парадигмы как основы для оценки биомедицинских инноваций». Противопоставляя трансгуманизм традиционному гуманизму, Оттуа подчеркивает: «Гуманизм, даже современный и светский, не претендует на то, чтобы коренным образом изменить человеческую природу и ее границы. Для трансгуманизма характерна готовность эффективно бороться с конечностью существования человека и смертью. Он подчеркивает тот факт, что многие технонаучные исследования проводятся в области старения и долголетия животных и человека. Религии и философии никогда не переставали «оправдывать» смерть, поскольку она считалось заранее предрешенной, тем, против чего в действительности невозможно что-либо сделать... Отныне религии и философии, которые оправдывают или защищают конечность человека, становятся негативными силами, поощряющими бездействие и фатализм» [Оттуа, 2014]. Есть серьезные основания усомниться в обоснованности отнесения результата такого трансгуманистического «улучшения» к человеческому роду.

Мы уже отмечали, что термин «улучшение» несет в себе неизбежный оценочный момент, подразумевая сравнение с некоторым предшествующим улучшению состоянием, качеством и т.п. Коль скоро мы говорим об улучшении именно человека, то пределом такого улучшения будет состояние транс-, пост-, сверхчеловека. В связи с этим имеет смысл обратиться к предложенному философом-трансгуманистом Марком Уолкером различению двух концепций совершенства (понятого как предел, к которому мы стремимся, занимаясь улучшением) — совершенства типа и совершенства свойства [Walker, 2002]. Первая концепция состоит в том, что индивиды, лучше всего реализующие существенные свойства того типа или биологического вида, к которому они принадлежат, являются наилучшими выразителями идеала совершенства. Вторая концепция — индивиды, лучше всего реализующие некоторое свойство или свойства, лучше всего выражают идеал совершенства. Опираясь на это различение, мы можем провести четкую грань между собственно улучшением человека (в этом случае мы остаемся в рамках типа) и трансгуманистическим выходом за пределы типа, когда какие-то свойства «улучшен-



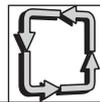
ного» индивида будут столь совершенными, что мы утратим возможность считать его человеком.

Мы видим, что реальные «физические» улучшения, доступные на сегодня, весьма скромны, особенно на фоне горячо обсуждаемых ожиданий. Но это обстоятельство отнюдь не следует истолковывать в том смысле, что действительно серьезные проблемы, касающиеся «улучшения» человека, тоже находятся в более или менее отдаленном будущем. Напротив, эта проблематика уже с нами, ибо во многом именно от наших оценок и суждений, от наших решений и действий зависит то, каким станет человек завтра и послезавтра. Дискутируя и задумываясь о том, какие технологии его улучшения допустимы, а какие — неприемлемы, мы *тем самым* вовлекаемся в герменевтический процесс конструирования не только человека (либо постчеловека?) будущего, но и самих себя. Таким образом, изменение, преобразование, т.е. «улучшение» человека, может быть понято как метод его познания.

Когда-то Дж. Вико утверждал, что человек может понять лишь то, что сделано им самим. Если попробовать приложить эту максиму к познанию человеком самого себя, то попытку его технологического «улучшения» можно представить как довольно своеобразную методологию его *экспериментального* изучения. Вопрос в том, насколько далеко мы готовы зайти в этом умопомрачительном эксперименте.

Библиографический список

- Касс, 2003 — *Касс Л.* Нестареющие тела, счастливые души... // Человек. 2003. № 6. С. 37–49.
- Оттуа, 2014 — *Оттуа Ж.* Трансгуманизм — это гуманизм? // Человек. 2014. № 6. С. 46–53.
- Фукуяма, 2004 — *Фукуяма Ф.* Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологической революции. М., 2004.
- Хабермас, 2002 — *Хабермас Ю.* Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике. М., 2002.
- Юдин, 2010 — *Юдин Б.Г.* Наука в обществе знаний // Вопр. философии. 2010. № 8. С. 45–57.
- Allhoff, et al., 2009 — *Allhoff F., Lin P., Moor J., & Weckert J.* Ethics of Human Enhancement: 25 questions and answers. U.S. National Science Foundation Report. — http://ethics.calpoly.edu/NSF_report.pdf
- Bensaude-Vincent, 2008 — *Bensaude-Vincent B.* Technoscience and Convergence: A Transmutation of Values? Summerschool on Ethics of Converging Technologies, Dormotel Vogelsberg, Omrod. Alsfeld, Germany, Sep. 2008.
- Bess, 2008 — *Bess M.D.* Icarus 2.0: A Historian's Perspective on Human Biological Enhancement // Technology and Culture. 2008. № 49 (1). P. 114–126.



Coeckelbergh, 2011 — *Coeckelbergh M.* Human Development or Human Enhancement? A Methodological Reflection on Capabilities and the Evaluation of Information Technologies // *Ethics Inf Technol.* 2011. № 13. P. 89.

Gillespie, 2006 — *Gillespie N.* Who's Afraid of Human Enhancement? A Reason Debate on the Promise, Perils, and Ethics of Human Biotechnology. — <http://www.thefreelibrary.com/Who's+afraid?of?human?enhancement%3f?A?reason?debate?on?the?promise%2c...-a0140094313>

Hottois, 1984 — *Hottois G.* Le signe et la technique. La philosophie l'épreuve de la technique. P. : Aubier, 1984. P. 60–61.

Kourany, 2014 — *Kourany J.* Human Enhancement: Making the Debate More Productive // *Erkenntnis.* 2014. Vol. 79, № 5. P. 983.

Walker, 2002 — *Walker M.* What is Transhumanism? Why is a Transhumanist? — <http://www.transhumanism.org/index.php/th/more/298/>

References

Allhoff, et al., 2009 — Allhoff F., Lin P., Moor J., & Weckert J. *Ethics of human enhancement: 25 questions and answers*, U.S. National Science Foundation Report. Available at: http://ethics.calpoly.edu/NSF_report.pdf (accessed 25.02.2016).

Bensaude-Vincent, 2008 — Bensaude-Vincent B. *Technoscience and Convergence: A Transmutation of Values?* Summerschool on Ethics of Converging Technologies, Dormotel Vogelsberg, Omrod. Alsfeld, Germany, Sep., 2008.

Bess, 2008 — *Bess M.D.* Icarus 2.0: A historian's perspective on human biological enhancement. *Technology and Culture.* 2008, vol. 49, no.1, pp. 114–126.

Coeckelbergh, 2011 — Coeckelbergh M. Human Development or Human Enhancement? A Methodological Reflection on Capabilities and the Evaluation of Information Technologies. *Ethics Inf Technol.* 2011, no. 13, p. 89.

Fukuyama, 2004 — Fukuyama F. *Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution* [Nashe postchelovecheskoe budushhee: Posledstviya biotekhnologicheskoy revoljucii]. Moscow, AST Ljuks, 2004. 349 p.

Gillespie, 2006 — Gillespie N. *Who's Afraid of Human Enhancement?* A reason debate on the promise, perils, and ethics of human biotechnology. Available at: <http://www.thefreelibrary.com/Who's+afraid?of?human?enhancement%3f?A?reason?debate?on?the?promise%2c...-a0140094313> (accessed 20.01.2016).

Habermas, 2002 — Habermas J. *The Future of Human Nature. On the Way to Liberal Eugenics* [Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?]. Moscow, Ves' mir, 2002.

Hottois G. Is transhumanism a humanism? [Transgumanizm — jeto gumanizm?]. *The Man — Chelovek*, 2014, no. 6, pp. 46–53.

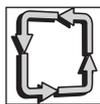
Hottois 1984 — Hottois G. Le signe et la technique. La philosophie à l'épreuve de la technique. Paris, Aubier, pp. 60–61.

Kaas, 2003 — Kaas L. Ageless Bodies, Happy Souls [Nestarejushhie tela, schastlivye dushi]. *The Man — Chelovek*, 2003, no. 6, pp. 37–49.

Kourany, 2014 — Kourany J. Human Enhancement: Making the Debate More Productive. *Erkenntnis*, 2014, vol. 79, no. 5. Supplement. June 2014, p. 983.

Walker, 2002 — Walker M. *What is Transhumanism? Why is a Transhumanist?* Available at: <http://www.transhumanism.org/index.php/th/more/298/> (accessed 21.01.2016).

Yudin, 2010 — Yudin B.G. Science in the knowledge society [Nauka v obshhestve znaniij]. *Problems of philosophy — Voprosy filosofii*, 2010, no. 8, pp. 45–57.



ТЕХНОНАУКА И ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА: «Я УЖЕ ВИЖУ НАШ МИР, КОТОРЫЙ ПОКРЫТ ПАУТИНОЙ ЛАБОРАТОРИЙ»

**Елена Владимировна
Брызгалина** — кандидат философских наук, доцент, завкафедрой философии образования, философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
E-mail:
evbrz@yandex.ru

Рассматриваются две особенности технонауки, которые значимы для изучения перспектив проектов улучшения человека. Первая особенность — предмет ее исследования является искусственным по своему происхождению, т.е. созданным человеком. В качестве примера возникающих новых объектов, ситуаций и проблем приводятся проекты создания «дизайнерских детей», развития трансплантологии, создания имплантируемых нейроинтерфейсов. Вторая особенность технонауки в том, что для ценностного определения результатов технонауки при реализации проектов улучшения человека не могут быть применены устоявшиеся способы. В качестве примера рассматриваются проекты неоевгеники. Автор делает вывод о том, что в социогуманитарных науках на сегодня отсутствуют четкие позиции относительно оснований проектов улучшения человека, однако это не является препятствием для развития самой технонауки.

Ключевые слова: наука, технонаука, социогуманитарное познание, улучшение человека, неоевгеника.

TECHNOSCIENCE AND PROSPECTS FOR IMPROVING HUMAN: «I CAN SEE OUR WORLD WHICH IS COVERED BY A NET OF LABORATORIES»¹

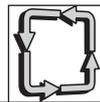
Elena Bryzgalina — PhD in philosophy, assistant professor, head of the department of philosophy of education, faculty of philosophy Lomonosov Moscow State University.

This article describes two features of technoscience, which are significant for the consideration of the prospects of human improvement projects. The first feature of technoscience is that the object of its research is artificial in origin which means created by person. As an example of new objects, situations and problems are given projects to create «designer children», development of transplantation, creating implantable neural interface. The second feature of technoscience is that the well-established methods can't be applied to determine the results of the implementation of human improvement projects. As an example, the article discussed neo-eugenics projects. The article concludes that today in the social sciences there is no clear position on the grounds of human improvement projects. However, this is not an obstacle for the development of technoscience.

Key words: science, technoscience, socio-humanitarian knowledge, improving human, Neo-Eugenics.

Известное стихотворение Иосифа Бродского «Речь о пролитом молоке» отсылает к английской поговорке «It is no use crying over spilt milk» («что пользы плакать над пролитым молоком»), иначе говоря, нет смысла сожалеть о том, что состоялось). Бродский с присущей ему точностью деталей и образов показывает потрясенного, выпавшего из прежней жизни человека, который думал над тем, как ему преобразить мир. Современные варианты трансформа-

¹ J. Brodsky. Speech over spilled milk.

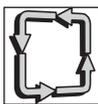


ции человека, открывающиеся с развитием технoнауки, могут оказаться гораздо масштабнее по сравнению с тем, что описал поэт: «...Душу затаянут большой вуалью. Объединят нас сплошной спиралью. Воткнут в розетку с этил-моралью. Речь освободят от глагола. Благодаря хорошему зелью закружимся в облаках каруселью... Я уже вижу наш мир, который покрыт паутиной лабораторий» [Бродский, 1990; 25, 26]. Чтобы не сожалеть о том, что состоялось, или хотя бы минимизировать разрушительные последствия технoнауки, обращенной на человека, социогуманитарное знание должно включить в центр обсуждаемых проблем перспективы вмешательства в природу человека с целью его улучшения.

Одной из особенностей технoнауки является то, что предмет ее исследования сам является искусственным порождением. Б.Г. Юдин указывает, что наука и технологии приближаются к человеку не только извне, но и как бы изнутри, в известном смысле делая и его своим производением, проектируя не только для него, но и его самого. В проектах улучшения человека имеет место новизна предмета (ситуации, затруднения, проблемы), и для ценностного определения его просто не существовало ранее прецедента. Приведу несколько примеров таких предметов, как уже реализованных при развитии науки и технологий, так и тех, которые могут появиться в недалеком будущем.

Первый пример — «дизайнерские дети» — дети, чей геном до рождения был изменен с целью достижения определенных свойств. Вспомогательные технологии репродукции (новые репродуктивные технологии) и генетические знания сделали реальной возможность манипулировать с человеческими генами нерожденных людей, направленно изменять (фактически создавать) генотип по критериям улучшенной природы человека. Реальность появления таких детей обеспечена нормативной практикой в Китае и Великобритании. Невозможность существования такого объекта ранее, реальность его порождения средствами современной науки актуализируют задачу определения статуса результатов проектов по рождению «дизайнерских детей».

Второй пример появления принципиально новых объектов в результате обращения технoнауки к задачам улучшения человека дает трансплантология (в частности, использование улучшенных аналогов органов и тканей человека; прогресс ксенотрансплантации, преодолевающей видоые биологические барьеры). Разработаны и применяются искусственные почка, сердце, кишечник, сетчатка, кровь, легкие; созданы прототипы искусственной матки и органов, выращенных из стволовых клеток; на стадии эксперимента находится создание искусственных конечностей, кровеносных сосудов, костей; в экспериментальных образцах существует искусственная кожа. Недалекая перспектива — создание полностью имплантируемых искусственных органов, способных выполнять все необходимые функции на



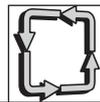
более качественном уровне, чем естественные органы. Ранее непредставимые масштабы возможных структурных замен фрагментов человеческой телесности формируют принципиально новые организмы, имеющие искусственные границы и отношения между «частью» и «целым».

Ксенотрансплантация — пересадка органов и тканей от животных человеку, осуществляемая при использовании достижений генетической инженерии, преобразующей геном животных-доноров для обеспечения гистосовместимости — развивается как способ решения проблемы дефицита донорских человеческих органов. Однако ее результаты выходят за пределы терапевтической помощи и ведут к появлению существ нового типа — химер, находящихся на границах естественных биологических видов.

Третий пример — создание имплантируемых нейроинтерфейсов. Это открывает уникальные возможности создания техники, управляемой мыслью, на практике выходящей за пределы реабилитационных решений для инвалидов. Появление в будущем двунаправленных интерфейсов позволит мозгу и внешним устройствам обмениваться информацией в обоих направлениях (в литературе это называется протокол обмена мыслями). В результате развития интерфейсов мозг-компьютер возникают новые существа — киборги, у которых не только наблюдаются структурные отличия, проявление человеческих когнитивных функций становится технически зависимым.

Итак, результатами проектов улучшения человека становятся предметы исследования, в отношении которых имеет место абсолютная новизна случая. В приведенных примерах отчетливо просматривается актуальность обращения Б.Г. Юдина к позиции Марка Уолкера по различению двух концепций совершенства — совершенства типа и совершенства свойства [M. Walker, 2002].

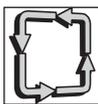
Вторая особенность технонауки состоит в том, что для ценностного определения результатов технонауки при реализации проектов улучшения не могут быть применены устоявшиеся способы. Кроме того, трактовки таких новых для исследования предметов (ситуаций, затруднений, проблем) в условиях существования в современной культуре множественности норм могут оказаться столь различными, что с высокой долей вероятности будут противоречить друг другу. Деятельность различных субъектов, связанная с этим предметом (ученых; экспертов-этиков, философов, представителей конфессий; обычных граждан; государственных и коммерческих структур; патентных ведомств; юристов и т.д.), возникающие в процессе деятельности результаты, затруднения и проблемы не могут быть однозначно ценностно определены с ориентацией на существующую множественность норм морали, права, академических стандартов. Данное обстоятельство актуализирует задачи социогуманитарной экспертизы развития науки [Юдин, Тищенко, 2007].



В качестве примера неоднозначной ценностной экспертизы сошлемся на феномен неоевгеники. В начале XXI в. на фоне бурного роста естественно-научного знания возникают и в статусе концепций, и как социальная практика проекты, которые могут быть отнесены к неоевгенике (либеральной евгенике) [Глэд, 2005]. По сравнению с классической евгеникой неоевгеника делает больший упор на средства реализации своих проектов, на их моральную оправданность, на их нравственную допустимость, вводя новые формы обоснования и новые формы реализации неоевгенических стратегий. Неоевгеника делает больший акцент на создании условий для реализации генотипов, на направленном формировании такой среды, которая позволит управлять проявлением наследственных изменений в ходе развития ребенка. Управление подразумевается за счет создания индивидуально адаптивной среды для исключения или снижения заболеваний, нетрудоспособности или смертности, для повышения уровня проявления востребованных в обществе признаков (например, интеллектуальности). Это яркий пример возможностей по качественному улучшению жизни человека, но при этом без изменения самого генного набора отдельных людей и без влияния на пул генов будущих поколений.

Однако проекты неоевгеники («либеральной евгеники») могут быть проинтерпретированы прямо противоположным образом. С одной стороны, создание для каждого уникального генотипа особых средовых условий можно характеризовать как реализацию принципа справедливости, закрепленного в выражении «*Suum cuique*» государственного деятеля, писателя и оратора Марка Туллия Цицерона. С другой стороны, в истории XX в. эта фраза получила печальную известность как надпись, сделанная над входом в лагерь смерти Бухенвальд «*Jedem das Seine*». И тогда, оставаясь целевым образом ориентированными на улучшение, несмотря на способы их реализации, должны быть осуждены. Антигуманный характер отбора, предлагаемый евгеникой старого типа, вызывал основные возражения и послужил основанием для осуждения практики создания улучшенной человеческой природы. В современной науке этот аргумент теряет актуальность, соответственно сдерживание практик улучшения природы, в том числе проектов либеральной евгеники человека, нуждается в иных аргументах.

Приходится констатировать, что в социогуманитарных науках сегодня отсутствуют широкие дискуссии и явно сформулированные позиции относительно русскоязычного эквивалента «*enhancement*», об основаниях различения вмешательств с целями терапевтической компенсации структурных утрат или ухудшения функциональных показателей от вмешательств, направленных на расширение спектра возможностей человека за пределы естественной заданности, о мораль-



ной допустимости улучшения человека путем вмешательств в биологическую основу будущих поколений.

Однако эта ситуация в социогуманитарном знании не является значительным препятствием для реализации средствами естественно-научных дисциплин и опирающихся на них технологий установки на формирование качественно новой улучшенной среды и улучшенного человека. Более того, даже если обсуждение множества философских, этических, политических, религиозных аспектов проектов по улучшению человека будет разворачиваться, оно принципиально не сможет привести к однозначному пониманию смысла возникающих проектов технонауки, обращенной на улучшение человека. Ведь предметы исследования социогуманитарных наук являются в значительной степени объектами интерпретации, в которой соединяются слово, ценность, действие, интеллектуальный продукт прошлого и настоящего с будущим. И целью социогуманитарного обсуждения не является знаниевая исчерпанность предмета, проблемы, ситуации.

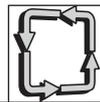
Вызов со стороны ориентированной на человека технонауки имеет системный характер, он проявляется в необходимости обсуждения множества социальных, юридических и правовых норм, касающихся интерпретации и применения результатов естествознания. Например, работа с генетической информацией отдельного человека и популяции. По состоянию на сегодня информация активно собирается и хранится, например в биобанках — нового типа институциональных формах синтеза науки и технологий [Брызгалина, Аласания и др., 2016]. Обсуждение их целевого предназначения, идеологии будущего использования результатов функционирования биобанков, механизмов обеспечения конфиденциальности генетических данных представляется весьма актуальной задачей.

Выскажу убеждение, что для развития технонауки социогуманитарные обсуждения не являются фактором, который может остановить ее развитие — «молоко уже пролито». Но одновременно только социогуманитарные науки могут выходить в обсуждении за пределы наличных технологических вопросов о самих целевых ориентирах развития технонауки, стимулировать коррекцию целевых установок или используемых методов.

Библиографический список

Бродский, 1990 — *Бродский И.* Речь о пролитом молоке // Осенний крик ястреба. Л., 1990.

Брызгалина, Аласания и др., 2016 — *Брызгалина Е.В., Аласания К.Ю., Садовничий В.А. и др.* Социально-гуманитарная экспертиза функционирования национальных депозитариев биоматериалов // Вопросы философии. 2016. № 2. С. 8–21.



Глэд, 2005 — Глэд Дж. Будущая эволюция человека — евгеника XXI века. М. : Издательство Захарова, 2005.

Юдин, Тищенко, 2007 — Юдин Б.Г., Тищенко П.Д. Философские аспекты биомедицинских исследований // Этическая экспертиза биомедицинских исследований в государствах – участниках СНГ (социальные и культурные аспекты). ЮНЕСКО. Форум комитетов по этике СНГ. СПб. : Феникс, 2007.

Walker, 2002 — Walker M. What is Transhumanism? Why is a Transhumanist? — [Электронный ресурс] (дата обращения: 27.03.2016).

References

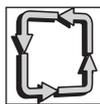
Brodsky I. Speech about spilled milk [Rech' o prolitom moloke]. *Autumn scream of the hawk* [Osennij krik jastreba]. Leningrad, 1990. Joint publication: Tallinnskij centr MShK MADLR & KTL IMA-press. pp. 25–26.

Bryzgalina E.V., Alasaniya K.Ju., Sadovnichij V.A., Mironov V., Gavrilenko S., Varhotov T., Shkomova E., Nabiulina E. Social'no-gumanitarnaja jekspertiza funkcionirovanija nacional'nyh depozitarijev biomaterialov. *Problems of philosophy* — *Voprosy filosofii*, 2016, no. 2, pp. 8–21.

Glad J. *Future Human Evolution: Eugenics in the Twenty first Century*. Moscow, Izdatel'stvo Zaharova, 2005. 176 p.

Judin B.G., Tischenko P.D. Philosophical aspects of the biomedical investigations [Filosofskie aspekty biomedicinskih issledovanij]. *Ethical examination of the biomedical investigations in CIS (social and cultural aspects)* — *Jeticheskaja jekspertiza biomedicinskih issledovanij v gosudarstvah-uchastnikah SNG (social'nye i kul'turnye aspekty)*. UNESCO, *Forum of the CIS ethical commetees*. Saint-Petersburg, Feniks, 2007, pp. 50–69.

Walker M. *What is Transhumanism? Why is a Transhumanist?* Available at: <http://www.transhumanism.org/index.php/th/more/298/> (accessed: 27.03.2016).



БИОТЕХНОНАУКА И ГРАНИЦЫ УЛУЧШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА¹

Елена Георгиевна Гребенщикова — доктор философских наук, руководитель Центра научно-информационных исследований по науке, образованию и технологиям ИНИОН РАН, доцент кафедры биоэтики РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
E-mail: aika45@ya.ru

Рассматривается влияние технологических возможностей медицины на пересмотр границ между улучшением и терапией, искусственным и естественным, нормальным и сверхнормальным. Выявляется взаимосвязь медикалистских тенденций и развития движения «квантификации себя», раскрываются некоторые установки «гаражной биологии» в связи с развитием разных практик трансформации человека.

Ключевые слова: медицина, улучшение человека, терапия, эпистемология.

BIOTECHNOSCIENCE AND BOUNDARIES OF HUMAN ENHANCEMENT

Elena Grebenshikova — PhD in philosophy, Institute of Sciences of the Russian Academy of Sciences Centr scientific-informational researches on science, education and technologies.

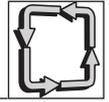
The author examines the impact of the technological capabilities of medicine to review the boundaries between enhancement and therapy, artificial and natural, normal and supernormal, revealed the relationship of medicalization trends and development of the «quantified self» movement, revealed some «garage biology» ideas in connection with the development of different practices of human transformation.

Key words: medicine, human enhancement, therapy, epistemology.

Выбранный Б.Г. Юдиным теоретический подход позволил удачно решить две взаимосвязанные задачи: рассмотреть технонауку в контексте проблематики улучшения и показать на примере проектов улучшения специфику происходящего в настоящее время технонаучного сдвига.

Безусловно, проекты улучшения человека не являются чем-то принципиально новым, о чем свидетельствуют и опыт античности, и более поздние идеи и попытки реализации евгенических программ. Однако в современном понимании улучшение человека связывается с одним из целевых векторов доклада Национального научного фонда США «Конвергентные технологии для улучшения функциональности человека». В нем синергичное усиление основных вершин НБИК-тетраэдра рассматривается как условие достижения значительного улучшения способностей человека, социальных результатов, националь-

¹ Статья подготовлена при поддержке РНФ, проект №15–18–30057.

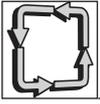


ной производительности и качества жизни и вместе с тем как предпосылка поворотного момента в развитии общества [Roco, Bainbridge, 2003].

При этом ориентация на широкие социальные контексты в технoнауке настолько тесно связана с экономическими измерениями, что «теперь впору говорить о биотехнонауке, стирающей грани между наукой и политикой, наукой и обществом, наукой и культурой... Технологии, лежащие в основе нового капитализма, — это технологии генетические, био-, а также коммуникационные технологии, технологии видения и восприятия, и информационные технологии образуют с биотехнологиями различные гибридные формы... В когнитивном капитализме производятся уже не столько товары, сколько живое, жизни, тела, органы, а также формы жизни» [Корсани, 2007]. Взаимосвязь социального и экономического демонстрируют PR-отделы фарм- и биотехнологических компаний. Они не только выявляют потребности заинтересованных пользователей и пациентов, продвигая товары и услуги на рынок, но и выступают своего рода агентами инноваций, стимулируя интерес к практикам «заботы о себе», отвечая на стремление неспециалистов контролировать риски для здоровья. В этом не только одна из ключевых особенностей технoнауки — встраиваться в предпочтения и интересы потребителей до появления реального продукта — но и характеристика ее социальных контекстов, в которых риски переплетаются с экономическими интересами, а развитие IT-технологий оказывается тесно связанным с усилением медиколиберальных тенденций.

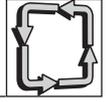
Если начало, что вполне естественно, было положено в спорте — кроссовки с датчиками в подошвах начали выпускать в 2006 г., затем появились футболки с электродами, считывающими сердцебиение, браслеты, фиксирующие физическую активность обладателя, и т.п., то в настоящее время можно говорить о целом движении «квантификации себя» (Quantified Self), которое все активнее использует е-девайсы для вычисления калорий, фиксации положения тела и т.п. Отслеживаемые показатели, пока весьма ограниченные, в перспективе могут стать дополнительным фактором переосмысления границы терапия/улучшение.

Но и сейчас она оказывается под вопросом, поскольку некоторые средства изначально могут рассматриваться с точки зрения «улучшающих» возможностей. Так, в череп художника и биохакера Нила Харбиссона, страдающего ахроматопсией (цветовая слепота), интегрирован прибор «Eyeborg», который преобразует цвета в звуки. С одной стороны, техническое устройство по сути выступает как любой протез, который позволяет компенсировать недуг, но с другой — дает возможность видеть в диапазоне, который недоступен абсолютно здоровому человеку и, таким образом, рассматривается в качестве улучшения.



Акцентируя внимание на переходе биомедицинских технологий от терапевтических целей к целям улучшения, Б.Г. Юдин обращает внимание на феномен медикализации, рассматривая его в качестве предпосылки развития технологий трансформации человека. В традиционном смысле медикализация понимается как 1) власть медицинских институтов в обществе, в результате чего традиционные функции лечения и профилактики дополняются социальным контролем, и 2) привлечение медицинской терминологии для описания социальных процессов и явлений и интерпретация последних в духе медицинского диагноза. Действительно, развитие и усиление роли медицины в обществе привело к появлению «синдрома хронической усталости» и «тревоги по поводу экологии рабочего места», атрибутировав медицине роль «алиби в патогенном социуме» [Дюпои, 2006]. Однако та система здравоохранения, с которой один из ярких представителей антимедицизма А. Иллич связывал «медицинский империализм», изменилась на рубеже XX–XXI вв. и существенную роль в этом процессе сыграла «техносциентизация» медицины [Clarke, Shim, Mamo, Fosket, Fishman, 2003]. Последняя проявилась в активном развитии новых технологий; компьютеризации и создании банков данных; молекуляризации и генетизации биомедицины.

С развитием генетики связывается один из векторов дальнейшего развития практик улучшения человека, а вместе с тем и выход за границы естественной данности. С этой точки зрения улучшение нередко рассматривается как то, что неестественно или даже противоестественно для нормального функционирования организма человека. Финский лыжник Ээро Мянтюранта, выигравший на зимней Олимпиаде в Инсбруке в 1964 г. сразу две золотые медали, имел генетическую мутацию, которая диагностируется как заболевание полицитемия. Для него характерно повышенное число эритроцитов и гемоглобина, которое в видах спорта, требующих выносливости, дает явное преимущество. Такой же эффект достигается естественным образом тренировками на среднегорье и инъекцией искусственного гормона эритропоэтина. Понятно, что инъекция искусственного гормона позволяет спортсмену улучшить результаты и может быть выявлена в случае необходимости. Но если вмешаться в геном человека, то выявить улучшающие воздействия будет гораздо сложнее, если не невозможно, даже если согласиться с мнением, что в современном спорте есть только иллюзия естественного, а реальность определяют хорошо продуманные технологические инновации в оснащении спортсменов, планы питания, нагрузок и многое другое. То есть надо учесть, что видимый эффект естественных усилий спортсменов, конечно, не без антидопинговых компаний, может быть зафиксирован и отслежен. Однако генетический допинг, действуя изнутри, не только может оказаться последним рубежом антидопинговых организаций, но



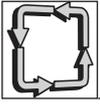
и в более широком контексте поставить под вопрос дихотомию естественное/искусственное.

Выход за границы естественной данности маркирует важную в рассматриваемом контексте оппозицию норма/сверхнорма. Соответственно традиционная функция медицины — восстановление до нормы (*restitutio ad integrum*), а переход к возможностям за ее пределами (*restitutio ad optimum*) опознается как улучшающее воздействие. Зрение здорового человека не позволяет ему видеть в темноте, однако использование особых устройств или даже капель вполне может расширить диапазон его зрительных возможностей. Но всегда ли можно точно сказать, что есть норма? Обсуждение проблем морального улучшения в биоэтике демонстрирует неоднозначность трактовок и многообразие подходов. Следуя определению Д. ДеГрация, моральное улучшение — это вмешательства, нацеленные на улучшение наших моральных способностей и, в частности, способности к симпатии и честности [DeGrazia, 2014].

Один из дискуссионных моментов — определение нормы. Попытки апеллировать к принципам христианской морали или этическим установкам других конфессий, нравственным императивам, закрепленным в современном праве, и т.п. неизбежно наталкиваются на разные социокультурные факторы, традиции. Более того, какая система нравственных координат позволит учесть те искомые изменения, которые продемонстрируют успешность морального улучшения? Т. Дуглас утверждает, что существует очень небольшой консенсус по поводу того, какие моральные мотивы являются хорошими и в какой степени, так как это зависит от предпочитаемой моральной теории. Таким образом, что считать морально одобряемым мотивом и что считать улучшением мотива будет различно для разных людей [Douglas, 2008].

Сравнивая прогресс в области технологий и развитие морали, сторонники морального улучшения утверждают, что «мы срочно должны ускорить темпы нравственного совершенствования, чтобы предотвратить мощный выход технологического прогресса, который может быть использован неправильно с катастрофическими результатами» [Person, Savulescu, 2013]. При этом перспективы «морального инжиниринга», связанные с желанием обеспечить соблюдение норм общественной морали и решить проблемы аморального поведения, многим исследователям кажутся вполне реальными. Но это будет только первый и, возможно, социально одобренный шаг. Однако не станет ли он началом пути, в котором поведение и социальная коммуникация окажутся в полном смысле лишь «делом техники», а «умные таблетки», которые активно принимают студенты западных университетов для подготовки к тестам, дополнятся усилителями внимания к окружающим.

Вместе с развитием медикалистских тенденций в обществе необходимо отметить и веру в технологические инновации и возможности



биотехнонауки. Если технооптимизм прошлого столетия пошатнулся после техногенных катастроф, то в сфере биомедицины он, напротив, укрепился благодаря успехам ученых. Заметную роль в переоценке технологических устройств играют биохакаеры, бросившие вызов «большой биологии». «Делай-сам-биология» (DIY-bio), «гаражная биология» — все эти выражения описывают энтузиастов и специалистов, стремящихся реализовать равенство и социальную справедливость на основе открытого и массового производства знаний в сфере биологии. Пока потенциал их разработок оценивается невысоко, а сами они нередко утверждают, что нацелены не на создание нового «чудо-продукта», а на повторное и более дешевое воспроизводство уже созданного. Следуя убеждению, что биотехнологические разработки не могут оставаться связанными интересами корпораций, а должны разрабатываться в рамках более открытого и социально заинтересованного контекста, они активно включаются в развитие технологий улучшения. Так, в руку биохакера Тима Кэннона вшит биометрический чип «Circadia», который передает данные о температуре тела на электронное устройство — планшет, телефон, а группа энтузиастов «Наука для масс» разработала капли, которые позволяют человеку видеть в темноте. В рассматриваемом контексте важно не столько и не только, как далеко зайдут в своих разработках представители «гаражной биологии», а какое влияние технологика улучшающих воздействий окажет на потребителей.

Библиографический список

Дююю Ж.П. Медицина и власть // Электронный ресурс: <http://polit.ru/article/2006/08/16/dupui/>

Корсани А. Капитализм, биотехнонаука и неолиберализм. Информация к размышлению об отношениях между капиталом, знанием и жизнью в когнитивном капитализме // Логос. 2007. № 4. С. 123–143.

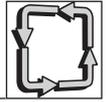
Clarke A., Shim J., Mamo L., Fosket J.R., Fishman J. Biomedicalization: Technoscientific Transformations of Health, Illness, and U.S. biomedicine // Am J Sociol. 2003. Vol. 68. P. 161–194.

DeGrazia D. Moral Enhancement, Freedom, and Hat We (should) Value in Moral Behavior // Journal of Medical Ethics. 2014. Vol. 40(6). P. 361–368.

Douglas T. Moral Enhancement // Journal of Applied Philosophy. 2008. Vol. 25. № 3. P. 228–245.

Persson I., Savulescu J. Getting Moral Enhancement Right: the Desirability of Moral Bioenhancement // Bioethics. 2013. Vol. 27. № 3. P. 124–131.

Roco M.C., Bainbridge W.S. (eds.). Converging Technologies for Improving Human Performance. Springer Netherlands, 2003.



References

Dupuis J. *Medicine and Power*. Available at: <http://polit.ru/article/2006/08/16/dupui/> (accessed: 20.03.2016).

Corsani À. Capitalism, biotechnoscience and neoliberalism. Food for thought about the relationship between capital, knowledge and life in cognitive capitalism [Kapitalizm, biotehnounauka i neoliberalizm. Informacija k razmyshleniju ob odnosnienijah mezhdu kapitalom, znaniem i zhizn'ju v kognitivnom kapitalizme]. *Logos*, 2007, no. 4, pp. 123–143.

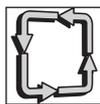
Clarke A., Shim J., Mamo L, Fosket J.R., Fishman J. Biomedicalization: technoscientific transformations of health, illness, and U.S. biomedicine. *American Journal of Sociology*, 2003, vol. 68, pp. 161–194.

DeGrazia D. Moral enhancement, freedom, and hat we (should) value in moral behavior. *Journal of Medical Ethics*, 2014, vol. 40, no.6, pp. 361–368.

Douglas T. Moral Enhancement. *Journal of Applied Philosophy*, 2008, vol. 25, no. 3, pp. 228–245.

Persson I., Savulescu J. Getting moral enhancement right: the desirability of moral bioenhancement. *Bioethics*, 2013, vol. 27, no. 3, pp. 124–131.

Roco M.C., Bainbridge W.S. (eds.). *Converging technologies for improving human performance. Nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science*. Springer, Netherlands, 2003. 468 p.



ТЕХНОНАУКА КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СРЕДА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ¹

**Ольга Евгеньевна
Столярова** — кандидат
философских наук, на-
учный сотрудник сек-
тора социальной эпи-
стемологии Института
философии РАН.
E-mail:
olgastoliarova@mail.ru

В тексте комментируется статья Б.Г. Юдина о связи технонауки и современных биоинженерных проектов с медицинскими практиками «улучшения» человека. Для обсуждения высказанных в статье идей используется концепция двух видов научности, предложенная Т. Куном. Показывается, что технонаука отвечает второму типу научности — собственно экспериментальному («бэкониянскому») в отличие от первого, математического типа и что она формирует экспериментальную среду изучения, частью которой является человек.

Ключевые слова: технонаука, история и философия науки и технологии, трансгуманизм, медицинские практики, научный эксперимент.

TECHNOSCIENCE AS AN EXPERIMENTAL ENVIRONMENT AND EXPERIMENTAL METHODOLOGY

Olga Stoliarova —
PhD in philosophy,
research fellow at the
department of social
epistemology, Institute
of Philosophy, RAS.

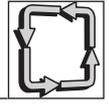
The paper provides a commentary on B.G. Yudin's paper devoted to the relationship between technoscience and contemporary human enhancement technologies. In order to discuss these issues I address to T. Kuhn's conception of two traditions in the development of modern science. I show that technoscience belongs to the tradition that Kuhn calls the Baconian or "experimental" sciences in contrast to the "mathematical" sciences. I argue that technoscience creates an experimental environment for the study of a human being as an integral part of this environment.

Key words: technoscience, history and philosophy of science and technology, transhumanism, medical practices, science experiment.

В своей статье Б.Г. Юдин связывает два вопроса: о сущностных характеристиках технонауки и о технологическом «улучшении» человека. Соглашаясь с автором в том, что ответ на первый вопрос имеет большое значение для понимания второго вопроса, я сосредоточу свой комментарий на характеристиках технонауки с тем, чтобы подойти ко второму вопросу с некоторыми результатами, которые позволят мне согласиться или не согласиться с заключительным выводом автора о том, что «улучшение» человека — это своеобразная методология его *экспериментального* изучения».

Б.Г. Юдин справедливо указывает на то, что теории и практики «улучшения» человека достигают в последние десятилетия невиданных масштабов и начинают теснить традиционные медицинские, т.е. прежде всего *лечебные*, теории и практики. Б.Г. Юдин обнаруживает условия возможности этих новых задач и их решений в соединении науки с технологией, соединении, кото-

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-03-00033.

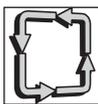


рое сегодня тематизируется и обсуждается в качестве феномена *технонауки*. Анализируя характеристики технонауки, Юдин выделяет два «контура» взаимодействия науки и технологии — внутренний и внешний. С помощью отсылки к первому технология описывается в качестве псевдоестественной среды, в которой разворачивается научное исследование. Второй имеет значение для описания социальных детерминант науки вместе с ее технологическими условиями/приложениями.

Не отрицая взаимной дополнительнойности двух контуров, я хочу обратиться к первому, чтобы показать, что он, на мой взгляд, является определяющим для понимания технонауки и ее исторического развития. Я буду опираться на статью Т. Куна о двух типах научности Нового времени [Kuhn, 1976], а также привлеку к обсуждению материал полемики марксистских историографов науки и А. Койре, в которой раскрываются коллизии между внутренним и внешним контурами (техно)науки.

В эпоху первой научной революции, пишет Т. Кун, происходит не только трансформация старых, классических наук, но и формирование новых. Несмотря на глубокие теоретические изменения, на рост научного инструментария, такие классические науки, как математика, астрономия, оптика, статика, наука о движении, остаются в Новое время по преимуществу абстрактными, «квазиматематическими» (хотя и признают вслед за Аристотелем, средневековыми физиками и Ф. Бэконом необходимость наблюдений) и не испытывают настолько сильной нужды в эксперименте, каковую испытывают новые, в собственном смысле слова *экспериментальные*, науки. Последние формируются в значительной степени независимо от первых и уходят корнями не в умозрительную, а в практическую традицию, связанную с алхимией, ремеслом и медициной.

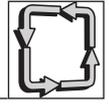
Классические науки, хотя и реформированные в эпоху Научной революции, используют эксперимент для демонстрации заранее добытых в ходе мысленных экспериментов теоретических положений (и тем самым подтверждают интерналистский тезис о том, что революции совершаются в головах). Экспериментальные же науки (Кун называет их *бэконианскими* и относит к числу их творцов У. Гильберта, Р. Бойля и Р. Гука) заинтересованы в *испытании* природы, т.е. в том, чтобы увидеть, как поведет себя природа в ранее не существовавших условиях, впервые возникших благодаря техническому искусству и изобретательности ученого. Любопытство и сноровка экспериментаторов немало способствовали тому, что в арсенале ученого получили прописку телескоп, микроскоп, барометр, воздушный насос и многие другие оригинальные устройства, с помощью которых наука Нового времени конструировала оригинальные лабораторные ситуации и создавала новые области исследований.



Развитие бэкониянского направления оказало влияние на переоценку роли артефактов в научном исследовании и формирование конструктивистских интерпретаций научного познания, учитывающих не только мысленное, но и материальное конструирование научных объектов. Эта переоценка, однако, заняла не одно столетие. Эпистемология и философия науки долгое время сохраняли приверженность традиционной точке зрения на взаимоотношение науки и технологии, при которой технология рассматривалась в качестве приложения научной теории, а не ее условия. Лишь во второй половине XX в. значительное число философов, историков и социологов науки обратилось от, используя терминологию Я. Хакинга, «представления» к «вмешательству» [Hacking, 1983], включив подходы и результаты философии, истории и социологии технологии в сферу своих интересов. Сегодняшнее повышенное внимание социогуманитарных наук к такому пограничному объекту, как технонаука, свидетельствует об этой перемене.

Теоретический уклон традиционной философии науки довольно долго препятствовал тому, чтобы сделать темой обсуждения одну из главных, на мой взгляд, характеристик технонауки, которая заключается в ее открытых, связанных с рисками и соответственно далеко не полностью предсказуемых процессах и результатах. Дело в том, что технонаука создает сложные системы, состоящие из человеческих и нечеловеческих акторов, которые не могут быть редуцированы ни к материальной, ни к интеллектуальной, ни к социальной составляющим. Недооценка технологического конструирования реальности приводит к тому, что философия науки, пытаясь постичь динамику науки, поставлена перед выбором между внутренней логикой ее развития (интернализм) и внешними, приводящими обстоятельствами, которые объявляются *социальными* (экстернализм). В этом смысле показательна позиция А. Койре, высказанная им, в частности, в полемике с марксистскими историками науки, разделявшими традиционное для марксистской философии внимание к материально-технической базе теоретических усилий и результатов.

Защищая интерналистский взгляд на развитие новоевропейской науки, Койре противопоставляет его *утилитаристской*, как он ее называет, точке зрения марксистских историков (Б. Гессена и др.) [Koyré, 1943]. Согласно Койре, марксисты считают, что создание новых технологий отвечает социальным потребностям и, следовательно, что общественные нужды через посредство технологии направляют развитие науки. «Создание техники не могло быть мотивом тех, кто занимался наукой, — возражает Койре, анализируя причины научной революции XVII в., — потому что основные области техники уже к тому времени наличествовали... техника никоим образом не направляла науку» [Koyré, 1943: 400–401]. В ответ на этот аргумент со-

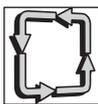


временные исследователи марксистской истории науки Г. Фройденталь и П. Маклафлин предлагают схему взаимодействия науки и технологии, далекую от утилитаризма и «вульгарного социологизма» [Freudenthal & McLaughlin, 2009]. В их интерпретации присутствие тех или иных технологий в распоряжении ученого не отрицает, а, наоборот, подчеркивает конструктивную роль артефактов: технология формирует горизонт и материал науки как предметная область и опытная основа научного исследования. Конструктивно-проективная деятельность человека (технологическая «идеализация природы») возвращается в виде реальности «второй природы», которая обеспечивает эмпирическую точку отсчета и референции научных теорий.

С моей точки зрения, концепция Фройденталея и Маклафлина помогает понять комплексную природу и особенности технонауки, которая хотя и представляет собой изучение того, что мы сами создали, при этом сталкивается с тем, что созданное нами обладает собственным потенциалом развития. Ситуация становится еще более сложной, когда дело доходит до самого человека как объекта проектирования и изучения. Как верно пишет Б.Г. Юдин, «дело при этом вовсе не ограничивается одним лишь “обслуживанием” человека — наука и технологии приближаются к нему не только извне, но и как бы изнутри, в известном смысле делая и его своим производением, проектируя не только для него, но и его самого».

Итак, если мы согласимся с Куном, Фройденталем и Маклафлином в том, что революции происходят не «только в головах», но и главным образом в мастерских, то мы должны будем признать, что технонаука формирует экспериментальную среду, частью которой являются «мастерские» по производству человека, получающего приставку транс-, поскольку его характеристики выходят за пределы традиционных норм и представлений. Причем если для биоинженерных лабораторий такое производство более или менее ожидаемо по определению, то в случае медицины оно не столь очевидно и связано с неожиданными эффектами новых технологий и технологических практик, что подтверждает эмерджентный характер результатов технонауки.

В качестве примера из области медицины приведу широко обсуждаемый сегодня в философии и социологии медицины феномен самолечения и самопомощи [Peeters et al., 2013; Stokes, 2013; West, 2009]. В наше время быстро возрастает количество технологических посредников между врачом и пациентом. К таковым можно отнести устройства диагностики, прогнозирования, лечения, реабилитации, компенсаторной помощи (например, электрокардиограф, ингалятор, протез и т.д.). Эти устройства, в особенности диагностические, призваны работать на доказательную медицину, т.е. гарантировать объективность врача при постановке диагноза и лечении (так, врач, оценивая состоя-



ние пациента, руководствуется показаниями приборов, а не субъективным мнением). Однако развитие посреднических медицинских технологий и, что очень важно, их сращивание с информационными технологиями (например, диагностика по Интернету, электронные медицинские карты, личные терапевтические и имплантированные диагностические устройства, соединенные со Всемирной паутиной, и т.д.) приводят к неожиданному результату. Технологически оснащенный субъект получает возможность диагностировать, лечить и даже «апгрейдить» самого себя без участия врача. Принципиальным в этой ситуации является то, что технологическое наращивание медицинской объективности и эффективности оборачивается неожиданным вторжением технологически оснащенной субъективности, что влечет за собой разнообразные (этические, социальные) последствия, которые нам еще предстоит изучить и оценить. Таким образом, из лечебной практики, основной задачей которой было возвращение к *норме*, медицина на наших глазах превращается в «мастерскую» по производству нового человека.

Подведу итог. Я согласна с заключением Б.Г. Юдина о том, что ««улучшение» человека — это своеобразная методология его *экспериментального* изучения», и хочу лишь отметить, что эта методология является частью описываемой Б.Г. Юдиным системы, а не ее метауровнем, и, следовательно, сама находится в состоянии становления и непредсказуемого изменения.

References

Freudenthal & McLaughlin, 2009 — Freudenthal, G. McLaughlin, P. Classical Marxist Historiography of Science: the Hessen-Grossmann-Thesis. In: *Freudenthal G. & P. McLaughlin* (eds.). *The Social and Economic Roots of the Scientific Revolution: Texts by Boris Hessen and Henryk Grossmann. Boston Studies in the Philosophy of Science*, vol. 278, Springer, 2009, pp. 1–40.

Hacking, 1983 — Hacking I. *Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science*. Cambridge University Press, 1983.

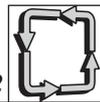
Koyré, 1943 — Koyré A. Galileo and Plato. *Journal for the History of Ideas*, 1943, vol. 4, pp. 400–428.

Kuhn, 1976 — Kuhn T.S. Mathematical vs Experimental Traditions in the Development of Physical Science. *Journal of Interdisciplinary History*, 1976, vol. VII, no. 1, pp. 1–31.

Peeters et al., 2013 — Peeters J.M., Wiegiers T.A., Friele R.D. How Technology in Care at Home Affects Patient Self-Care and Self-Management: A Scoping Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2013, vol. 10, no. 11, pp. 5541–5564.

Stokes, 2013 — Stokes C. The Electronic Health Revolution: How Health Information Technology Is Changing Medicine — And the Obstacles in Its Way. *Health Law & Policy Brief*, 2013, vol. 7, no. 1, pp. 21–36.

West, Miller, 2009 — West D.M., Miller E.A. *Digital Medicine: Health Care in the Internet Era*. Brookings Institution Press, 2009. 183 p.



«УЛУЧШЕНИЕ» ЧЕЛОВЕКА КАК МОЛОДЕЖНАЯ ПРОБЛЕМА¹

Валерий Андреевич Луков — доктор философских наук, профессор, директор Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета. E-mail: v-lukov@list.ru

Перспективы «улучшения» человека рассмотрены как молодежная проблема, т.е. социально значимая проблема, содержание которой раскрывается в процессе преемственности и смены поколений и выражается в ожиданиях людей в отношении своего будущего. «Улучшения» могут себя проявить только со временем, а значит — приобретают смысл в контексте отношений молодежи и общества, выражением которых является молодежная политика, проводимая в той или иной стране государством и структурами гражданского общества. Особенность молодежного аспекта проблемы вытекает из парадокса *социальной субъектности* — того свойства, приобретение которого характеризует молодежь как социальную группу. Та доля социальной субъектности, которой уже овладела молодежь, позволяет ей в автономном режиме формировать свои ожидания от будущего (включая и «улучшение» человека) и предпринимать определенные действия в режиме эксперимента над собой, а также социальной и культурной средой. Индивидуальные эксперименты, затрагивающие природу человека как биосоциального существа, открывают дорогу к изменениям человеческих общностей и новым направлениям социального конструирования реальности, особенно тесно связанным с инновационным потенциалом молодежи.

Ключевые слова: молодежь, перспективы «улучшения» человека, инновационный потенциал, молодежная политика.

HUMAN «ENHANCEMENT» AS A YOUTH PROBLEM

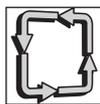
Valery A. Lukov — Doctor of Philosophy, Professor, Director, Institute of Fundamental and Applied Studies, Moscow University for the Humanities.

The impact of “human enhancement” can manifest itself only over time. And this is why, the author argues, “human enhancement” is an issue for the youth-oriented policies. As such, the problem of “human enhancement” is a social problem. The author stresses the influence of individual experiments that young people run on themselves and that have to do with human enhancement. He argues that these experiments have the potential of opening new directions for a social construction of reality. He relates this potential to the innovative impulse that young people have.

Key words: youth, prospects for “human enhancement”, human potential for innovation, youth policy.

Статья Б.Г. Юдина «Технонаука и «улучшение» человека» выявляет суть проблемы перспектив человека, каковой она стала в начале XXI в. на фоне принципиальных изменений в возможностях воздействия на человеческую природу проектируемыми и в соответствии с проектами осуществляемыми средствами, которыми обладают технонаука и — в опоре на нее — биотехнологии. Требуется социально-философского осмысления то, что мы стоим на по-

¹ Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 15-18-30057.

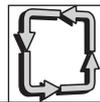


роге массовых действий, которые можно назвать «перезагрузкой проекта человека», т.е. практической попыткой «преодоления всех человеческих когнитивных, эмоциональных и физических ограничений с использованием современных технологий», что признается ответственно мыслящими учеными, например Джанет А. Курани, на позицию которой ссылается также Б.Г. Юдин, «наиболее фундаментальными социальными и политическими вопросами, стоящими перед миром в XXI веке» [Kourany, 2014: 981].

Особый интерес приобретает то положение статьи Б.Г. Юдина, которое выявляет ориентированность разработки и применения новейших технологий для «улучшения» человека и в целом технонауки на *отдельного индивида*. В известном отношении это новое явление для науки как социального института, которое стало возможным в силу решительной трансформации коммуникационной среды под воздействием новых информационных технологий и средств межличностной коммуникации. Новизна этого обстоятельства состоит в том, что некое действие по «улучшению» человека, производимое в отношении отдельного индивида, без заметных временных интервалов и пространственных препятствий становится общеизвестным и, можно сказать, общеожидаемым, т.е. не только индивидуально, но и социально значимым. Мы имеем дело с формированием в конкретном выражении *социологии ожиданий*, т.е. не только некоторого импульса к экспериментам над человеческой природой, но и действий, имеющих последствия для общества и ведущих к существенным изменениям человеческого потенциала.

В связи с этим мы и говорим о проектах «улучшения» человека в аспекте молодежной проблемы. Здесь есть несколько ее срезов. Самый общий состоит в том, что такие «улучшения» могут себя проявить только со временем, а значит, приобретают смысл в контексте общесоциального процесса преемственности и смены поколений. Этот процесс в конечном счете и определяет характер молодежной политики, проводимой в той или иной стране государством и структурами гражданского общества [Ильинский, Луков, 2008: 5–14]. Есть срез повседневности, где обозначились микросоциальные проекты родителей, желающих при помощи биотехнологий сделать своих детей более умными, сильными, успешными и т.п. Обозначение «дизайнерские дети», появившееся в литературе [Beyond Therapy, 2003], здесь очень подходит. Есть и эксперименты над собой самой молодежи, которые вытекают из ее открытости к изменениям, задач накопления жизненного опыта, повышения социального статуса и т.д.

«Улучшение» человека в наше время все более приобретает черты молодежной проблемы и в смысле воспитательного воздействия на новые поколения, которое уже не может осуществляться по социально-педагогическим технологиям прошлых столетий, и в смысле

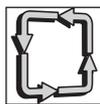


«тотального перепроектирования» человека, которое может дать эффекты уже в ближайшие десятилетия. Между тем в концептуальных документах последнего времени, принятых в России на федеральном уровне и касающихся стратегии воспитания и основ государственной молодежной политики², значение этого нового обстоятельства совершенно не учитывается, оно попросту не замечается. Точно так же не осознается его связь с образовательными программами начальной, средней, высшей школы. Здесь не находится места для постановки вопроса о возможном применении или, наоборот, запрещении применения биотехнологий улучшения моральных и интеллектуальных качеств человека и в их числе памяти, скорости осуществления мыслительных операций, эмпатии, склонности к альтруистическому поведению, о способах перехода эстетического нормирования, заложенного в практиках конструирования человека, в этическое нормирование. Стратегические планы государства, обозначаемые на 15–20 лет, при достигнутой в мире скорости социальных и культурных перемен не могут не учитывать хотя бы в самом общем виде влияние фактора «улучшения» человека.

Представляется актуальным философское осмысление существа проблемы «улучшения» человека как проблемы по преимуществу молодежной. Особенность молодежного аспекта проблемы вытекает из парадокса *социальной субъектности* — того свойства, приобретение которого характеризует молодежь как социальную группу. Субъектная составляющая в трактовке всего того, что может быть охарактеризовано «улучшением» человека, стоит на первом плане и может на уровне знания выступать в самой приблизительной и неявной форме, но этим не будет снижена активность субъекта в части проб таких «улучшений» — в молодежной среде, среди прочего, из любопытства, жажды изменений или исходя из наличных действительных либо мнимых обстоятельств и замысленных частных или вселенских проектов. Именно в этом ключе для гуманитарного анализа становится важным подход, определяемый нами как тезаурусный и представленный как субъектная организация гуманитарного знания [Луков, Луков, 2008].

Та доля социальной субъектности, которой уже овладела молодежь, позволяет ей в автономном режиме формировать свои ожидания от будущего (включая и «улучшение» человека) и предпринимать

² Мы имеем в виду документы, принятые распоряжениями Правительства РФ в 2014–2015 гг., а именно: Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р (электронный ресурс). URL: <http://www.rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html> (дата обращения 25.03.2016); Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (электронный ресурс). URL: <http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf> (дата обращения 25.03.2016).



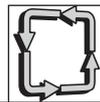
определенные действия в режиме эксперимента — над собой, но и не только.

При нынешних возможностях глобальных коммуникаций возрастает разрыв между тем, информация о каких мировых достижениях доступна для молодежи и производит на нее впечатление прорыва в будущее, и тем, что ее окружает в повседневной жизни. Многое, что воспринимается как фантастика, доступно для нынешнего человека в той или иной части света. Все более доступны и те изменения в самом человеке, которые обозначают путь к новому состоянию общества в ближайшие десятилетия.

Индивидуальные эксперименты, затрагивающие природу человека как биосоциального существа, открывают дорогу к изменениям человеческих общностей и новым направлениям социального конструирования реальности, включающего ментальную деятельность и социокультурное проектирование (своего рода опредмеченную мысль), особенно тесно связанные с инновационным потенциалом молодежи.

Не менее значимы в социальном плане становящиеся фрагменты информационного общества, в которых молодежь активно трансформирует коммуникативные практики, получая автономию в социальных сетях и известную свободу от традиционных форм социального контроля. Но неизбежны и риски: открывая широкую дорогу «дикости» и «инновационности» молодежи, черпая из этих свойств молодых поколений ресурс своего развития, информационное общество оказывается незащищенным от новых болезней, которые по части есть модификация болезней старых, не раз приводивших процветающие цивилизации к упадку и полному исчезновению. Из этого следует, в частности, то, что биосоциологический взгляд на новые ресурсы развития молодежи не может не соединяться с биоэтическим пониманием границ вмешательства человека в свою природу и природу общества.

Небезынтересные результаты может дать планируемое исследование имеющихся среди молодежи социальных ожиданий и опасений развития технологий «улучшения» человека. В нем предполагается выявить уровень предрасположенности различных групп молодежи к фактическому осуществлению различных сценариев «улучшения» человека и соответствующим изменениям в социальной стратификации и межкультурной коммуникации. Будут решаться две задачи: первая связана с выявлением понимания и отношения к проектам «улучшения» человека в среде молодых ученых и специалистов, в той или иной мере имеющих касательство к возможному осуществлению таких проектов; вторая — с установлением готовности молодежи к осуществлению такого рода проектов как в целом, так и в отношении себя. В этой второй задаче уже не имеется в виду профессиональная подготовка опрашиваемых, существенно то, каковой в новых по-



колениях определяется граница экспериментов над природой человека, которую недопустимо переходить, или такая граница и вовсе не признается существенной.

Новые напряжения, вытекающие из ожидаемого изменения статуса-роли молодежи в обществе, необходимо осмыслить, а также спрогнозировать с применением гуманитарной экспертизы. Этот подход уже намечен в литературе [Юдин, 2006; Гуманитарные..., 2014]. Однако ситуация меняется стремительно, и конкретизация задач гуманитарной экспертизы, а также понимание того, что в ней заметную роль должна играть и молодежь, неизбежны.

Библиографический список

Ильинский И.М., Луков В.А. Государственная молодежная политика в России: философия преемственности и смены поколений // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 4. С. 5–14.

Гуманитарные ориентиры научного познания ; отв. ред. П.Д. Тищенко. М. : Ин-т философские РАН : Навигатор, 2014. 352 с.

Луков В.А., Луков В.А. Тезаурус: Субъектная организация гуманитарного знания : монография. М. : Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2008. 784 с.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (электронный ресурс). URL: <http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf> (дата обращения 25.03.2016).

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р (электронный ресурс). URL: <http://www.rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html> (дата обращения 25.03.2016).

Юдин Б.Г. Необходимость и возможности гуманитарной экспертизы // Знание. Понимание. Умение. 2006. № 4. С. 187–194.

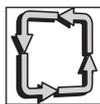
Beyond Therapy: Biotechnology and the Pursuit of Perfection The President's Council on Bioethics. Washington, D.C. October 2003. URL: <https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcbe/reports/beyondtherapy/chapter2.html> (дата обращения 25.03.2016).

Kourany J. A. Human Enhancement: Making the Debate More Productive *Erkenntnis*. 2014. № 79 (5). P. 981–998.

References

Beyond Therapy: Biotechnology and the Pursuit of Perfection. *The President's Council on Bioethics*. Washington, D.C., 2003, October. Available at: <https://bioethicsarchive.georgetown.edu/pcbe/reports/beyondtherapy/chapter2.html> (accessed 25.03.2016).

Kourany J.A. Human Enhancement: Making the Debate More Productive. *Erkenntnis*, 2014, vol. 79, no. 5, pp. 981–998.



Humanitarian guidance of scientific knowledge [Gumanitarnye orientiry nauchnogo poznaniya], ed. by P.D. Tishhenko; Institut filosofii RAN. Moscow, Navigator, 2014. 352 p.

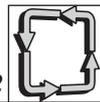
Il'inskij I.M. and Lukov V.A. State Youth Policy in Russia: the philosophy of continuity and change of generations [Gosudarstvennaja molodezhnaja politika v Rossii: filosofija preemstvennosti i smeny pokolenij]. Knowledge. Understanding. Skill — *Znanie. Ponimanie. Umenie*. 2008, vol. 4, pp. 5–14.

Lukov Val.A. and Lukov Vl.A. *Thesauri: The Subjective Organization of Humanities Knowledge* [Tezaurusy: Sub"ektnaia organizatsiia gumanitarnogo znaniia]. Moscow, The National Institute of Business Press, 2008. 784 p.

The order of the Russian Federation from November 29, 2014 ¹ 2403-r «On approval of the State Youth Policy of the Russian Federation for the period till 2025" [Rasporjazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 29 nojabrja 2014 g. № 2403-r «Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoj molodezhnoj politiki Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda»]. Available at: <http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf> (accessed 25.03.2016).

The development strategy of education in the Russian Federation for the period up to 2025. Approved by the Federal Government on May 29, 2015 ¹ 996-p [Strategija razvitija vospitaniya v Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda. Utverzhdena rasporjazheniem Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 29 maja 2015 g. № 996-r]. Available at: <http://www.rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html> (accessed 25.03.2016).

Judin B.G. The necessity and possibility of humanitarian expertise [Neobhodimost' i vozmozhnosti gumanitarnoj jekspertizy]. Knowledge. Understanding. Skill — *Znanie. Ponimanie. Umenie*, 2006, vol. 4, pp. 187–194.



ДВОЙНАЯ СПИРАЛЬ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ ЖИЗНИ¹

Павел Дмитриевич Тищенко — доктор философских наук, завсектором гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии РАН. E-mail pavel.tishchenko@yandex.ru

В концепции Б.Г. Юдина особое место занимает представление о двух контурах технонауки: внешнего (наука, бизнес и общество) и внутреннего — лаборатории. Внутренний контур образуют многоаспектные отношения науки и технологий при проведении экспериментов, участии науки в разработке собственных технологических средств, зависимости направлений научных исследований от технических средств визуализации и т.д. На примере развития синтетической биологии демонстрируется, что и внутренний, и внешний контуры технонауки подвергаются процессу технологизации. Координированная деятельность внутреннего и внешнего контуров технонауки обеспечивается синергией регулятивных принципов: истины, блага и пользы.

Ключевые слова: технонаука, техника, технология, стандартизация измерений и продуктов, научный аутсорсинг, научная фабрика, технологизация жизни.

DOUBLE HELIX OF LIFE TECHNOLOGIZATION

Pavel Tishchenko — doctor of philosophical sciences, Chair of the Department of humanitarian expertise and bioethics, the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences.

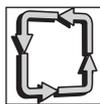
The author discusses B.G. Yudin's image technoscience as having two contours, the external one dealing with science, business and society, and the internal one represented by laboratories. Together these two contours present a multidimensional net of relations between science and technology in conducting experiments, development of instruments (e.g. visualization tools), etc. The author argues that, in such a system, coordinated activity of the internal and the external contours is provided by a synergy of regulatory principles of truth, good and usefulness. He discusses a case of synthetic biology which, as he argues, demonstrates that the internal and external contours of technoscience undergo a process of technologization. Technologization is understood as a transition from research techniques to systematic use of technologies. Biotechnologies are claimed to have a double socio-biological helix network structure. Each network is formed as a kind of *ad hoc* "factory" and is aimed at solving specific research problems.

Key words: technoscience, technique, technology, technologization of scientific research, standardization of measurements and products, research outsourcing, scientific factory, life technologization.

Положение о внешнем (наука, бизнес и общество) и внутреннем (ядро — лаборатория) контуре технонауки — важнейший аспект концепции Б.Г. Юдина. Эти контуры не просто оказывают друг на друга влияние, но конвергируют в режиме совместного производства (co-production). В результате в биомедицине происходит удвоенное производство жизни в форме объекта (на микроуровне) и в форме социального субъекта (на макроуровне) биотехнологических преобразований.

В своей статье я хотел бы показать на примере развития синтетической биологии, что и внутренний и внешний контуры технонауки подвергаются процессу технологизации. При этом я различаю, по крайней мере в рамках

¹ Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФ, проект № 15-18-30057.



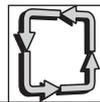
этой статьи, феномены техники и технологии. Техника — это способ и/или средство действия, основывающиеся на неотчуждаемом от субъекта знании-умении, его мастерстве. Технология — это способ и/или средство действия, основывающиеся на отчуждаемом, интерсубъективном знании. В пределе технологизация выражается в замещении действия ученого-мастера действием компьютеризированного автомата. В этом смысле можно сказать, что проект «Геном человека» начинался в 1990-х гг. в научных «мануфактурах», а заканчивался на автоматизированных научных «фабриках».

Рассуждение о технологизации как внешнего, так и внутреннего контура технонауки хорошо различимо на примере синтетической биологии. По мнению социолога Х. Новатны и генетика Дж. Теста, особенность синтетической биологии заключается именно в технологизации исследовательского процесса, т.е. в переходе от ремесленного труда в сфере биотехнологий к промышленному производству биологических систем, которое осуществляется по заранее имеющемуся плану. В основе технологического мировидения лежит картезианское понимание организма как машины, устройство которой становится понятным в том случае, если его удастся разобрать на элементарные блоки, а затем провести обратную сборку, воспроизведя ее целостное функционирование. Для синтетической биологии эта установка имеет чисто практическое значение, одновременно знаменуя переход на *новый уровень познавательного отношения к жизни — от объективного описания к конструированию*.

«До сих пор биологические части исследуются в самых разных контекстах в огромном разнообразии организмов, в зависимости от целей, ставящихся конкретными лабораторными экспериментами. Результаты зависят от *индивидуального усилия ученого*. Они не являются результатом совместной исследовательской стратегии. Они основываются на *артистическом мастерстве*, но не на индустриальном производстве и использовании.

Задача синтетической биологии в том, чтобы создать из молекулярных компонентов жизни запасные части и затем использовать их для дизайна новых биологических систем (курсив мой. — П.Т.)» [Nowotny, Testa, 2010: 90].

Стандартизация материалов и технологических процедур обеспечивает *научный аутсорсинг* — возможность передачи части исследовательских задач другим научным организациям. Существенным условием, обеспечивающим возможность «сборки» результатов (их соизмеримости и сопоставимости), выступают процедуры *контроля качества* измерений, которые используются в науке. Системы контроля качества играют ту же роль, что и эталоны веса или длины в классической физике. Тем самым можно сказать, что биотехнологическое про-

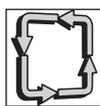


изводство имеет сетевую конструкцию. Каждая сеть формируется как ad hoc исследовательская «фабрика» под решение конкретной задачи.

Ученый, создающий биотехнологический продукт, является, образно говоря, подсистемой социальной системы (социальной формы человеческой жизни), которая связывает его сетью отношений взаимной зависимости, прав на интеллектуальную собственность и ответственности с другими учеными, бизнесом, образовательными структурами, политическими и государственными агентами, общественными организациями и отдельными гражданами. Во внутреннем контуре синтетической биологии конструируется биологическая клетка, а во внешнем — социальная «клетка» (социальная форма жизни). Познание и технологическое улучшение жизни разворачивается как двойная социобиологическая спираль.

References

Nowotny, Testa, 2010 — Nowotny H., Testa G. *Naked Genes: Reinventing the Human in the Molecular Age*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2010, p. 152.



ЧЕЛОВЕК В КОНТУРАХ ТЕХНОНАУКИ. КОММЕНТИРУЯ КОММЕНТАРИИ¹

A MAN WITHIN THE FRAME OF TECHNOSCIENCE. REPLY TO CRITICS

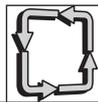
Б.Г. Юдин

Прежде всего хотелось бы поблагодарить коллег, высказавших свои соображения по поводу моего доклада и подготовленной на его основе статьи. Представленные ими тексты позволили мне увидеть, с одной стороны, свои собственные недоработки, недосказанности и т.п., с другой — те аспекты моих построений, которые требуют более основательного развертывания.

Как мне стало ясно после ознакомления с комментариями коллег, я не смог достаточно четко описать взаимодействие двух контуров технонауки — внутреннего и внешнего. В моем понимании эти контуры имеет смысл воспринимать не как два разных объекта, а как две разные проекции одного и того же объекта. Это значит, что внутренний контур — лаборатория — не есть нечто отдельное, имеющее четкие границы и четко определенные входы и выходы. Множеством самых разнообразных, весьма насыщенных связей он соединен с каждым из блоков внешнего контура — с бизнесом, обществом, человеком. Поэтому я не готов вполне согласиться с О.Е. Столяровой, когда она соотносит внутренний и внешний контуры с разработанным в рамках истории и философии науки противопоставлением интернализма и экстернализма. Мне представляется, что понятие технонауки в определенном смысле снимает само это противопоставление.

Весьма интересным в этой связи представляется проводимое Столяровой со ссылкой на Т. Куна различение «классических» и экспериментальных наук. Именно последние, по мысли Столяровой, являются эпистемологической основой технонауки. Я не могу не согласиться с этой точкой зрения, правда, с одним дополнением. Мне когда-то приходилось проводить близкое по смыслу различение между науками, методология которых основывается на наблюдении изучаемых объектов (ср. Гёте: «видеть вещи, как они есть»; подобные взгляды разделяли, между прочим, П.А. Кропоткин и В.А. Вернадский), и науками экспериментальными, методы получения знаний в которых предполагают воздействие на изучаемые объекты, вмешательство в интересующие исследователя процессы (ср. К. Маркс: «... дело заключается в том, чтобы изме-

¹ Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 15-18-30057.

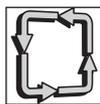


нить его [мир. — *Б.Ю.*]». Этот знаменитый тезис, конечно, вполне применим не только и не столько к миру в целом, сколько к отдельным объектам, включая и человеческих индивидов). Впрочем, в науке Нового времени (за исключением медицинских наук) довольно долго человек оставался объектом скорее наблюдения, чем экспериментирования. За этой разграничительной линией стояли помимо всего прочего определенные ценностные установки, эрозия которых началась лишь в XX в. В конечном счете характерный уже для последних десятилетий прошедшего века бурный прогресс биомедицинских технологий, которые с неизбежностью предполагают самые разнообразные воздействия на человека, вкупе с этим изменением ценностных установок и создал необходимые условия для того, чтобы стали столь востребованными искания в области «улучшения» человека.

Мне представляется весьма существенным то, о чем пишет О.Е. Столярова в конце своей статьи. Действительно, «улучшение» человека для меня интересно не столько само по себе, сколько в качестве своего рода методологии его познания, его экспериментального изучения. Если еще раз вспомнить (и перефразировать) Маркса, анатомия «улучшенного» человека, постчеловека — ключ к анатомии человека. И эта методология опять же не есть что-то внешнее, что-то вроде метауровня по отношению к контуру технонауки, ориентированному на улучшение человека. Она создается, разрабатывается и действует в самом же этом контуре.

П.Д. Тищенко, опираясь на работу Х. Новотны и Дж. Теста и используя в качестве характеристического примера для своих рассуждений синтетическую биологию, предлагает несколько иную интерпретацию двух контуров технонауки. Он сопоставляет мой внутренний контур с биологическим содержанием этой области знания, а внешний — с теми социальными обстоятельствами и взаимодействиями, в рамках которых нарабатывается это содержание. В этих рассуждениях коллеги меня привлекает сам выбор синтетической биологии в качестве примера технонауки, поскольку таким образом подчеркивается ее конструктивистская направленность. Отмечу также, что, к сожалению, в нашей философии науки синтетическая биология пока что не привлекает должного внимания. Между тем она чрезвычайно интересна с эпистемологической точки зрения, поскольку ее конечный замысел — создание из неживого материала своего рода строительных кирпичей, на основе которых можно будет собирать не только организмы, аналогичные существующим, но и совершенно новые, ранее невиданные формы живого.

В то же время я не готов всецело принять разделение биологических (знаний) и социальных (взаимодействий) в том виде, как оно проводится Тищенко. На мой взгляд, биологические знания и технологии выступают в качестве субстрата, по поводу которого осуществ-

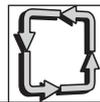


ляются социальные взаимодействия; последние же, безусловно, имеют место и во внутреннем контуре технонауки. Принципиальное значение при этом имеет задаваемая лабораторией взаимосоотнесенность биологической материи и выстраиваемого по ее поводу социального контекста. Внутренний контур технонауки пропитан социальной ничуть не меньше внешнего. Важно же для меня то, что внутренний контур занимает выделенное, центральное место во всей конструкции технонауки, что через него и по поводу него осуществляются все взаимосвязи и взаимодействия между блоками.

Е.В. Брызгалина весьма остроумно и точно воспользовалась строками Иосифа Бродского, предвидевшего грядущее кардинальное изменение того мира, в котором мы живем и который в скором времени будет «покрыт паутиной лабораторий». Действительно, именно лаборатория технонауки становится сегодня главным источником перемен в окружающем нас мире, а теперь уже все больше и в нас самих. Бродский переключается здесь с другим певцом лаборатории, Б. Латуром, который видит в ней буквально Архимедов рычаг: «Дайте мне лабораторию, и я переверну мир». Брызгалина прослеживает несколько траекторий, которые берут начало в лабораториях и ведут к новому, «улучшенному» человеку. При этом она совершенно справедливо обращает внимание на то, что движение по этим траекториям порождает весьма серьезные проблемы ценностного характера. Действительно, эти проблемы сегодня становятся полем острейших дискуссий, которые, как мне представляется, во многом определяют и будут определять будущее человека и человечества. Автор показывает могущество и громадный потенциал некоторых технологий «улучшения»; при этом, однако, имеет смысл еще раз процитировать Латура, писавшего о способности «вещей давать сдачи». Учитывая эту далеко не всегда приятную способность вещей, следует иметь в виду, что предлагаемые и ожидаемые технологии «улучшения» могут нести в себе всякого рода риски, угрозы и неприятности.

В связи с этим я хотел бы оспорить утверждение Е.В. Брызгалиной о том, что «для развития технонауки социогуманитарные обсуждения и не являются фактором, который может остановить ее развитие», поскольку, возвращаясь к стихам Бродского, «молоко уже пролито». Я, со своей стороны, считаю, что социогуманитарные обсуждения играют и будут играть все более значимую роль — скорее всего, не столько конститутивную, сколько регулятивную, реализуемую на уровне отдельных технологий или групп технологий, таких, например, как та же упоминаемая Брызгалиной ксенотрансплантация.

Когда-то технология ксенотрансплантации порождала множество ожиданий и одновременно — опасений. Однако в 2003 г., после того как Совет Европы принял рекомендации относительно этой технологии, ожесточенные дебаты вокруг нее постепенно стихли. В реко-

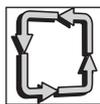


мендациях были зафиксированы риски, которыми чревато применение ксенотрансплантации, и определены меры защитного характера, относящиеся не только к собственно технологическим, но и к социально-этическим аспектам разработки и применения этой технологии. Хочу подчеркнуть, что в выработке рекомендаций существенную роль сыграли именно специалисты социально-гуманитарного профиля. Это — один из конкретных примеров «мягкого» управления (governance), действующего не столько путем законодательных запретов, сколько поисками консенсусов и компромиссов, дискуссиями, иногда весьма острыми и продолжительными, между заинтересованными сторонами, каждая из которых преследует собственные интересы, но так или иначе вынуждена учитывать интересы других сторон.

Трое авторов — Е.Г. Гребенщикова, В.А. Луков и О.Е. Столярова — в разных формах обратили внимание на особую роль человека, являющегося «мишенью», на которую направлены технологии «улучшения». Этот человек зачастую выступает не как их пассивный потребитель, а, напротив, как активный искатель (агент), готовый ставить эксперименты на самом себе, охотно идущий на риски, с которыми бывает сопряжено применение этих технологий. Выраженный интерес коллег к этой теме компенсирует мое упущение в исходной статье, в которой мне не удалось в должной мере зафиксировать эту особенность технауки. Активность потребителей, как потенциальных, так и актуальных, хорошо иллюстрирует такую особенность технауки, которую характеризуют как *распределенное производство знаний*, в котором участвуют не только профессиональные исследователи и разработчики технологий, но и рядовые граждане.

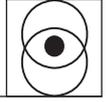
Как отмечает Гребенщикова, одной из ключевых особенностей технауки является способность «встраиваться в предпочтения и интересы потребителей до появления реального продукта». Побудительным импульсом для создания новых технологий, как правило, становятся ожидания и запросы потребителей. Исследователи, работающие в области STS, используют понятие *социотехнических мнимостей* (socio-technical imaginaries). Под такой мнимостью понимается сформированный, обычно под влиянием СМИ, образ еще не существующего будущего продукта, будущей технологии. Этот образ обретает значительную побудительную силу, что позволяет координировать решения и действия множества людей, так или иначе заинтересованных в создании новой технологии.

Мне представляется весьма перспективным то осмысление *социальной* роли улучшающих технологий, которое предлагает в своей статье В.А. Луков. Он обращает внимание на то, что в качестве движущей силы в продвижении этих технологий, как и вообще всего нового, обычно выступает молодежь, среди которой интерес к ним рас-



пространятся особенно быстро. Учитывая решительную трансформацию коммуникационной среды под воздействием новых информационных технологий и средств межличностной коммуникации, отмечает он, «некое действие по “улучшению” человека, производимое в отношении отдельного индивида, без заметных временных интервалов и пространственных препятствий становится общеизвестным и, можно сказать, общеожидаемым, т.е. не только индивидуально, но и социально значимым».

Я вполне согласен с Луковым, когда он подчеркивает необходимость социально-философского осмысления того обстоятельства, что «мы стоим на пороге массовых действий, которые можно назвать “перезагрузкой проекта человека”». Пока еще мы можем утешать себя тем, что современные технологии улучшения человека делают лишь первые шаги, а потому и связанные с ними риски невелики. Если, однако, воспользоваться концепцией социотехнических мнимостей, то можно констатировать, что различные формы и разновидности Homo enhanced уже поселяются в нашем сознании, они уже влияют на наше восприятие и сегодняшних, и будущих реалий, воздействуя, таким образом, и на то, какими мы видим самих себя и свое будущее. И это уже сегодня ставит нас в ситуации, требующие ответственного выбора, притом выбора не однократного, а такого, который надо будет обосновывать и совершать снова и снова, по мере того как станут раскрываться новые, все более впечатляющие, все более внушительные, но одновременно и все более рискованные технологические возможности «улучшения» человека.



EPISTEMIC CONSTRUCTIVISM, METAPHYSICAL REALISM AND PARMENIDEAN IDENTITY

Tom Rockmore — distinguished humanities chair professor, Peking University, China. E-mail: rockmore@dug.edu

The cognitive problem, which is a main modern theme, arises early in the Greek tradition. Parmenides, who formulates one of the first identifiably “modern” approaches to epistemology, points toward identity as the only acceptable cognitive standard. The paper, which leaves epistemic skepticism for another occasion, reviews versions of metaphysical realism identified with Plato in ancient philosophy and Descartes in the modern tradition in suggesting that for different reasons both fail. The paper reviews German idealist versions of epistemic constructivism formulated by Kant, Fichte and Hegel. The critical philosophy provides a widely known, complex a priori account of cognitive constructivism. This account is amplified, corrected, and reformulated in different ways by such post-Kantian German idealists as Fichte and Hegel. A key element concerns the restatement of the abstract Kantian view of the subject as finite human being by Fichte and Hegel.

Early in the Greek tradition, in equating thinking and being, Parmenides points to three approaches to knowledge as epistemic skepticism, metaphysical realism or epistemic constructivism. If epistemic skepticism is unacceptable and, metaphysical realism is implausible, then epistemic constructivism appears to be the most promising approach to cognition.

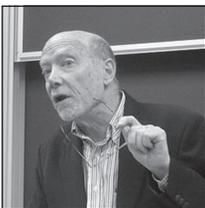
Key words: epistemic constructivism, epistemic skepticism, metaphysical realism, Parmenides, Plato, Descartes, Kant.

ЭПИСТЕМИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТИВИЗМ, МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И ПРИНЦИП ТОЖДЕСТВА У ПАРМЕНИДА

Том Рокмор — заслуженный профессор гуманитарных наук, Университет Пекина, Китай.

Проблема познания — главная тема современности — впервые возникла в древнегреческой традиции. Парменид, автор одного из ранних «современных» подходов к эпистемологии, настаивал на том, что именно принцип тождества является единственным приемлемым принципом познания. Настоящая статья, оставляющая в стороне проблемы эпистемического скептицизма, дает обзор различных версий метафизического реализма, связанных с Платоном в античной философии и с Декартом — в нововременной традиции. Автор полагает, что оба подхода в силу различных причин терпят неудачу. В статье также рассматриваются модели эпистемического конструктивизма, представленные Кантом, Фихте и Гегелем. Критическая философия разрабатывает общеизвестный комплексный априористский подход к когнитивному конструктивизму. Этот подход усиливается, корректируется и заново интерпретируется в различных версиях посткантовского немецкого идеализма (у Фихте и Гегеля). Ключевую роль здесь сыграло переосмысление Фихте и Гегелем абстрактного подхода Канта к субъекту как к носителю конечного человеческого существования. Однако еще в греческой традиции Парменид, отождествляя бытие и мышление, указывал на три возможных подхода к познанию — эпистемический скептицизм, метафизический реализм и эпистемический конструктивизм. Если эпистемический скептицизм неприемлем, метафизический реализм недоказуем, то эпистемический конструктивизм представляется наиболее перспективным подходом к проблеме познания.

Ключевые слова: эпистемический конструктивизм, эпистемический скептицизм, метафизический реализм, Парменид, Платон, Декарт, Кант.





In philosophy, views that are less well known and less often discussed are paradoxically often more promising than more popular and frequently discussed views. At this time there is probably no approach to cognition more promising than epistemic constructivism but also, in part because it is so rarely studied, none so poorly understood.

Theories emerge in respect to problems. This paper depicts epistemic constructivism as one of three main approaches to the cognitive problem as it emerges in Parmenides and later runs in different ways throughout the Western tradition. I will be suggesting that epistemic constructivism is more promising than such frequently studied alternatives as epistemic skepticism and metaphysical realism.

Cognition and the Parmenidean identity thesis

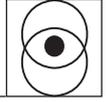
The cognitive problem, which is a main modern theme, arises early in the Greek tradition. Parmenides, who formulates one of the first “modern” approaches to epistemology, proposes an identity thesis, or the cognitive identity of subject and object as the condition of knowledge. At B 8.34, in writing that “to gar auto noein estin kai einai” [Parmenides, n. d.] he points toward identity as the only acceptable cognitive standard.

This interpretation is supported by textual analysis. Burnyeat, who thinks idealism is a specifically modern doctrine, attributes to Parmenides the view that thought refers to being [Burnyeat, 2012: 255]¹. At a minimum this interpretation suggests cognition requires, as Hegel later suggests, identity as well as difference, or an ontological distinction between the cognitive subject and object as well as a cognitive identity between the subject that knows and the object that is known.

Various types of identity can be distinguished. Frege stresses semantic identity in claiming that the morning star and the evening star have different meanings but the same reference, or the planet Venus. Numerical identity is the sense in which a given thing is self-identical. For instance the feather pen Krug employed to criticize Hegel is identical to his writing instrument. Qualitative identity, which refers to the way in which two or more things share a property, is illustrated in the notorious Platonic theory of forms (or ideas). Identity in difference, which is neither semantic nor numerical nor again qualitative, is a metaphysical relation brought about by the subject that creates an identity between itself and the object it “constructs.”

The Parmenidean view of cognition through identity in difference echoes through the tradition. In German idealism the ancient Parmenidean

¹ “But the fragment (frag. 3) which was once believed, by Berkeley among others (Siris §309), to say that to think and to be are one and the same is rather to be construed as saying, on the contrary, that it is one and the same thing which is there for us to think of and is there to be: thought requires an object, distinct from itself, and that object, Parmenides argues, must actually exist.”



identity is restated as the identity of identity and difference. Thought and being are not the same but different since being, or what is, is independent of thought about it. But from the Parmenidean perspective “to know” arguably means that “thought grasps mind-independent being.” In other words, for Parmenides cognition requires an identity of thought that grasps, hence knows, mind-independent being as well as difference, or being that not only differs from thought about it.

The identity of identity and difference identified with German idealism only becomes explicit at the time of Hegel. Yet it is at least implicit throughout the Western philosophical debate on knowledge since the early Greek tradition. This identity is featured, for instance, in what is now often called metaphysical realism, a popular cognitive approach that echoes through the entire Western tradition up to the present day. In current terminology, the claim to know has often been and is still now routinely understood as metaphysical realism or a grasp of the mind-independent external world as it is and beyond appearance. This point is often expressed as any form of the claim that the world is independent of my views about it. Over the centuries Western philosophy has examined a long list of different cognitive strategies for metaphysical realism. The philosophical debate on knowledge consists in a long, varied, ingenious series of efforts to demonstrate the claim to know the mind-independent world. Other approaches to knowledge, which regard metaphysical realism in all its forms as unsuccessful, abandon all forms of the ancient effort to know mind-independent reality as it is beyond mere appearance while maintaining the claim for the identity of identity and difference.

Plato and metaphysical realism

The enormously influential Parmenidean approach to cognition early in the Western debate continues to echo through the later tradition. Though there are many approaches to cognition, arguably the most important approaches are variations on only three themes already adumbrated by Parmenides long ago: epistemic skepticism, metaphysical realism or epistemic constructivism. Cognitive skepticism is any form of the view that either in theory or in practice efforts to establish the identity of subject and object fail. Metaphysical realism, which is widely familiar as the most popular approach to knowledge since Greek antiquity, rests on two claims: first, the ontological assertion of the existence of the mind-independent world, which has never been demonstrated, and, second, the epistemic claim that the mind-independent world is or at least in principle can be known as it is, not, for instance, merely as it appears, as Kant seems to suggest.

An ontological claim for the existence of the mind-independent external world is different from the epistemic claim, apparently a necessary but undemonstrated presupposition of modern natural science, that the

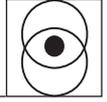


mind-independent external world exists and at least in principle if not in fact can be known as it is [Rescher, 1998: chapter 13].

This point calls for two comments. On the one hand, the familiar view that there is a mind-independent world, or in simpler language a way the world is, which is almost instinctively presupposed, is supposedly increasingly discovered by science, especially modern science. Yet it is undermined by recent physics, especially quantum mechanics, which is often understood to suggest that what we take to be reality is not independent of but rather dependent on the observer. On the other hand, this view is perhaps surprisingly anticipated by Hegel, who suggests, in employing the Fichtean term “to posit [setzen],” that we posit that what we seek to know exists outside the cognitive relationship as what, in echoing the Kantian thing in itself, Hegel calls “being in itself” that is called “truth” [Hegel, 1977: §82, 52–53].

Parmenides’ suggestion of the identity of thought and being is enormously influential in the later debate, for instance in the Platonic version of metaphysical realism. The Platonic version of metaphysical realism, also sometime called Platonic realism, is based on the theory of forms. We do not know and cannot now recover Plato’s position, if indeed he has one in a modern sense of the term. He says different things about the forms in different dialogues, whose invention he attributes to Socrates, which he apparently never formulates in acceptable terms, and which he sharply criticizes in *Parmenides*. The theory of forms features a basic difference between epistemology, or theory of knowledge, and ontology, or theory of being, a discipline that precedes and makes possible epistemology so to speak. The theory of forms appears in different versions, all of which share the view that the form or idea is the ontological cause of which the appearance is the ontological effect. Though Plato says different things about forms in different texts, suffice it to say that a Platonic form has at least four qualities: they are objects of mind as opposed to sensory perception; they really are and do not merely appear to be; they are eternal hence not mutable; and they are what different things, or what Plato calls appearances, share since, as Plato points out [Plato, 1997; 596A, 1200] “we customarily hypothesize a single form in connection with each of the many things to which we apply the same name.”

This doctrine creates the infamous problem of participation, which Plato criticizes in *Parmenides* and Aristotle criticizes in *Metaphysics*. Plato seems to suggest that the relation of forms to appearances or things is asymmetrical. The relation of the mind-independent real form as the cause to the appearance as its effect is a “forward” inference in which something, say the form of the table or tableness, is said to bring about a table. Plato gives as an example a carpenter who must know what a bed is in order to make a bed. A “forward” inference, which Plato favors, as opposed to a backward inference, which he opposes. Plato, who supports an inference from cause to effect, denies the “backward” inference from effect to cause, hence denies that acquaintance



with a particular appearance, say a table, justifies an inference from the appearance or effect to its cause, or from the table, which is an appearance, to the form that is its cause, in this case “tableness.”

This Platonic denial of the inference from effect to cause appears very modern. The relation of cause to effect is not symmetrical. It is plausible to infer from a cause to its effect, but implausible, as Hume suggests, to infer from an effect to its cause. Plato avoids cognitive skepticism in suggesting that some among us on grounds of nature and nurture can “see” or intuitively grasp the forms.

It is useful to distinguish between the enthusiasm created by Plato’s endorsement of metaphysical realism and the strategy he employs. The metaphysical realist view formulated by Plato in response to Parmenides remains extremely influential even if there is probably no one at the present time willing to defend a recognizable version of the theory of forms. Platonic realism features an unverified and unverifiable claim to “see,” intuit or directly cognize mind-independent reality as it is. Plato seems to suggest in several places, including *Republic* as well as the Seventh Letter that the cognitive grasp of the forms is self-justifying since through dialectic we directly grasp first principles.

Plato rests his case in the unsupported, unverifiable and ambiguous claim for direct intuition of the mind-independent real as it in fact is. He could be saying that some selected individuals in fact intuit the mind-independent real, or he could rather be saying that if there is knowledge then some individuals must be able to intuit the mind-independent real. In either case, Platonic realism, for which Plato does not argue, is difficult to defend. A claim for cognitive intuition of the real could only be supported by comparing perceptual objects and the mind-independent real.

Descartes, ideas and metaphysical realism

Parmenides suggests and Plato proposes a claim for cognition of the mind-independent world, a claim for which Descartes provides the first and still single most important modern argument. Plato rejects the backward inference from effect to cause, which Descartes revives against Plato in justifying the cognitive relation between ideas in the mind and the mind-external world. This places the bar very high, since the Cartesian view of knowledge apparently depends on overturning Plato’s rejection of a backward inference.

The Cartesian approach takes shape as a very sophisticated theory of cognitive representation. In the sixteenth and seventeenth century, the Platonic term “idea,” whose root is “to see,” took on a different meaning, closer to present day vernacular, of an image or a representation in the mind. It is often said that a representative theory of perception is widely held by all the thinkers of this period. This situation lasted up to the time of Kant, who



uses the term “idea” as that for which no corresponding object can be given in perception. The same term “representation” means different things to different observers. To Descartes it refers to a grasp of what is as it is, but for Kant, since things in themselves do not appear and cannot be known, it refers merely to what appears without any claim for its relation to mind-independent reality.

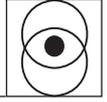
In the modern period, important views of ideas as representative of the mind-independent world are formulated by rationalists like Descartes, empiricists like Locke, and natural scientists like Galileo. Descartes proposes the canonical seventeenth century view of ideas as images of things. Galileo’s natural scientific distinction between primary and secondary ideas is restated and sharpened by Locke, who holds that all knowledge is derived from experience. Locke, who defines an idea “as the *object* of the understanding when a man thinks” [Locke, 1959, 2 vols.: 1, 32] further distinguishes complex ideas, which are composed of simple ideas, and simple ideas which, since they match up one to one with experience, are necessarily true, hence cannot be wrong [Locke, 1959, *ibid.*: 512].

The Lockean view is supported in general but not argued case by case through a model of the mind as a mirror of nature [Locke, 1959, *ibid.*: 143]. Descartes provides a more developed but still inadequate argument for the cognitive relation between ideas in the mind and objects in the mind-independent external world in his view of ideas as images of things. Arguably the single most important modern effort to justify metaphysical realism, is based the presupposed relation between a mind-external cause, whether experience or God, and the effect, or idea in the mind. If this argument fails, then, as Kant later recognized, any inference from ideas in the mind to the mind-independent real world fails.

We recall that Plato relies on the forward inference from ideas to things or appearances, for instance when a carpenter relies on an idea of the chair to make a chair, but denies the backward inference from appearances to ideas, from effects to their causes. In order to make out his argument, Descartes and by extension anyone committed to the causal form of the view that we can and do know the mind-independent external world needs to justify the backward anti-Platonic inference from effect to cause.

The Cartesian theory of ideas is distantly influenced by and responds to the Platonic view that some individuals directly cognize reality through a causal analysis. Plato invokes personal privilege in his view of cognition. If there is knowledge, Platonic forms can in principle be known as its necessary condition of knowledge by some selected individuals. Descartes, who turns away from personal privilege, argues for the same goal through the supposed causal link, in fact the reverse anti-Platonic inference between ideas in the mind and the mind-independent external world.

It is not easy to rehabilitate the backward Platonic inference. A successful argument needs at a minimum to be show four points: first, there is a mind-independent external object or objects; second, we have ideas in the mind that re-



fer to the mind-independent external objects; third, the ideas in the mind are effects caused by the mind-independent objects; and fourth at least some of the ideas in the mind correctly depict the mind-independent world.

The complex Cartesian view of ideas is apparently still not well understood. According to Descartes, on causal grounds ideas in the mind present or represent the world outside us. For a long time the Cartesian view was thought of as representational. This interpretation has come under attack in recent years. Current scholarship credits Descartes with two conflicting views: representationalism, or the thesis that the only things we immediately perceive are mind-dependent things (i.e. ideas or representations), and direct realism, or the thesis that at least some of the things we immediately perceive are mind-independent things. There is good textual evidence for both views. Scholars, who think these views conflict, propose different resolutions. For instance, Clemenson, who suggests the so-called dual presence thesis, believes (1) there is *numerical identity* between *x qua* representation and *x qua* represented, and yet (2) there is a *real distinction* between *x qua* representation and *x qua* represented [Clemenson, 2007].

For present purposes we can disregard the direct realist reading of Descartes' position. If it were correct, then he would be an empiricist and his position would be subject to criticism of empiricism. The more interesting and certainly more influential view is the anti-Platonic reverse inference from ideas in the mind to the mind-independent world. It is sufficient to note that the claim to grasp the world as it is through ideas in the mind is a function of the view that ideas are either innate, for instance caused by God, or adventitious, or caused by the world. According to the latter view, ideas in the mind are caused by, hence a reliable cognitive clue to, the outside world. If one could show that through ideas as effects we can infer to the mind-independent world as it is, we could redeem the promissory note for an anti-Platonic causal theory of knowledge of reality.

The issue is joined in the Third Meditation, where in a handful of pages Descartes invents the most developed modern approach to metaphysical realism. According to Descartes, an idea is an image of a thing. "Of my thoughts some are, so to speak, images of the things, and to these alone is the title 'idea' properly applied" [Descartes, 1970, 2 vols.: vol. 1, 159].

Descartes' inference from ideas in the mind to the mind-independent external world is confused and confusing. He notes that he habitually takes clear and distinct ideas to be true but acknowledges that he does not perceive external objects, whose existence he infers. The difficulty lies in justifying this inference. The suggestion that God would not deceive me no longer seems interesting in our secular age. His further suggestion that an idea in itself cannot be false does not support the view that it is true. He claims that at least some mental ideas do not depend on him, for instance the idea of the sun derived from experience as distinguished from the same idea derived from reasoning. He takes this to mean that at least some of the time he is instructed by nature through a so-called "spontaneous inclination" derived



from experience and not by the natural light or theoretical reasoning. This leads him to the view that he does not know but relies on mere blind impulse for the inference to mind-external things.

His most significant effort is the suggestion, in itself an instance of theoretical reasoning, about the conditions for the view that mental ideas demonstrate the existence of external objects. In distinguishing between substance and accident, Descartes suggests that ideas representing the former have more objective reality, hence are accordingly more trustworthy, than those representing the latter. He further suggests, since nothing comes from nothing, that there must be at least as much reality in the cause as the effect. Yet this is fallacious since there is no proportional relation between effects and causes. For instance, a huge explosion can result from lighting a match. Descartes, who applies this cognitive view to all ideas in the mind, suggests they are in all cases the effect of a cause outside the subject. This supposes, but does not demonstrate, that we can only justify ideas through an external cause.

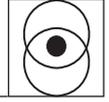
This argument is doubly problematic. On the one hand, there seems to be no reason to justify the origin of ideas, hence to infer from ideas in the mind to something outside it. This is necessary if and only if the mind is incapable of originating ideas, and this has not been shown. On the other hand, if the causal sequence required an initial cause, for instance a first cause of reality, this would also not justify the view that an idea in the mind is in any way like the mind-external cause.

Some recent forms of metaphysical realism

Philosophers, who talk about experience, often have difficulty in learning from it. Kant, who acknowledges the inability to demonstrate a grasp of the mind-external world in his Copernican turn, is an exception.

The Cartesian position is one of the earliest and most interesting, though finally unsuccessful efforts to formulate a theory of cognition based on the cognitive grasp of mind-independent reality. In Descartes' wake, metaphysical realism remains popular in the recent debate, where it is routinely asserted, though less often argued, for instance in Marxism, so-called continental philosophy and analytic philosophy. Pragmatism is perhaps the only important current tendency that does not invoke metaphysical realism.

The view that we can and in fact do cognize the mind-independent world as it is remains extremely popular. Heidegger, for instance, claims without argument that art grasps the world. In building on Heidegger, Gadamer asserts that at the end of the day the inference that we grasp the world cannot be denied. Plato attributes an early version of the reflection theory of knowledge to Socrates. In different ways, this view, which echoes through the debate, is often invoked to support the claim to grasp the mind-independent world as it is. According to Marxism since Engels, cognition is based on the reflection theory of knowledge. In his early Tractari-



an writings, Wittgenstein claims through his so-called Picture Theory of Language that the world consists of a totality of interconnected atomic facts that propositions picture. Davidson and Brandom restate the early Wittgenstein's view that language hooks up with the world. Davidson rejects conceptual schemes in order to "re-establish unmediated touch with the familiar objects whose antics make our sentences and opinions true or false" [Davidson, 1991: 198]. Brandom similarly believes we can correctly infer about, say, electrons or aromatic compounds, hence know "how things are with electrons and aromatic compounds, not just on what judgments and inferences we endorse" [Brandom, 2001: 27].

These and other views share the ancient metaphysical realist view that there is a mind-independent external world and that at least some of the time we know it as it is. Yet to the best of my knowledge, which was not demonstrated before Descartes, has also never been demonstrated after him.

Hobbes, Vico and the emergence of constructivism

No basically new argument for metaphysical realism has emerged in the debate since Descartes [Thomas-Fogiel, 2015]. If we reject epistemic skepticism, then the Parmenidean cognitive criterion of identity suggests two main approaches to cognition: metaphysical realism and epistemic constructivism. Epistemic constructivism is a modern, second-best approach to cognition, which appears promising in place of metaphysical realism and to avoid epistemic skepticism.

Epistemic constructivism begins in ancient mathematics before coming into modern philosophy. Euclidean geometry asserts that the construction of a plane geometrical figure with a straight edge and ruler counts as a proof of the existence of the class. Under the influence of ancient mathematics, epistemically constructivist approaches to cognition arise in modern times, often as reactions to Cartesianism, in the writings of Hobbes, Vico, Kant and later figures.

Hobbes suggests that, in rejecting the Cartesian approach, we can cognize the mind-independent world through knowledge of its causes. Hobbes, who understands construction in a causal sense, identifies mathematical construction and demonstration. He adopts geometrical constructivism to epistemology in claiming that we know what we can either construct or directly deduce from constructions (see Hobbes, 1953: 272–273). In *De Corpore* (1655), in rejecting the Cartesian view that cognition is knowledge of what is, he contends it is rather based on causality [Hobbes, n. d., *De Corpore*].²

² In the Introduction to Part I, "Computation or Logic," he writes: "PHILOSOPHY is such knowledge of effects or appearances, as we acquire from true ratiocination from the knowledge we have of their first causes or generation; And again, of such causes or generations as may be from knowing first their effects."



Vico follows Hobbes in arguing against the Cartesian claim to know the mind-independent world and in favor of the anti-Cartesian thesis that we only know what we in some sense make or construct [Vico, 2010: 27].³ According to Vico, who bases his view of cognition on construction, the only refutation of skepticism about things lies in having made them [Vico, 1970: 39]. He explicitly claims that “verum (the true) and factum (the Made) are interchangeable” [Vico, 1970: 17]. He thinks, for instance, that since only God made nature, only God can know it. He further thinks that since human beings made history, they can know it. Vico anticipates Marx in basing his approach to knowledge on the principle that “the world of civil society has certainly been made by men, and that its principles are therefore to be found within the modifications of our own human mind.” [Vico, 1970: 52–53]. He goes on to claim that there are universal principles to the science of society, which apply to all social institutions.

Vico, who was not known to the main German idealists, did not influence this tendency. He was, however, known to Marx, who identified with Vico’s historical approach to cognition in adopting the view that human beings make and hence know human history. The Hungarian Marxist, Lukacs, sees Vico’s constructivist concern as central to the modern tradition. He suggests, in following Vico, that the central problem of modern philosophy lies in the idea that we know only what we create [Lukacs, 1971: 112].

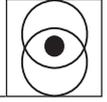
Kant, German idealism and epistemic constructivism

I have argued elsewhere that, beginning in Kant, epistemic constructivism is the central theme in German idealism. I will not repeat that argument here. Kant introduces epistemic constructivism into German idealism, which can be read as a series of thinkers who, with the exception of Schelling, restate different versions of the Kantian approach, above all Fichte and Hegel. Since this is not an effort to describe the history of modern epistemic constructivism, even in outline, in what follows I will concentrate on selected German idealist versions of this approach.

Different versions of the basic insight that we only know what we construct, already sounded in the modern debate by Hobbes and Vico, recur in German idealism. Kant, Fichte and Hegel each turn away from metaphysical realism as the cognitive criterion in turning to epistemic constructivism.

There is no agreement about either “German idealism” or even “idealism.” Depending on the view of “idealism,” German idealism begins in Kant, before Kant, say in Leibniz, or after Kant, say in Reinhold, and conti-

³ In [Vico, 2010: 27] he states: “The criterion and rule of the true is to have made it. Accordingly, our clear and distinct idea of the mind cannot be a criterion of the mind itself, still less of other truths. For while the mind perceives itself, it it does not make itself, it does not make itself.”



nues even in Nietzsche. Leibniz, who is apparently the first to use the term “idealism” in a philosophical context, thinks that idealism and materialism are compatible. He uses “idealism” to refer to Plato and “materialism” to refer to Epicurus [Gerhardt, 1875–1890: vol. 4, 559–560]. Later observers, including Fichte,⁴ often insist on the incompatibility between idealism and materialism. This view is central to Marxism but arguably less important or even unimportant for Marx.

Kantian constructivism is identified with the so-called Copernican revolution, a term he never uses to refer to his own position. The Copernican revolution is routinely mentioned in the Kantian debate but only rarely discussed in detail. Few observers think it is important. Blumenberg, the author of most extensive account, denies that Kant is influenced by or even familiar with Copernicus.

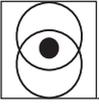
In simple terms, Kant’s epistemic revolution consists in two related points. First, there has never been any progress in cognition in taking the subject as dependent on an object. This point refers to metaphysical realism in which the problem of knowledge consists in knowing the mind-independent external world. Kant can be read as denying on a posteriori grounds any claim for metaphysical realism as the motivation for his turn to a priori epistemic constructivism. The second point consists in drawing the lesson of the failure to make progress on the contrary assumption. Though Kant’s theory is supposedly a priori, in the critical philosophy the a priori depends on the a posteriori, or the results of experience, more precisely on prior unsuccessful efforts to place all cognition on the secure road of a science.

Kant, who thinks it is apparently not possible to grasp the world as it is, proposes to invert the relation of subject and object in adopting a form of epistemic constructivism. This suggestion seems to be obscurely linked in Kant’s mind to mathematics. Everything happens as if the so-called Copernican revolution were a mathematical proof in which there were only two possibilities, and one could be eliminated. Yet the analogy is faulty since Kant does not in fact show but merely asserts that there are two and only two possibilities and one is false.

Kant’s Copernican turn depends on a complex interaction between three components: noumena or things in themselves, two synonymous terms to refer to the mind-independent external world; sensation, which has no form, hence cannot be cognized; and understanding, whose categories, which have no content, work up the uncategorized sensory content into cognizable objects. Since the objects of experience and knowledge have form given to them by the human mind, we can and do know them.

Kant’s vocabulary, writing style and position are difficult. His use of the terms appearance, representation, and phenomena in similar, perhaps

⁴ See “First Introduction to the Science of Knowledge,” in J. G. Fichte, *The Science of Knowledge*, edited and translated by Peter Heath and John Lachs, Cambridge: Cambridge University Press, 1982, pp. 3–28.



interchangeable ways suggests that the mind-independent world impacts on us in the form of sensations caused by a world we do not and cannot know, and which in affecting us provides inferred, but uncognizable content to which we give form in bringing sensation under the categories.

Like Plato, Kant denies we can make the backward cognitive inference from effects to their causes. Unlike Plato, he further denies intellectual intuition. In short and according to Kant we know appearances that we construct but do not and cannot know the mind-independent world that is their cause. Hence we can read Kant as denying metaphysical realism in embracing epistemic constructivism.

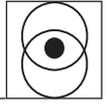
There is no consensus about Kant's position, which is interpreted in numerous, sometimes incompatible, ways. Kant is further inconsistent, in part since he apparently has difficulty in making up his mind. Though epistemic constructivism and metaphysical realism are incompatible doctrines, Kant apparently supports them both simultaneously. If Kant denies metaphysical realism in favor of epistemic constructivism, then he denies that we can cognize the mind-independent world as it is in limiting cognition to what we construct. There is textual evidence for this interpretation, which further corresponds to the contemporary German idealist reaction to the critical philosophy. Allison, on the contrary, influentially attributes a radically different position to Kant. According to his interpretation, for which there is also textual evidence, what appears is the "visible" aspect of what is in independence of us. In short according to this interpretation Kant is not an epistemic constructivist but rather a metaphysical realist after all. This approach has the advantage of giving Kant support to the modern concern to defend metaphysical realism, but at the cost of undermining Kant's epistemic constructivism, arguably the most interesting and original aspect of his position.

Fichte, Hegel and post-Kantian epistemic constructivism

Post-Kantian German idealists treat the critical philosophy as an initial, but faulty interpretation of the Kantian Copernican revolution, which they seek to carry beyond Kant and to complete. Fichte, Hegel and others revise Kant's influential Copernican turn.

Subjectivity becomes central to cognition in modern times. Montaigne and then Descartes stress that the road to objective cognition necessarily runs through subjectivity. The modern Cartesian emphasis on subjectivity is amplified in epistemic constructivism. Epistemic constructivism of all kinds depends on the subject, more precisely on subjective construction of the cognitive object.

Kant claims to deduce the cognitive subject, which is not a human being, but rather an epistemological function, as the copingstone of his



transcendental deduction. The Kantian subject is a transcendental condition of experience and knowledge. This strategy leads to a basic tension between two Kantian concerns: on the one hand, the Copernican turn is motivated by the inability to account for knowledge if the subject depends on the object, and on the other hand Kant's interest, following Descartes, in epistemic apodicticity leads him down the a priori road. In short, there is a contradiction between a simultaneous commitment to epistemic constructivism, which is necessarily a posteriori, and apodicticity, which is necessarily a priori.

Kant's solution consists in calling attention to the relation between philosophy and mathematics. According to Kant, mathematics constructs concept, but philosophy analyzes them [Kant, 1998, B 630, 741].⁵ Kant's constructivist approach to mathematics is controversial. Frege, for instance, suggests that arithmetic is not synthetic but rather analytic. In contemporary philosophy of mathematics, "constructivism" has different meanings, including the view that it is necessary to find (or «construct») a mathematical object to prove that it exists. Suffice it to say here that the Kantian approach to philosophy explains the general conditions of possible experience but not the construction of any individual cognitive object.

Kant, who was one of the first to teach anthropology, drew the line at incorporating this science into his theory of cognition. Fichte, who depicts himself as a seamless Kantian, hence as a mere exegete, presents a deeply original, often non-Kantian, even anti-Kantian position that turns on revising the Kantian view of subjectivity.

Though Fichte, like Kant claims, like to be a transcendental philosopher, Fichte, unlike Kant, does not begin from an abstract transcendental subject. He rather begins from a concrete finite human subject situated within, hence limited by, the surrounding social and natural world. Though Fichte obviously falls into what Husserl later calls psychologism, he is comparatively closer to the spirit of Kant's epistemic constructivism than Kant. Fichte calls attention to the difference between the Copernican turn and Kant's critical philosophy. Kant interprets the Copernican turn as a priori, which Fichte reinterprets as a posteriori. Fichte's a posteriori constructionism is closer to the spirit of Kantian epistemic constructivism than the critical philosophy is. Fichte, who reformulates the Kantian theoretical approach to cognition as an account of cognitive practice, understands the problem of knowledge in a basically non-Kantian way. He turns away from an account of the general conditions of knowledge whatsoever, and toward an account of the contents of consciousness that, since they are accompanied by a so-called feeling of necessity, do not depend on the subject.

Hegel, who further revises Kant's Copernican turn, develops Fichte's anthropological transformation of the critical philosophy. In the Introducti-

⁵ See Kant (1998), B 741, p. 630, where he writes: "Philosophical cognition is rational cognition from concepts, mathematical cognition that from the construction of concepts. But to construct a concept means to exhibit a priori the intuition corresponding to it."



on to *the Phenomenology*, he describes cognition as an experimental process in which theories are formulated, tried out, and if necessary reformulated to understand the contents of consciousness, or conscious experience. A theory formulated on the basis of experience is tested in confronting it to further experience.

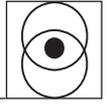
There are in general only two possibilities at any step in the cognitive process. One outcome is that the theory (more precisely the theory of practice understood as the contents of consciousness) agrees with conscious experience. In this case, subject and object, knower and known, subjectivity and objectivity correspond. Since the cognitive initiative is provisionally successful, the theory can be provisionally adopted until it is later disconfirmed through further experience. A contemporary example might be the recent discovery of the Higg's boson that is widely regarded as lending support to the so-called standard theory of matter. The other possible outcome is that the theory fails the test of experience, hence is disconfirmed, and must be reformulated. Thus if further research about the Higg's boson indicated it did not exist, this would be a reason to revise or even reject the standard theory of matter.

The post-Kantian shift from an a priori to an a posteriori approach to cognition begins in Fichte and is deepened in Hegel. An a priori approach to cognition suggests a cognitive claim is unrevisable in contradicting the meaning of "theory." An a posteriori approach to knowledge is fully consistent with the idea that finite human beings construct what they know. Hegel further differs from Kant, Fichte and others in linking history and cognition. Like Vico Hegel thinks that cognition arises in a historical process that, unlike Vico, Hegel interprets as basically secular, hence without a religious dimension. Hegel views history as constructed and hence cognizable by human beings.

Kant's a priori view of construction of a transcendental subject is basically inconsistent with the idea of epistemic construction. Hegel for the first time understands the subject as finite human beings who construct the human world and themselves, including human knowledge, within a historical process as suggested in the very idea that we construct what we know. In rethinking cognition as a historical process of finite human beings Hegel takes a giant step in realizing the Kantian view, a main modern formulation of epistemic constructivism.

Cognitive identity and epistemic constructivism

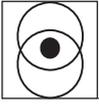
This paper argues that the ongoing struggle between metaphysical realism and epistemic constructivism originates as early as Parmenides' influential claim for the identity of thought and being. Metaphysical realism, which remains as popular now as a cognitive standard as it has ever been, has never been demonstrated. This point is captured in Kant's observation



that no progress has ever been made on the assumption that the subject depends on the object. The emergence of epistemic constructivism in modern times develops an alternative suggested long ago by Parmenides. In drawing attention to the incompatibility between the Kantian formulation of epistemic constructivism and the critical philosophy, later restatements of this influential approach by Fichte and Hegel contribute to realizing epistemic constructivism. German idealism, which has receded into history, is often, indeed routinely, condemned by its many critics, who rarely inform themselves about it. Yet it remains interesting from the epistemic perspective. After more than two and a half millennia of debate, early in the nineteenth century German idealism finally provides a plausible account of the Parmenidean insight that thought and being are identical. Though still little known and accordingly misunderstood, idealist constructivism is arguably more promising than epistemic skepticism, more promising than metaphysical realism, and arguably the most promising contemporary approach to cognition.

References

- Brandom, 2001 — Brandom R. *Articulating Reasons: An Introduction to Inferentialism*. Cambridge: Harvard University Press, 2001. 230 p.
- Brunyeat, 2012 — Brunyeat M. F. *Explorations in Ancient and Modern Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 408 p.
- Clemenson, 2007 — Clemenson D. *Descartes' Theory of Ideas*. New York: Continuum, 2007. 173 p.
- Davidson, 1991 — Davidson D. *Truth and Interpretation*. New York: Oxford University Press, 1991.
- Descartes, 1970 — Descartes R. Third Meditation. In: *The Philosophical Works of Descartes*, translated by Elizabeth Haldane and G.R.T. Ross, New York: Cambridge University Press, 1970, 2 vols., I, p. 159.
- Fichte, 1982 — Fichte J.G. First Introduction to the Science of Knowledge. In: J.G. Fichte. *The Science of Knowledge*, ed. and transl. by P. Heath and J. Lachs. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 324 p.
- Hegel, 1977 — Hegel G.W.F. *Phenomenology of Spirit*, trans. A.V. Miller. New York: Oxford University Press, 1977. 658 p.
- Hobbes, 1953 — Hobbes Six Lessons to the Professors of the Mathematics. In: *The English Works of Thomas Hobbes*, edited by Sir William Molesworth, Long: Jules Bohn, 1839–1845, cited in: Arthur Child, *Making and Knowing in Hobbes, Vico and Dewey*. Berkeley: University of California Press, 1953.
- Kant, 1998 — Kant I. *Critique of Pure Reason*, trans. by Paul Guyer and A. W. Wood, New York: Cambridge University Press, 1998. 796 p.
- Leibniz, 1875–1890 — Leibniz G.W. *Philosophische Schriften [Philosophical Papers]*, ed. by C. I. Gerhardt. Berlin: Weidmann, IV. 1875–1890, pp. 559–560.
- Locke, 1959 — Locke J. *An Essay Concerning Human Understanding*, edited by A.C. Fraser, New York, Dover, 1959, 2 vols., I, p. 32.
- Lukacs, 1971 — Lukacs G. *History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics*, transl. by R. Livingstone. Cambridge: MIT Press, 1971.
- Parmendes (n.d.) — Parmenides (n. d.), DK 28 B 3, Clem. Alex. Strom. 440, 12; Plot. Enn. 5, 1, 8.



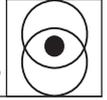
Plato, 1997 — *Plato: The Complete Works*, ed. John M. Cooper. Cambridge: Hackett, 1997. 1808 p.

Rescher, 1998 — Rescher N. *Communicative Pragmatism and Other Philosophical Essays on Language*. Lahnham: Rowman and Littlefield Publishers Inc. 1998. 215 p.

Thomas-Fogiel, 2015 — Thomas-Fogiel I. *Le Lieu de l'universel. Impasses du réalisme dans la philosophie contemporaine*. Paris: Le Seuil, 2015. 464 p.

Vico, 2010 – Vico G. *On the Most Ancient Wisdom of the Italians*, trans. by J. Taylor, with an introduction by Robert Miner. New Haven: Yale University Press, 2010.

Vico, 1970 — Vico G. *The New Science of Giambattista Vico*, trans. by T.G. Bergin and M.H. Fisch. Ithaca: Cornell University Press, 1970.



F FROM THE PARMENIDEAN IDENTITY TO BEYOND CLASSICAL IDEALISM AND EPISTEMIC CONSTRUCTIVISM

Dimitris Kilakos —
Department of
Philosophy and History
of Science, University of
Athens, Greece. E-mail:
dimkilakos@hotmail.com

Rockmore's paper offers a nice discussion on how classical German idealism provides a plausible account of the Parmenidean insight that thought and being are identical and suggests that idealist epistemic constructivism is arguably the most promising approach to cognition. In this short commentary, I will explore the implications of adopting other interpretations of Parmenidean identity thesis, which arguably lead to different conclusions than the ones drawn by Rockmore. En route to disavow the distinction between ontology and epistemology, I argue that one may adopt an approach on cognition which would be immunized to worries that prompt Rockmore's elaboration and also embrace (at least) some of its benefits.
Keywords: identity, Parmenid, epistemic constructivism, idealism, cognition.

O Т ПАРМЕНИДОВСКОГО ТОЖДЕСТВА — ЗА ПРЕДЕЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ИДЕАЛИЗМА И ЭПИСТЕМИЧЕСКОГО КОНСТРУКТИВИЗМА

Димитрис Килакос —
кафедра философии и
истории науки, Универ-
ситет Афин, Греция.
E-mail:
dimkilakos@hotmail.com

Том Рокмор представил блистательный анализ того, как немецкий идеализм использует идею Парменида о тождестве бытия и мышления. Рокмор полагает, что эпистемический конструктивизм, которого придерживались идеалисты, является перспективным подходом к познанию. В своем кратком комментарии я постараюсь рассмотреть следствия из других интерпретаций парменидовской идеи тождества, которые, вероятно, могут приводить к другим выводам. Я полагаю, что дезавуируя различие между онтологией и эпистемологией, можно преобразовать подход к проблеме познания так, чтобы в нем не только компенсировались недостатки, но и обнаруживались преимущества концепции, предложенной Томом Рокмором.

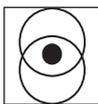
Ключевые слова: тождество, Парменид, эпистемический конструктивизм, идеализм, познание.



Introduction

One of the most epistemologically significant questions is if, starting from our ideas, we can attain knowledge of reality. Realistic doctrines affirm that a positive answer should be given to this question, whereas idealists affirm that it is impossible to transcend the realm of our ideas to find out what reality is really like.

The realistic attitude is grounded on the view (or, if one prefers, the presupposition) that 'reality' exists independently of our knowledge. In particular, the two main tenets of metaphysical realism — as Rockmore characterizes it — are an ontological one, according to which reality exists in itself and is independent of our



knowledge of it and an epistemological one, according to which we are able to know what reality is like.

On the contrary, the idealistic attitude implies an ontological dependence of things on our ideas. Berkeley's subjective idealism was grounded on this conception. The transcendental idealism of Fichte (as a version of subjective idealism), Schelling and Hegel (as versions of objective idealism) was grounded on the ontological identity of reality and thought; in this sense, reality is, according to them, reduced to thought. However, in Schelling and Hegel, this identity is about the way in which given worldly things are being present in our cognitive capacities, whereas they are not produced by them. Therefore, it could be argued that identity presupposes an ontological distinction between the content of our ideas and the worldly objects which are represented in them.

Rockmore's paper offers a wonderful and thought-provoking discussion on how classical German idealism provides a plausible account of the Parmenidean insight that thought and being are identical and suggests that idealist epistemic constructivism is arguably the most promising approach to cognition. He further contrasts epistemic constructivism to metaphysical realism, the main argument against which is that its main tenet that there is a mind-independent external world has never been demonstrated. However, one could counterargue that the same holds for epistemic constructivism.

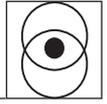
In this short commentary, I will explore the implications of adopting several interpretations of Parmenidean identity thesis, which arguably lead to different than the ones drawn by Rockmore conclusions. Moreover, I circumscribe an approach to cognition based on the knowability of the mind-independent external world, which would arguably be immunized to worries that touch off Rockmore's argumentation. Such an approach could incorporate at least some of the advantages of epistemic constructivism, for which Rockmore argues.

In order to do this, I attempt a different than Rockmore's reconstruction of several episodes of the history of philosophy, aiming to highlight some interesting interrelations.

Parmenidean identity thesis: Alternative interpretations

It is interesting for my purposes to shortly discuss some interpretations of Parmenidean identity thesis which differ from the one adopted by Rockmore.

In its most radical interpretation, it follows from identity of being and thinking that nothing additional can exist. In this line of reasoning, Parmenidean identity thesis is a claim that being is reduced to thought; in other words, that nothing exists except thought.



However, other interpretations radically differ from the aforementioned one. For example, Burnyeat attributes to Parmenides the view that thought refers to being: “*it is one and the same thing which is there for us to think of and is there to be: thought requires an object, distinct from itself, and that object, Parmenides argues, must actually exist*” [Burnyeat, 2012: 255]. Such an interpretation, as Rockmore discusses, suggests that cognition requires, an ontological distinction between the cognitive subject and object as well as a cognitive identity between the subject that knows and the object that is known.

Moreover, Burnet claims that “*Parmenides is not, as some have said, the ‘father of idealism’; on the contrary, all materialism depends on his view of reality*” [Burnet, 1930: 182]. It turns that Parmenides’ monism and his identity thesis should be jointly discussed in any venture to trace Parmenides’ impact on the history of philosophical controversies about the nature and the scope of human cognition. As Kahn states “*Parmenides’ monism ... had an important development in ancient and medieval philosophy and signifi?cant parallels in modern monism since Spinoza and Hegel. The identity?cation of Mind and Being; that is, of cognition with its object*” [Kahn, 2009: 163].

In another interpretation, Parmenidean identity thesis is not primarily as a thesis concerning being, but as one concerning knowing. In this sense, it states that when knowing occurs, being and thinking become one and, then, experience is as much objective as subjective. In Kahn’s words “[t]he ‘is’ which Parmenides proclaims is not primarily existential but veridical: it asserts not only the reality but the determinate being- so of the knowable object, as the ontological ‘content’ or correlate of true statement” [Kahn, 2009: 155]. In this sense, it is the thinking that is reduced to being and not vice versa: “*the mind does not impose its forms but receives them from the object it knows*” (Kahn, 2009: 166). Such an understanding would be equally at home in both Plato and Hegel.

It seems, then, that Parmenidean identity thesis could be read as if it points to both an objectivist and a subjectivist stance and it is an open question which one of them is to be adopted. In Hegel’s understanding of Parmenides’ identity thesis, since there is nothing other than Being, *thinking is identical with its Being, for there is nothing other than Being*” [Hegel, 1970: 289–90]. Thus, Parmenides’ indeterminate being serves as Hegel’s starting point for systematic thinking in general. In Hegel’s line of reasoning, thinking starts necessarily from being (as Parmenides argues), and therefore the “*indeterminate Being*” cannot be determined by and for thinking. On the contrary, Fichte argues that “*self-consciousness is the identity of thinking and being*” [Fichte, 1992: 382 n.] and Heidegger affirms that “*because thinking remains a subjective activity, and thinking and Being are supposed to be the same according to Parmenides, everything becomes subjective. There are no beings in themselves. But such a doctrine, so the story goes, can be found in Kant and German Idealism. Parmenides already basically anticipated their doctrines*” [Heidegger, 2000: 14].



Representationalist accounts of knowledge

I contend that the issue under discussion is closely linked to a certain understanding of the representational content of our cognitive claims, according to which cognitive claims confer knowledge because and as long as they constitute accurate representations of the external world. The view that cognitive claims successfully capture features of the world is affiliated with any variety of realism and Rockmore offers a nice and historically informed discussion of the issue.

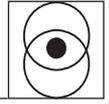
The roots of representationalist accounts on knowledge may be traced back to Locke. According to these accounts, we cannot have direct acquaintance with objects of knowledge; they can be approached only via ideas, which represent them. In other words, what we immediately know is our representations or ideas, not reality itself. Hence, proponents of such accounts conceive knowledge as congregation of representations which are arguably accurate reproductions of external reality and this is why they can stand truthfully for them. In other words, the external world is not directly presented to the consciousness. The content of our thoughts and knowledge consists of a collection of internal representations of some kind. Thus knowledge is identified with internal representation.

The main difficulty for such views is that they cannot provide justification of the ideas that we are supposed to formulate via representation by any other means than our ideas themselves, since our consciousness is supposed not to have direct access to the things (broadly construed) which are represented by our ideas. In other words, they have to give an account on the relationship between internal and external representations. For that purpose, one would need to know what internal representations are like and how they are connected to external representations of the world or the world itself.

This problem has survived for a long time since then, as a feature of the doctrines deployed by several philosophers throughout history. Among them, Kant is a commanding figure. On this road, epistemology was given birth. Man's limited capacity to know how things are turned into a condition of empirical knowledge; one has to explain how things can be given to representation. In the Kantian line of philosophical doctrines, knowledge is understood in terms of the relation between the objective knowledge *substrata*, offered by the world, and the cognitive skills of the subject.

Kant transformed the unresolved scientific problem of the relation of sensations to their objects into a question about the possibility of knowledge. This question was to be resolved in the sphere of representation. It should be noted that Kant maintains, with regard to the ontological aspect of the issue, that inner thoughts prove the existence of the external world.

Rorty notes that "*the Kantian picture of concepts and intuitions getting together to produce knowledge is needed to give sense to the idea of 'theory*



of knowledge' as a special philosophical discipline" [Rorty, 1979: 168]. Rorty himself started his anti-representationalist and anti-epistemological campaign from this point. He urges us to stop thinking of knowledge in terms of representing accurately that what is outside the mind. He maintains that grasping the world in itself amounts to platonism (a form of meta-physical realism, according to Rockmore). On the contrary, Rorty suggests that it could only be grasped philosophically, within time and history.

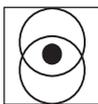
Hacking, among others, contests the role of representations as truth-hunters and pleas for a non-representationalist view of science, putting emphasis on experimentation and material agency. In fact, Hacking contests the very notion of reality as it is commonly understood and favors a view of it as a fictitious construction, by arguing that it is second-order concept that follows from our practice of representation: "*The world has an excellent place, even if not the first one...It was found by conceptualizing the real as an attribute of representations*" [Hacking, 1983: 136]. This attitude is pretty close to the one defended by Rockmore.

In this line of reasoning, epistemological problems arise due to the assumption that, in order to give us knowledge of the world, our representations have to be more or less accurate or truthful reflections of it. It could be argued that a way-out of this problem is to state that representations are not meant to represent the world as it is. In this line of reasoning, our representational vehicles create effects that our cognition is unlikely to essentially capture from reality, since there is nothing to capture, once objectivity and, arguably, mind-independency of the objects of knowledge are undermined. Therefore, in line with these views, objects of cognition could be conceived of as constructions whose existence is relative. Such a view could be regarded as a radical version of Rockmore's epistemic constructivism.

Representationalism, epistemic constructivism and pragmatism

In contradistinction with representationalist accounts, it has been argued that trust in cognitive claims is an empirical and/or contextual issue. Under this prism, one could see Rockmore's epistemic constructivism and also pragmatic approaches. In both epistemic constructivism and pragmatism, non-epistemic values are taken into account as contributors to cognitive success and, thus, the realistic attitude according to which our cognitive claims are rendered true by the existence of facts with corresponding elements and similar structures is surmounted.

From this point of view, I would like to shortly comment on Rockmore's reference to Brandom as an example of a modern thinker who adopts the view that we can and in fact do cognize the mind independent world as it is, appealing to the affinity of his views to the early Wittgenstein's view that language hooks up with the world. However, I maintain that this is only the one side of the coin.



Brandom is mostly influenced by Rorty's pragmatism, while being critical to classical pragmatists. His pragmatic concerns are deployed in his version of inferential semantics, by which he contests the representationalist idea that the function of thought and language is to provide a transcript of reality. In this context, words like 'true' and utterances like 'refers to' are not transcriptions of any indigenous in the domain of reality content. Following Rorty, Brandom rejects that one could provide accurate representations of the surroundings of the inquiry. It is not of any significance or interest whether one or the other way of talking is an accurate description of the surroundings. Ways of talking should and could not be evaluated in terms of accuracy; the virtues of the practices that are involved in their usage suffice for their evaluation.

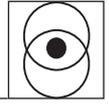
Brandom argues that the essence of pragmatism is the denial that semantics is conceptually autonomous from pragmatics. He claims that "*it is pointless to attribute semantic structure or content that does no pragmatic explanatory work*" [Brandom, 1994: 144]. Along these lines, one could also discuss Dummett's denial that one can grasp content which goes beyond anything that could be verified or Quine's denial that there is any objective grounds for choosing between competing translation manuals that make the same predictions upon patterns of use. From this perspective, Brandom's line of reasoning could also be seen as being as close to epistemic constructivism.

Reconstructing representation

I argue that one can embrace the motivation behind epistemic constructivism (and pragmatism), without adopting either of them as a stance, on the grounds of a reconstruction of our conception of representation in a way which pays due attention to the aforementioned criticisms.

In the epistemological context I endorse, human social practice is the departing point of our cognitive activities: knowledge is not *causa sui*, its content is objective and our representations of reality can grasp its features because they are reconstructions of the systems we gain cognitive access to by the means of the artifacts employed in our theoretical inquiries. The process of cognition is active interference in objective reality by the means of our cognitive artifacts, sign-systems and conceptual frameworks. These representing artifacts function as surrogates in activity performed throughout our inquiries, by piloting our intervention with the objects of cognition which they are meant to represent.

In these lines, to know means to manipulate the object of knowledge, to transform it into a tool of action. An object becomes a specific object of cognition, acquires its specific meaning and unveils previously unrecognized aspects of its existence within its interaction with the cognizing subject, the human-agent [Azeri, 2013: 1122]. Therefore, cognition is always



about nature humanized by activity and its object exists objectively in the course of the process of its ideal reproduction in thought.

In order to shed more light on this view, let me shortly discuss Marx Wartofsky's views on the role of representation in cognition. Wartofsky was the only Marxist among the pioneers (i.e. Toulmin, Russell Hanson, Feyerabend, Kuhn) in the movement to integrate the history of science with the philosophy of science. As anyone would expect from a literate Marxist, Wartofsky puts emphasis on practice, rejects the traditional Kantian-rooted conception of representation, uses tool-metaphors as opposed to vision-metaphors, puts emphasis on the concrete use of models in scientific work and focuses on change rather than stability. An important feature of his views is that he had a considered balance between the conceptual changes in science and the demand for some sense of direction and improvement in the succession of scientific theories. I maintain that Wartofsky's contribution goes beyond these aspects and could be suggestive for our discussion.

In his *historical epistemology*, Wartofsky, considering knowledge as being itself the subject of historical evolution, maintains that the crucial factor of human cognitive practice is the ability to make representations. Human beings, when producing an artifact, are at the same producing a representation, since these artifacts do not only have a use, but also represent the mode of action in which they are used or the mode of their own production [Wartofsky, 1979: xiii].

Wartofsky underlines that this discussion about representation imputes an epistemology in which the knowing subject confronts a surrogate object of knowledge as a representation of the external world. Moreover, he persists that the emphasis should be shifted from what representation is to the activity of representing. He is clearly distant from views that consider representation to be a case of denotation. According to him, representation essentially involves reference and meaning, thus reference is a constitutive aspect of representation, while referring is also construed as an intentional activity [Wartofsky, 1979: xxi]. One should not defy that this entails that models are truth-hunters, since they purport reference and reference purports truth and falsity [Wartofsky, 1966/1979: 10].

Wartofsky insists on the realism of his thesis, since he maintains that, in our representations, the represented objects, events or processes, are represented *as* material objects, events or processes *of a material world* [Wartofsky, 1966/1979: 1] – my emphasis). The representations he is talking about are in fact derivatives, generated by our own activity of representing, in which we take the represented physical objects as representations. He further claims that our making of representations is the actual praxis of creating concrete, worldly objects, as representations [Wartofsky, 1979: xxii]. This is the point, where I think that an approach along these lines could arguably embrace some of the benefits of adopting epistemic constructivism, as they are presented by Rockmore.



Vico and Marx

In order to address the previous point in some detail, I would now turn to some of Vico's views¹, to whom Rockmore also appeals.

One of the most important and characteristic features of Vico's thinking is his discredit of the Cartesian-positivistic approach to knowledge. He elaborated and suggested a system of thought, based on the *verum-factum* principle, aiming to propose an alternative to Cartesianism. According to the *verum-factum* principle we (human beings) can only know what we ourselves have made or are in principle capable of making:

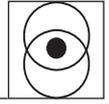
"But in the night of thick darkness enveloping the earliest antiquity, so remote from ourselves, there shines the eternal and never failing light of truth beyond all question: that the world of civil society has certainly been made by men and its principles are therefore to be found within the modifications of our human mind" [Vico, 2002: 96].

Vico maintains that the way into the world of nature lies through the human world. He accounts for the process through which man's entire world (including the several conceptions of reality) develops and is structured. Vico accounts for an understanding of mind in all its complexity and he grounds there a genetic understanding of the human world. He sees human labor as the foundation of the transformation of nature in such a way that it becomes the means by which man, learning the meaning of change and time, both creates and understands history. In this sense, Vico offers an integrating vision of man and culture. Vico's hermeneutics directs attention to the role of critical interpretation in understanding not only the humanities but also the natural sciences, which are both considered as constructions of the human mind.

Toulmin (one of the philosophers who shared with Wartofsky the aspiration to integrate the history of science with the philosophy of science), who is arguably strongly affected by Vichian ideas, states:

"The hermeneutic movement in philosophy and criticism has done us a service by directing attention to the role of critical interpretation in understanding the humanities. But it has done us a disservice also because it does not recognize any comparable role for the interpretation in the natural sciences and in this way sharply separates the two fields of scholarship and experience (...) The general categories of hermeneutics can be applied as well to the natural sciences as to the humanities (...) The natural sciences too are in the business of 'construing reality'" [Toulmin, 1982].

¹ For a further discussion of Vico's view, from the perspective that concerns me here, see Tagliacozzo (1983), which is my main reference in this section.



One could simply add a “-ct-“ so that the last sentence reads ‘*the natural sciences too are in the business of ‘construCTing reality’*, and thus it would embrace the core idea of epistemic constructivism, as it is discussed by Rockmore.

Comparing Marx and Vico brings forth several similarities in their line of reasoning. They both maintain that surface events and phenomena are to be explained by structures, data and phenomena below the surface. They also share the contention that the explicit and the obvious is to be explained by what is implicit and not obvious. Moreover, the view that understanding human action and ideas requires an analysis of their social context is shared by both of them. It is also so for the view that human knowledge of the world emerges out of an interaction of the social subject and the object etc. Both Vico and Marx reject traditional metaphysics. However, they do so in quite different ways. Vico rejects the metaphysical view that deduces reality from a first truth, according to the scheme of Cartesianism. On the other hand, Marx rejects Hegelian idealism, which dialectically deduces reality and historicity a priori [cf. Tagliacozzo, 1983].

Since Rockmore convincingly argues for the vicinity of Hegel’s and Vico’s lines of reasoning — at least with regard to the aspects of interest for our discussion — I propose that, in a quest of an alternative to epistemic constructivism, one could focus on these points that distinguish Marx’s thinking from Hegel’s.

Marx understands knowledge as the appropriation of objective reality, as its reproduction in thought in an ideal form. The real concrete is cognitively appropriated via the mediation of abstraction. Human beings construct their mental representations of reality on the basis of concrete social practice, which is ultimately grounded on objectively imposed social necessities. Since abstraction is employed, in the course of our cognitive inquiries we reconstruct reality in an ideal form, which in turn is realizable in actuality.

Ilyenkovian insights on identity

E.V. Ilyenkov encounters with the traditional epistemological question of the interrelations of thought and being in his *Dialectical Logic* [Ilyenkov, 1977], in which he runs the history of the conception of the ideal in philosophy and investigates how this question is posed and answered by the great philosophers of the past.

According to Ilyenkov, in any version of idealistic monism (i.e. in Schelling and Hegel), which, as it has been discussed, is arguably related to Parmenidean identity, Thus, the unfilled gap between thought and being outside thought was surmounted by the identity of thinking in itself. In fact, as Ilyenkov notes, Schelling and Hegel do not establish any identity of thought and being, because they do not take into account ‘being as such’ – free independent self-sufficient being existing outside and independently



of thought [Ilyenkov, 1977: 212]. According to Ilyenkov, from the materialist point of view, the principle of the identity of the laws and forms of thought and being states that “*logical forms and patterns are nothing else than realised universal forms and patterns of being, of the real world sensuously given to man*” [Ilyenkov, 1977: 222].

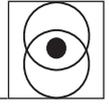
The conclusion that Ilyenkov draws is that the seeming gap between consciousness and the real world becomes bridged, because, actually, there was never any gap [Knuuttila, 2000: 197]. It is human social labour that makes such a bridge useless, since it is the source of objectification of the ideal. Therefore, not only is the ideal independent from the mental for its existence, but the mental itself is social in its origin. Consciousness is awakening, as the individual is confronted by the materially established spiritual culture of the humanity [Ilyenkov, 1977: 81].

According to Ilyenkov, the fundamental forms of thought are not given a priori but are realized historically as social consciousness and thought is not embodied in utterances of language, but in the results of human activity. Ilyenkov contends that thought is realized in culture and in the humanized environment, in what Marx called the “*inorganic body of man*”. Mindedness of individuals is not given, but emerges through the appropriation of those modes of thought that are embodied in the practice of the community constitutive of social consciousness and all modes of mindedness are penetrated by conceptuality. As also McDowell argues, there is no gap between mind and the world inherent in the very idea of thought, therefore thought can be at one with the world [McDowell, 1994: 27]. As Bakhurst analyzes, in Ilyenkov the objectification of human activity is considered to be the source of the nature and possibility of thought and thought is the means by which the world is, or at least can be, disclosed to us [Bakhurst, 2013: 280]. Ergo, thought is able to embrace reality as it is.

Envoi

While the Parmenidian identity can be built upon in order to offer epistemic constructivism as an approach to cognition which radically differs from and opposes to metaphysical realism, as Rockmore aptly discusses, alternative interpretations may offer alternative approaches to cognition. En route to disavow the distinction between ontology and epistemology, the discussion thus far points to that any ontological theory presupposes an epistemological theory. Thus, ontological and epistemological concerns merge in one and the same magnifying lens which is employed in our inquiries.

On these grounds, I have tried to argue that if one is inclined to assert both that the world is populated by cognizable objects of any kind and that our attempts to describe and explain the world are fallible, s/he is not obliged to adopt any variety of metaphysical realism – and the burden which arguably comes with it. In such a line of reasoning, knowledge of the seven-



ral worldly parts and processes is open to critique and susceptible of replacement of the employed set of categories and relationships between them². Such an understanding – which is only roughly formulated here – is arguably capitulating between the merits of metaphysical realism and epistemic constructivism, as Rockmore discusses them.

References

- Azeri, 2013 — Azeri S. Conceptual Cognitive Organs: Toward an Historical-Materialist Theory of Scientific Knowledge. *Philosophia*. 2013, no. 41, pp. 1095–1123.
- Bakhurst, 2013 — Bakhurst D. Il'enkov's Hegel. *Studies in Eastern European Thought*. 2013, no. 65, pp. 271–285.
- Brandom, 1994 — Brandom R. *Making It Explicit*. Cambridge: Harvard University Press, 1994. 741 p.
- Burnet, 1930 — Burnet J. *Early Greek Philosophy*. London: Adam and Charles Black, 1930.
- Burnyeat, 2012 — Burnyeat M.F. *Explorations in Ancient and Modern Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 382 p.
- Fichte, 1992 — Fichte J.G. *Foundations of Transcendental Philosophy (Wissenschaftslehre) Nova Methodo (1796/99)*. Cornell University Press, 1992. 494 p.
- Hegel, 1970 — Hegel G.W.F. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie I. In: G.W.F. Hegel, *Werke in zwanzig Bänden*, vol.18, ed. by E. Moldenhauer and K.M. Michel. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1970.
- Heidegger, 2000 — Heidegger M. *Introduction to Metaphysics*, translated by G. Field and R. Polt. New Haven and London: Yale University Press, 2000. 255 p.
- Ilyenkov, 1977 — Ilyenkov E.V. *Dialectical Logic, Essays on its History and Theory*. Moscow: Progress Publishers, 1977. 370 p.
- Kahn, 2009 — Kahn C. H. *Essays on Being*. Oxford: Oxford University Press. 2009. 236p.
- Knuutila, 2000 — Knuutila T. Semiosis and the Concept of the Ideal. In: V. Oitinen, (ed.). *Evald Ilyenkov's Philosophy Revisited*. Helsinki: Kikumora Publications, 2000, pp. 189–204.
- Lektorski, 2015 — Lektorski V. Constructivism vs Realism. *Epistemology and Philosophy of Science*, 2015, no.1, vol. 43, pp. 19–26.
- McDowell, 1994 — McDowell J. *Mind and World*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994. 224 p.
- Rorty, 1979 — Rorty R. *Philosophy and the Mirror of Nature*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979. 401 p.
- Tagliacozzo, 1983 — G. Tagliacozzo (ed.). *Vico and Marx, Affinities and Contrasts*. Humanities Press, 1983. 438 p.
- Toulmin, 1982 — Toulmin S. The Construal of Reality: Criticism in Modern and Postmodern Science. *Critical Inquiry*. 1982, vol. 9, no. 1, pp. 93–111.

² This may seem as a version of critical realism. However, in this paper, I do not mean to argue either for or against critical realism as a stance in general. It suffices for my current purposes to show that there are alternatives to Rockmore's idealistic constructivism that can be accounted for by starting from an elaboration on Parmenidean identity. Lektorski (2015) is another interesting attempt, from a different perspective, to reconcile constructivist and realist positions in epistemology by proposing the position of the constructive realism.



Vico, 2002 — Vico G.B. *The First New Science*, edited and translated by Leon Pompa. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 302 p.

Wartofsky, 1979 — Wartofsky M. Models: Representations and the Scientific Understanding. *Boston Studies in the Philosophy of Science*. Dordrecht, Boston, London: D. Reidel Publishing Company, 1979, vol. 48. 24 p.

Wartofsky, 1966/1979 — Wartofsky M. The Model Muddle: Proposals for an Immodest Realism. In: *Models: Representations and the Scientific Understanding*. *Boston Studies in the Philosophy of Science*. Dordrecht, Boston & London: D. Reidel Publishing Company, 1966/ 1979, vol. 48, pp. 1–11.



НЕКОМПОЗИЦИОНАЛЬНОСТЬ И ИНТЕНДИРОВАННЫЙ СМЫСЛ¹

Иван Борисович Микиртумов — доктор философских наук, профессор кафедры логики Института философии Санкт-Петербургского государственного университета.
E-mail: i.mikirtumov@spbu.ru

Представлен концептуальный аппарат распознавания и устранения некомпозиционности на основе реконструкции интендированного смысла. Основной вопрос: как агенты коммуникации распознают неадекватность синтезированных ими выражений языка тем ментальным репрезентациям, которые конституируют интендированный смысл, в частности, в случаях некомпозиционности? Для ответа на этот вопрос описывается путь реконструкции интендированного смысла. Он включает дифференциацию минимального и полного смыслов выражения и предполагает сопоставление контекстно-прагматических условий ситуации говорящего с такими же условиями ситуации адресата. Если обнаруживаются отличия, делающие невозможным достижение адекватного понимания, параметры ситуации говорящего вербализуются и становятся не умалчиваемыми, а явными условиями утверждаемого. В случае прагматически адаптируемой некомпозиционности полная вербализация контекстно-прагматических условий приводит к получению полного композиционного смысла, уже не зависящего от ситуации. Если же логическая некомпозиционность определяется контекстно-прагматическими условиями, то она в зависимости от цели коммуникации может быть как локализована, так и устранена.

Ключевые слова: композиционность, некомпозиционность, семантика, прагматика, цикличность, интендированный смысл.

NON-COMPOSITIONALITY AND INTENDED SENSE

Ivan Mikirtumov – PhD in philosophy, professor at the department of logic, Institute of philosophy, Saint Petersburg State University.

The article presents a concept apparatus of identifying and eliminating non-compositionality on the basis of intended sense reconstruction. First, two types of non-compositionality are delineated: pragmatically adoptable and logical. The non-compositionality of the first type has its source in underspecification of the meaning of an expression components, which is connected with non-expressible context-pragmatic conditions of the situation of an expression. The variants of such non-compositionality are various, nevertheless all of them can be adopted with logical and semantic means. Non-compositionality of the second type is linked to the cyclic references which occur during the realisation of the procedure of defining the meaning. Such a procedure is regarded as a semantic program which is capable of calculating the meaning of an expression with semantic and context-pragmatic parameters being given. The main question: how the agents communication recognise the fact that the language expressions they generated are not adequate in regards of those mental representations which constitute intended sense, particularly in the cases of non-compositionality. To answer this question the way of reconstructing intended sense is described. It includes differentiation of minimal and full senses of expression, and presupposes juxtaposing of context-pragmatic conditions of a speaker situation with the same conditions an addressee situation. If differences are un-

¹ Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект 15-03-00321.



covered which would make it impossible to achieve adequate understanding, then the parameters of a speaker's situation are verbalised and stop being non-expressible turning into obvious conditions of the stated. In the case of pragmatically adopted non-compositionality, full verbalisation of context-pragmatic conditions leads to obtaining full compositional meaning, which does not depend on a situation anymore. If it turns out, that logical compositionality depends on context-pragmatic conditions, then, depending on the aim of communication, it maybe localised and eliminated.

Key words: ???

Принятое содержательное определение семантической композициональности звучит так: «Значение сложного выражения есть функция значений его частей и того способа, каким они соединены синтаксически» [Partee, 1984: 281]. Это определение, или же *принцип композициональности*, предполагает, что мы умеем описывать синтаксис, что мы знаем, как устанавливается значение атомарных с точки зрения синтаксиса языковых единиц, и что, наконец, значение сложного выражения зависит от значения его компонентов и устанавливается в соответствии с правилом, соответствующим синтаксической форме. Семантическая композициональность рассматривается как норма организации синтаксиса и семантики естественного и формализованного языков, случаи ее нарушения описываются как аномалии. Вместе с тем, если содержательное определение композициональности представляется относительно ясным, то определение некомпозициональности, которое можно получить просто внесением отрицания, ясным назвать нельзя. При каких условиях значение сложного выражения *не есть* функция значения его частей и способа их синтаксического соединения, т.е. не находится в таком к ним отношении, которое можно было бы охарактеризовать как функциональную зависимость? Верно ли это, например, для предложений

- (1) X — субъект предикации,
- (2) Для любого X верно, что $X = X$,

которые истинны при любых значениях X , притом что первое из них не является тавтологией? Предположив, что значение некоторого выражения A некомпозиционально, мы сталкиваемся также с вопросом о том, каким образом это значение было получено, если оно вообще остается значением. Некомпозициональность обычно понимается как следствие неадекватности некоторых языковых средств и соответствующих когнитивных механизмов логико-грамматическим и математическим инструментам описания [Lahav, 1989; Pelletier, 1994; Szabó, 2000; Pagin, Westerdahl, 2010; Goldberg, 2016]. Вследствие этого предпринималось лишь небольшое число попыток интерпретировать некомпозициональность как самостоятельное явление, отражающее логические черты значения [Moschovakis, 1993, 2006; Kracht, 2007, 2011; Hamm, Moschovakis, 2010; Микиртумов 2006, 2013а, 2013б].



В ходе использования языка рациональный агент способен отличить композиционное значение от некомпозиционного как при оценке значения выражений, которые им синтезируются, так и при оценке значения выражений собеседника. Как эксплицировать эту способность? В предлагаемой статье я излагаю концептуальный аппарат распознавания и устранения некомпозиционности на основе реконструкции интендированного в выражении смысла.

Типы некомпозиционности: прагматически адаптируемая и логическая

Вопрос о том, действительно ли принцип композиционности имеет универсальную значимость, подробно обсуждался в литературе [Janssen, 2012; Pelletier, 2012]. Если следовать содержательному определению композиционности, то некомпозиционность значения может быть следствием двух причин. Первая причина состоит в трудностях, возникающих при установлении значения компонентов выражения, что лишает интерпретатора возможности «прямо» и непосредственно реализовать принцип композиционности. В этом случае анализ значения целого не является полностью изоморфным его синтаксической структуре [Barker, Jacobson, 2007] и зависит от контекста и ситуации произнесения. Вторая причина состоит в дефекте семантических процедур, в частности в их цикличности [Moschovakis, 1993]. Ниже я подробно остановлюсь на случаях некомпозиционности первого типа, которая рассматривается как *прагматически адаптируемая*, и лишь кратко на некомпозиционности второго типа — *логической*².

С композиционностью связывают три когнитивных качества: продуктивность, систематичность и инференциальность [Fodor, Pylyshyn, 1988: 21–35]. Под *продуктивностью* понимают способность порождать потенциально бесконечное количество ментальных концептов и языковых выражений из конечного исходного набора атомарных элементов и правил соединения. *Систематичность* — это способность воспроизводить значение термина, достигнутое в одном случае при его появлении в другом случае и, возможно, контексте, т.е. использовать некоторую ментально представленную структуру объекта, свойства, отношения и т.п. как источник «системного» значения. *Инференциальность* связывают с тем, что процедуры логического вывода и иные подобные процедуры опосредованы внешними пространственно-временными репрезентациями — визуальными рядами, изображениями, записями, схемами, которым присуща ком-

² Более подробно в [Микиртурмов, 2013а].



позициональная организация, предполагающая пошаговое вычисление. Она детерминирует аналогичную организацию ментальных процессов, организующих логический вывод как вычисление [Fodor, Pylyshyn, 1988: 32–33; Goschke, Koppelberg, 1990: 267].

Примеры некомпозициональности демонстрируют обычно по указанным трем позициям [Werning, 2005], причем опираясь не на формальное определение композициональности, а на его содержательное понимание. Приведу несколько иллюстраций [Pelletier, 1994; Pagin, Westerdahl, 2010: 382–386; Goldberg, 2016: 420–425]:

(1) Идиоматическое выражение: *Будучи в обществе своего супруга белой вороной, она предпочитала не вступать в разговор ни с кем из гостей.*

(2) Цитирование (особенно в устной речи): *«Кант» состоит из четырех букв.*

В «Рассвете» наступил закат (метафорически об испытывающей трудности фирме «Рассвет»).

(3) Лексическая неоднозначность: *Наконец она вернулась домой.* В разных ситуациях это может быть сказано о группе людей, квартире, доме, театре, городе, горах, лесе, стране, земном шаре.

(4) Дейксис: *Сплю и вижу сон.*

(5) Нелексическая неоднозначность: *У каждого студента должен быть справочник по композициональности.* Неясно, один и тот же или разные.

Мальта направила посла в каждую страну региона. Один и тот же посол отправился во все страны или в каждую поехал специальный представитель?

(6) Анафора: *У фермера есть друг, он учит его играть в шахматы.*

(7) Метафора: *Его критика разбила представленные доводы.*

(8) Метонимия: *В залах музея они увидели множество едва одетых мифических героев, богов и богинь.*

Поставь Канта на вторую полку.

(9) Синекдоха: *Все флаги в гости будут к нам.*

(10) Эллипсис: *Все, что увидишь и услышишь, сразу в статью.*

(11) Контекстно зависимая квантификация: *На семинаре были все студенты.* Подразумевается, что были все, кто записался на данный курс.

Где же все? Никого нет? — спрашивает преподаватель у единственного присутствующего студента, подразумевая: «все остальные, помимо меня и вас».



В этих примерах попытка осуществить композиционную интерпретацию «прямо», т.е. основываясь на словарных значениях слов и семантике синтаксических правил, порождает затруднения, поскольку значение целого частично или полностью от этих элементов не зависит. Кроме того, «вклад» одной и той же лингвистической единицы в значение целого может варьироваться от случая к случаю. Отдельное место занимают случаи нарушения композиционности в дескриптивных фразах, демонстрируемые попытками представить прилагательное как функцию от аргумента, обозначенного существительным [Lahav, 1989]. Здесь значение прилагательного, формально выступающего в роли функции, оказывается зависимым от существительного, формально выступающего в роли аргумента. *Хороший человек, хороший крокодил и хорошее решение* — это объекты, которые по своим свойствам, связанным с характеристикой «хороший», по-видимому, не имеют между собой ничего общего. Точно так же обстоит дело и с выражениями *красное лицо, красное яблоко, красный арбуз, красный кристалл*, которым краснота присуща совершенно разными способами.

Могут ли приведенные выше примеры (1)–(11), как и некомпозиционность прилагательных, стать основанием для ограничения действия принципа композиционности? В них композиционность не может быть реализована в отношении значения компонентов «прямо» и непосредственно, но ни в каких коммуникативных ситуациях мы не пользуемся языком вне контекста и прагматики, так что значение выражения как его интенционал или смысл, сформированное вне этих условий, т.е. вне лексического контекста, ситуации произнесения, пространства, времени, агента и пр., представляет собой ненасыщенную переменную величину, формирующую запрос на определение ряда своих параметров. Следуя концепции минимальной семантики Эммы Борг [Borg, 2012], можно предположить, что формирование такого чисто логико-грамматического недоспецифицированного значения как некоторого «скелета» отделено от построения контекстно-прагматических зависимостей, так что, осуществляя интерпретацию выражения, агент строит его логическую форму, используя алгоритмы формальной семантики и структуры формальной онтологии, а корректирует ее с учетом контекстно-прагматической информации.

В каждом из случаев (1)–(2) для прикладной онтологии и адекватного ей фрагмента языка могут быть либо построены алгоритмические процедуры доопределения контекстуальных параметров, либо описаны процедуры формирования запросов информации, необходимой для их восстановления³. Идиоматический оборот (1) и лексическая неоднозначность (3) идентифицируются с помощью словарных коллекций (корпусов языка) и фиксации семантических связей. Для



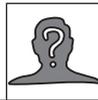
каждого слова описываются его значения в различных лексических контекстах и все идиомы с его вхождением, так что при интерпретации происходит сначала опознание слова, а затем определяется его текущий контекст или вхождение в идиому. Если это порождает спектр значений, то из них выбирается наиболее вероятное — часто встречающееся, а при равновероятных альтернативах формируется запрос на уточнение информации. Цитирование в письменной речи предполагает тот или иной способ выделения цитаты, что позволяет несложными средствами локализовать некомпозициональность [Pagin, Westerdahl, 2010].

Нелексические неоднозначности (5) и немаркированную цитату в устной речи идентифицировать сложнее, так как здесь требуется привлечение более широкого контекста или полное описание ситуации с последующей оценкой вероятности ее истинности: формальные механизмы уступают место семантизации. В сложных случаях, в частности, когда нет оснований идентифицировать цитату, но есть вероятность цитирования, формируется запрос на уточнение. Дейктическое выражение (4) оставляет пустым или неопределенным ту или иную позицию, которая требуется для построения семантического скелета значения, что инициирует процесс заполнения и доопределения. Контекстно зависимая квантификация (11) сочетает в себе эллипсис и дейкис. Классические фигуры риторики (6)–(11) выявляются с помощью все тех же коллекций лексических значений в контексте, оценивая вероятность использования буквального или переносного значения в зависимости от сочетаемости с окружением. Семантизация здесь вытесняется количественными методами, т.е. анализом массивов данных и частоты употребления. Затем выявленные тропы подвергаются перефразированию, что восстанавливает композициональность [Shutova, 2015]. Механизму доопределения анафорических связей (6) посвящено немало число как логических, так и лингвистических теорий, поскольку здесь можно использовать как чисто грамматические данные — род, число, падеж, количество разделяющих антецедент и местоимение слов, их порядок, так и семантизацию с последующим сравнением вероятности положений дел, а также предполагающий использование языкового корпуса анализ сочетаний, получающихся при том или ином анафорическом связывании.

Итак, в приведенных и подобных случаях мы сталкиваемся с нарушением «прямой» композициональности, но не с некомпозициональностью вообще. Значение здесь недоспецифицировано, присутствуют контекстно-прагматические параметры, требующие своего доопределения на основе лингвистического контекста и ситуации произнесения, как они даны агентам коммуникации. Это дает основание назвать такие случаи некомпозициональности *прагматически адаптируемыми*.

Кратко остановлюсь на *логической* некомпозициональности. Для ее определения принимается процедурно-вычислительная трактовка значения, пред-

³ Локальные системы такого рода строились начиная с 1970-х гг., а методы эффективного разрешения большинства затруднений были получены в 1980-е гг. [Городецкий, 1989], но остаются актуальными для программной реализации и сегодня.



полагающая, что установление значения есть пошаговая детерминированная процедура⁴. Она включает в себя соотнесение компонентов выражения с объектами формальной и прикладной онтологий и совершением над ними операций. Перед формальной системой, которая призвана моделировать процессы формирования значения и установления денотата выражения, стоят две задачи. Первая касается описания перехода от ментальной репрезентации некоторого содержания к ее анонсированию говорящим в языке и к проверке того, насколько адекватно ментальная репрезентация этим выражением A представлена. Здесь получает актуальность известный вопрос Джерри Фодора: каким образом мы можем знать о том, что некоторое выражение адекватно выражает нашу мысль? Вторая задача касается процесса интерпретации A адресатом. Если описывать его как реализацию семантической программы, то логическая некомпозиционность возникает вследствие образования циклических ссылок, когда при вычислении значения некоторого выражения p формируется запрос на это значение.

Наиболее последовательно интерпретация выражения как семантическая программа осуществлена в работах Янниса Мосховакиса [Moschovakis, 1993, 2006; Hamm, Moschovakis, 2010], где такого рода выражения называются *циклическими рекурсорами*. Устранение циклических рекурсоров с помощью синтаксических ограничений предотвращает появление логической некомпозиционности. Указание на цикличность процедуры установления значения как источник семантических парадоксов, в частности «Лжеца», часто встречается в литературе [Barwise, Etchemendu, 1987; Kracht, 2011], но у Мосховакиса эта идея получает описание в терминах семантических программ, что позволяет сформулировать определение логической композиционности в терминах динамических процессов:

L-CON. Семантическая программа A^{SP} , построенная для вычисления значения выражения A , логически композициональна тогда и только тогда, когда она не содержит циклических рекурсоров.

Ниже мы увидим, что свойство выражающей значение A семантической программы быть циклической или ациклической может оказаться контекстно зависимым, если A недоспецифицировано.

Интендированный смысл

Каким образом мы можем установить, что ментальная репрезентация некоторой ситуации (набора фактов) адекватно выражена адап-

⁴ Укажу лишь некоторые работы, в которых реализуется или поддерживается вычислительная трактовка значения: [Duži, Jespersen, Materna, 2010; Шанин, 1992; Moschovakis, 1993, 2006; Peregrin, 2005; Kracht, 2005, 2011; Hamm, Moschovakis, 2010; Микиртумов, 2006; Pagin, Westertähl, 2010; Liang, Potts, 2015].



тируемо некомпозициональным или логически некомпозициональным выражением? Для решения вопроса об адекватности синтеза выражения A должна быть обеспечена возможность сопоставления его смысла, полученного как результат интерпретации, с тем содержанием, которое намеревался вложить говорящий. Последнее будем называть *интендированным смыслом* агента i для выражения A : $IS_i(A)$. В оставшейся части статьи я попытаюсь более точно описать интендированный смысл.

Перечислим ряд коммуникативных условий, которые должны выполняться как предпосылка для реконструкции $IS_i(A)$.

1. Вменяемость и добросовестность: агент i синтезирует A для сообщения $IS_i(A)$ другому агенту k , отдавая себе отчет в том, какое содержание он хочет донести, и следуя принципам добросовестной коммуникации.

2. Контекстно-прагматическая определенность: агент i синтезирует A , отталкиваясь от данных ему значений контекстно-прагматических параметров.

3. Неполная проективность: агент i оценивает также возможные значения этих же параметров для агента k ; при этом полный анализ того, как агент k может интерпретировать A , требует ресурсов, поэтому осуществляется лишь в особых случаях коммуникации.

4. Корректировка: синтезированное A в ходе анонсирования и анализа реакции повторно интерпретируется агентом и может быть скорректировано; корректировки оформляются экспозитивами «сейчас я подберу другое выражение», «лучше было бы сказать так», «другими словами» и т.д.

То, что интендированный смысл осознается лично и связан с оценкой агентом языковой нормы и когнитивной деятельности других агентов, не составляет противоречия. Решая, какое из языковых выражений подходит для данного содержания, агент соотносит обычный смысл выражений-кандидатов с ментальной репрезентацией и ищет выражение, несущее, с его точки зрения, смысл, воспроизводящий такую репрезентацию у других. В тех случаях, когда два агента не согласны между собой в том, какой смысл передан выражением A , как правило, имеет место несовпадение интендируемых ими смыслов компонентов A . Его обнаружение влечет когнитивный эффект, состоящий в тематизации интендированных смыслов компонентов. Происходит «встречное» движение: агент i синтезирует A так, чтобы k понял A как $IS_i(A)$, но при этом k в результате интерпретации приходит к A^{SP} , так что задача сопоставления относится теперь к $IS_i(A)$ и A^{SP} . Направленность и скорость синтеза и интерпретации различны, а вовлеченность агентов в коммуникативную интеракцию часто не дает возможности говорящему точно выражать свою мысль во всех случаях.

Полный смысл A^{SP} строится на основе минимального смысла A^{\wedge} путем выявления контекстно-прагматических параметров. При этом возникает и адекватная логическая форма A_{LF} , отражающая оба аспекта значения. Пара $\langle A, A_{LF} \rangle$ возникает в результате интерпретации, а не синтеза, даже если она осуществляется субъектом высказывания, так что в ходе интерпретации агенты имеют дело не только с интендированным смыслом A , но и с наброском его



логической формы, относительно которой строится полный смысл. Удачно ли агент «предсказал» логическую форму, будет иметь влияние на издержки его коммуникации, т.е. на то, сколько сил ему придется потратить на доведение A до состояния, адекватного передаче нужного содержания (Liang, Potts, 2015: 364–365). Процедуры доопределения связаны с коррекцией A_{LF} в ходе построения $A^{\wedge SP}$, поскольку доопределяются контекстные зависимости значений компонентов (Westerstahl, 2012; Liang, Potts, 2015: 367).

Пусть для выражения естественного языка A его минимальный смысл (независимый от контекста и ситуации) обозначен как $A^{\wedge}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$, где $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ — семантические параметры. Если A^{\wedge} недоспецифицирован, то значения $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ либо не могут быть определены, либо их недостаточно для вычисления значения A , либо полученный результат неадекватен ментальной репрезентации содержания A . Пусть тогда $A^{\wedge SP}(\sigma_1, \dots, \sigma_n, \kappa_1, \dots, \kappa_m)$ — это полный смысл или семантическая программа, которая в отличие от $IS_i(A)$ не зависит от агента и, будучи связана с A_{LF} , несет семантические и контекстно-прагматические параметры, означивание которых делает возможным вычисление денотата A . Если в некоторой ситуации e агент i намерен выразить пропозицию $a \in e$, то a дана как ментальная репрезентация и играет роль коррелята $IS_i(A)$, где A — синтезированное выражение. Будем считать, что набор значений v_1, \dots, v_m характеризует ситуацию e . Выполняя коммуникативные условия, i интерпретирует A с целью проверки его адекватности a и приходит к положительному результату, если

$$\begin{aligned} & |A^{\wedge SP}(\sigma_1, \dots, \sigma_n, \kappa_1, \dots, \kappa_h, \dots, \kappa_m)|(s_1, \dots, s_n, v_1, \dots, v_m) = \\ & = p(A_{LF})(\sigma_1 := s_1, \dots, \sigma_n := s_n, \kappa_1 := v_1, \dots, \kappa_m := v_m) = a, \end{aligned}$$

что означает результат вычисления программы p для A_{LF} для значений ее параметров $(s_1, \dots, s_n, v_1, \dots, v_m)$. Контекстно-прагматическая часть этих значений отражает черты e , как они даны i и в связи с тем, что i синтезирует A с учетом этих значений. Семантические значения можно считать одинаковыми для всех агентов, но с контекстно-прагматическими значениями дело обстоит иначе. Адресат сообщения k либо вообще не находится в ситуации e , либо видит ее в иных аспектах, так что в общем случае

$$\begin{aligned} & i : \kappa_h := v_k, \text{ но } k : \kappa_h := w, \text{ где } v_k \neq w, \text{ откуда} \\ & |A^{\wedge SP}(\sigma_1, \dots, \sigma_n, \kappa_1, \dots, \kappa_h, \dots, \kappa_m)|(s_1, \dots, s_n, v_1, \dots, v_m)[v_k/w] \neq a. \end{aligned}$$

Если агент i утверждает A , то при указанных условиях k не приходит к такому пониманию A , ради которого i вступил в коммуникацию. Причина этого состоит в том, что i и k интерпретируют A при несовпадающих значениях контекстно-прагматических параметров. Согласно условию неполной проективности, i не предвидел этого и явно не



уточнил значения таких параметров, но, согласно условию корректировки, он возвращается к уточнению *A*. Проиллюстрируем этот процесс примерами.

Пример 1.

Ситуация. *N* встречает на улице свою знакомую *M*, относительно которой *N* знает, что она преподает историю в университете.

*M*₁: Зовут в школу преподавать историю.

*N*₁: Не соглашайся, платят мало, дети бывают препротивные.

*M*₂: Я ушла из университета, сейчас без работы, и других вариантов не видно.

*N*₂: Тогда, наверное, стоит об этом подумать.

Реплика *N*₁ синтезирована относительно ситуации, в которой *M* занимает неплохую позицию в университете. *N* хочет сообщить, что с его точки зрения добавлять к работе в университете работу в школе нецелесообразно, и указывает для этого две причины. В *M*₁ показано, что ситуация изменилась. *N*₂ есть результат коррекции *N*₁. Вместе они выражают следующее содержание: «если *M* не имеет работы и найти ее трудно, то не стоит отвергать предложение поработать в школе, несмотря на небольшую величину заработка и школьную специфику». Здесь условия ситуации, в которой находится *M*, проговорены явно, со ссылкой на *M*₂. Если бы *N* исходил из знания реальной ситуации *M*, то обмен репликами выглядел бы так:

*M*₁: Зовут в школу преподавать историю.

*N*₂: Об этом стоит подумать.

Модификация, которую произвел *N*, позволяет реконструировать интендируемый им в первой реплике смысл. Он состоял в том, что работать в школе не следует, если ты неплохо чувствуешь себя, работая в университете.

Пример 2.

Ситуация. *N* встречает на улице свою знакомую *M* в хорошем настроении и с большим букетом цветов. *N* решает, что цветы были подарены *M* по какому-то радостному или торжественному случаю. *N* хочет выказать позитивное отношение к *M*.

*N*₁: Поздравляю с прекрасным букетом. По какому случаю?

*M*₁: Да, цветы замечательные, иду на концерт.

*N*₂: Тогда поздравляю тебя с концертом, а исполнителя с букетом.

*M*₂: Это будет скучнейший концерт детской музыкальной школы, а цветы предназначены директору.

*N*₃: Сейчас ты с ними хорошо смотришься. Держись.



Здесь синтез реплик N происходит относительно различных ситуаций. В N_1 интендирован смысл «я рад, что тебе подарили цветы, видимо, в связи с каким-то позитивным событием», в N_2 — «я рад, что ты идешь на концерт, который, судя по заготовленному букету, доставит тебе много радости», в N_3 — «цветы украшают, даже если предназначены кому-то другому, сочувствую в связи с предстоящим испытанием». Если бы N отклонился от условия неполной проективности, т.е. попытался выявить инвариант ситуаций M, то обмен репликами выглядел бы так:

N_1 : Красивые цветы, ты с ними хорошо смотришься.

M_1 : Спасибо.

Здесь значения параметров ситуации, которые влияли на синтез высказывания, совпадают с теми, которые используются при его интерпретации, N описал ту часть ситуации, которая видится N и M одинаково.

Пример 3.

Ситуация. Обсуждаются методики преподавания философии. N зачитывает рекомендации относительно расширения использования интерактивных методов преподавания. M кивает головой:

M_1 : Согласен, нужно вернуть лекционные часы, которые заменили часами консультаций и самостоятельной работы.

N_1 : Но лекции не относятся к интерактивным формам работы, нас призывают заменять их семинарскими и практическими занятиями.

M_2 : Почему же лекция не интерактивная форма? У меня на лекциях студенты выступают с докладами, устраивают дискуссии.

N_2 : Формально лекции всего этого не предусматривают, так должна выглядеть работа на семинаре или на коллоквиуме.

M_3 : Тогда скажу иначе: я за то, чтобы за счет консультаций и самостоятельной работы выделялось больше часов для интерактивных форм.

Здесь интендированный смысл, который подразумевается M, получает адекватное выражение в M_3 . M_1 синтезирована относительно ситуации, в которой M проводит свои лекции как семинарские занятия или коллоквиумы. N об этом не знает, поэтому недоуменно возражает M и указывает на общепринятое понимание того, как выглядит лекция. Поняв причину своего расхождения с N, M корректирует свое высказывание.

Пример 4.

Ситуация. Занятие по логике, на котором студентка M делает доклад о парадоксе «Лжец». Студент N задает вопросы.



M_1 : Сейчас я выскажу парадоксальную фразу: я лгу.

N_1 : Пока не вижу парадокса. Ты сказала «я лгу», и это можно отнести к твоим словам «сейчас я выскажу парадоксальную фразу». Получается, что это утверждение неверно, и ты не высказала парадоксальной фразы.

M_2 : Я решила, что в докладе я не скажу ни слова истины, так что утверждение «я лгу» относится ко всему, что я говорю в ходе доклада.

N_2 : Тогда утверждение «я лгу» не может быть ни истинным, ни ложным. Но его можно оставить неопределенным, и парадокса не возникнет.

M_3 : Дело в том, что, начав интерпретировать «я лгу», мы реализуем зацикленную процедуру, и для того, чтобы ее остановить и сказать, что получен результат «неопределенно», требуются основания. Их нелегко сформулировать, и они принципиально отличаются от тех путей, какими мы обосновываем истинность и ложность предложений.

N_3 : В итоге мы получаем не три значения, а два вида процедур — линейные и циклические?

M_4 : Именно на это я и хотела указать, излагая «Лжеца».

Интендированный смысл «я лгу», если M хочет продемонстрировать парадокс, возникает при автореференции, которая при произнесении слов «я лгу» необязательна. Поэтому в ответ на реплику N_1 в M_2 явным образом проговаривается автореферентность, до сих пор лишь подразумевавшаяся M . В N_2 предлагается разрешение парадокса, которое, однако, не совпадает с намерениями M , поскольку для нее «Лжец» имеет другую коммуникативную цель, нежели указание на возможность применения трехзначной логики. Эта цель раскрывается в M_3 : парадокс позволяет обнаружить наличие циклических и ациклических семантических процедур. Интендированный смысл проявлялся здесь постепенно, когда в ходе диалога M поэтапно раскрывала те контекстуально-прагматические значения, в рамках которых она сделала утверждение «я лгу» с указанной коммуникативной целью.

Теперь мы можем дать определение интендированному смыслу A . Идея состоит в том, что $IS_i A$ соответствует полной семантической программе A^{SP} , в которой значения контекстно-прагматических параметров означены в ситуации, относительно которой агент i осуществил синтез A . Правильное понимание агентами интендированных смыслов друг друга происходит либо при совпадении таких значений, либо, при их несовпадении, за счет их вербализации говорящим, при которой подразумеваемое становится частью утверждаемого.

Пусть v_1, \dots, v_m — значения контекстуально-прагматических параметров, дающие полную определенность ситуации e , так что при этих



значениях (а также при соответствующих семантических значениях) может быть определен денотат любого выражения языка. Пусть также C_1, \dots, C_m — предложения, вербализующие v_1, \dots, v_m .

Определение 1. C_h вербализует v_h тогда и только тогда, когда при любых значениях параметров $\sigma_1, \dots, \sigma_n, \kappa_1, \dots, \kappa_{h-1}, \kappa_{h+1}, \dots, \kappa_m$ имеет место

$$|C_h^{\wedge SP}(\sigma_1, \dots, \sigma_n, \kappa_1, \dots, \kappa_m)|(s_1, \dots, s_n, v_1, \dots, v_m)[\kappa_h := v_h] \in e.$$

Иными словами, C_h есть явное описание той особенности ситуации e , которая выражена параметром v_h . Примерами вербализации могут служить следующие условия из примеров 1–4: «М работает в университете», «цветы были подарены М в связи с торжественным случаем», «М идет на концерт и ожидает от этого позитивных впечатлений», «М намеревается подарить цветы исполнителю», «М ведет лекции как семинары и коллоквиумы», «фраза “я лгу” квалифицирует свою собственную истинность», «чтобы остановить процесс вычисления значения, нужны основания» и т.п.

Определение 2. Интендированным смыслом $IS_i A$, где A — предложение, в ситуации e есть $D^{\wedge SP}$ при семантических условиях s_1, \dots, s_n и контекстно-прагматических условиях v_1, \dots, v_m , характеризующих e , тогда и только тогда, когда D имеет вид $(C_1 \wedge \dots \wedge C_m) \rightarrow A$, C_1, \dots, C_m вербализуют v_1, \dots, v_m и $|((C_1 \wedge \dots \wedge C_m) \rightarrow A)^{\wedge SP}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)|(s_1, \dots, s_n) = T$.

Иными словами, $IS_i A$ — это полное раскрытие зависимых от ситуации e условий, в которых агент i синтезирует A . Распространение этого определения на выражения иных типов происходит путем рассмотрения их как компонентов предложений. Здесь интендированный смысл соотнесен с ситуацией, поскольку агент синтезирует выражение в рамках ситуации. Если зависимости от ситуации нет, т.е. значение выражения определяется вне контекстно-прагматических условий, то его интендируемый смысл совпадает с минимальным значением или логическим смыслом.

Определение интендируемого смысла позволяет увидеть пределы адаптируемой некомпозициональности. «Прямо» некомпозициональное значение A может быть адаптируемо некомпозициональным, только если $IS_i A$ логически композиционален. При этом логически некомпозициональные программы оказываются в некоторых случаях адаптируемыми, как, например, это было в примере 4, в реплике N_1 , задающей контекст, при котором цикл ссылок не возникал, в то время как в контекстах других реплик того же диалога фигурировали полные, но циклические семантические программы. Если же синтаксис допускает арифметизацию, так что «Лжец» может быть воспроизведен с использованием геделева номера выражения, то в таком случае контекстной зависимости не возникает, если только не считать тако-



вой саму арифметизацию, и интендированный смысл сразу оказывается полной и циклической программой.

Заклучение

Прагматически адаптируемая и логическая некомпозициональность имеют различные причины. В первом случае это недоспецификация контекстно-прагматических параметров, во втором — циклические ссылки. Но распознавание некомпозициональности в обоих случаях связано с коммуникативными действиями, так что для достижения адекватного понимания агентом того, что за явление перед ним и как к нему следует относиться, необходимо воспроизводство интендированного говорящим смысла. Это возможно при контекстно-прагматической динамике, когда различие значений контекстно-прагматических параметров для двух агентов может вынудить говорящего вербализовать те характеризующие ситуацию произнесения условия, которые первоначально были предметом умолчания. Интендированный смысл как полная экспликация всех таких условий представляет содержание, уже не зависящее от контекстно-прагматических параметров и в некотором смысле «объективное». Такое содержание определяет логическую форму выражения, значение которого становится вследствие этого пригодным для обработки семантической программой, но и позволяет корректно описать различные случаи появления в коммуникации как прагматически адаптируемых, так и логически некомпозициональных выражений. В тех случаях, когда такие выражения используются как примеры семантической неопределенности, вербализованные контекстно-прагматические условия демонстрируют это прямо и непосредственно. В тех же случаях, когда речь идет о технических ошибках коммуникации, происходит последовательная коррекция как логической формы, так и семантической программы, направляемая агентами, стремящимися достичь определенной коммуникативной цели.

Библиографический список

Городецкий, 1989 — *Городецкий Б.Ю.* Компьютерная лингвистика: моделирование языкового общения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIV. Компьютерная лингвистика; перев. с англ., сост., ред. и вступ. ст. Б.Ю. Городецкий. М.: Прогресс, 1989. С. 5–29.

Микиртумов, 2006 — *Микиртумов И.Б.* Теория значения и интенциональная логика. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006.

Микиртумов, 2013а — *Микиртумов И.Б.* Композициональность и ее прагматика // Эпистемология и философия науки. 2013. Т. 36, № 2. С. 42–58.



Микиртумов, 2013b — *Микиртумов И.Б.* Семантическая неоднозначность и «техническая» прагматика // *Философия языка и формальная семантика* ; под ред. П.С. Куслия. М. : Альфа-М, 2013. С. 71–88.

Шанин, 1992 — *Шанин Н.А.* Некоторые черты математического подхода к проблемам логики // *Вестник Санкт-Петербургского государственного университета*. Сер. 6. 1992. Вып. 4. С. 10–20.

Barker, Jacobson, 2007 — *Barker C., Jacobson P.* Introduction: Direct Compositionality // С. Barker, P. Jacobson (eds.). *Direct Compositionality*. N.Y., Oxford : Oxford University Press, 2007. P. 1–19.

Barwise, Etchemendy, 1987 — *Barwise J., Etchemendy J.* *The Liar: An Essay in Truth and Circularity*. N.Y., Oxford : Oxford University Press, 1987.

Borg, 2012 — *Borg E.* *Semantics without Pragmatics?* // К. Allan, К. Jaszczolt (eds.). *The Cambridge Handbook of Pragmatics*. Cambridge, N. Y. : Cambridge University Press, 2012. P. 513–528.

Duži, Jespersen, Materna, 2010 — *Duži M., Jespersen B., Materna P.* *Procedural Semantics for Hyperintensional Logic. Foundations and Applications of Transparent Intensional Logic*. Dordrecht : Springer, 2010.

Fodor, Pylyshyn, 1988 — *Fodor J., Pylyshyn Z.* *Connectionism and Cognitive Architecture: A Critical Analysis* // *Cognition*. 1988. Vol. 28. P. 3–71.

Goldberg, 2016 — *Goldberg A.* *Compositionality* // N. Riemer (ed.). *The Routledge Handbook of Semantics*; L., N. Y. : Routledge, 2016. P. 419–433.

Goschke, Koppelberg, 1990 — *Goschke T., Koppelberg D.* *Connectionist Representation, Semantic Compositionality, and the Instability of Concept Structure* // *Psychological Research*. 1990. Vol. 52. P. 243–270.

Hamm, Moschovakis, 2010 — *Hamm F., Moschovakis Y.* *Sense and denotation as Algorithm and Value*. *Advanced Course*. ESSLLI, 2010, СРН [Электронный ресурс] URL: <http://www.math.ucla.edu/~ynm/lectures/es10.pdf> (23.02.2016).

Janssen, 2012 — *Janssen T.M.V.* *Compositionality: Its Historic Context* // W. Hinzen, E. Machery, M. Werning (eds.). *The Oxford Handbook of Compositionality*. Oxford, N. Y. : Oxford University Press, 2012. P. 19–46.

Kracht, 2007 — *Kracht M.* *Compositionality: The Very Idea* // *Research of Language and Computation*. 2007. Vol. 5. P. 287–308.

Kracht, 2011 — *Kracht M.* *Gnosis* // *Journal of Philosophical Logic*. 2011. Vol. 40. P. 397–420.

Lahav, 1989 — *Lahav R.* *Against Compositionality: the Case of Adjectives* // *Philosophical Studies*. 1989. Vol. 57. P. 261–279.

Liang, Potts, 2015 — *Liang P., Potts C.* *Bringing Machine Learning and Compositional Semantics Together* // *Annual Review of Linguistics*. 2015. № 1. P. 355–376.

Moschovakis, 1993 — *Moschovakis Y.* *Sense and Denotation as Algorithm and Value* // J. Oikkonen, J. Väänänen (eds.). *Logic Colloquium '90: ASL Summer Meeting in Helsinki*. *Lecture Notes in Logic*. 1993. Vol. 2. B. Heidelberg, 1993. P. 210–249.

Moschovakis, 2006 — *Moschovakis Y.* *A Logical Calculus of Meaning and Synonymy* // *Linguistics and Philosophy*. 2006. Vol. 29. P. 27–89.

Pagin, Westerdahl, 2010 — *Pagin P., Westerdahl D.* *Pure Quotation and General Compositionality* // *Linguistics and Philosophy*. 2010. Vol. 33. P. 381–415.

Partee, 1984 — *Partee B.H.* *Compositionality* // F. Landman, F. Veltman (eds.). *Varieties of Formal Semantics*. Dordrecht : Foris, 1984. P. 281–311.

Pelletier, 1994 — *Pelletier F.J.* *The Principle of Semantic Compositionality* // *Topoi*. 1994. Vol. 13(1). P. 11–24.



Pelletier, 2012 — *Pelletier F.J.* Holism and Compositionality // W. Hinzen, E. Machery, M. Werning (eds.). *The Oxford Handbook of Compositionality*. Oxford, N. Y. : Oxford University Press, 2012. P. 149–174.

Peregrin, 2005 — *Peregrin J.* Is Compositionality an Empirical Matter? // M. Werning, E. Machery, G. Schurz (eds.). *The Compositionality of Meaning and of Content*. Vol. 1. Frankfurt am Main : Ontos Verlag, 2005. P. 231–246.

Shutova, 2015 — *Shutova E.* Design and Evaluation of Metaphor Processing Systems // *Computational Linguistics*. 2015. Vol. 41, no. 4. P. 579–623.

Szabó, 2000 — *Szabó Z.G.* Compositionality as Supervenience // *Linguistics and Philosophy*. 2000. Vol. 23. P. 475–505.

Werning, 2005 — *Werning M.* Right and Wrong Reasons for Compositionality // M. Werning, E. Machery, G. Schurz (eds.). *The Compositionality of Meaning and of Content*. Vol. 1. Frankfurt am Main : Ontos Verlag, 2005. P. 285–309.

References

Barker C., Jacobson P. Introduction: Direct compositionality. In: C. Barker, P. Jacobson (eds.). *Direct compositionality*. New York, Oxford: Oxford University Press, 2007, pp. 1–19.

Barwise J., Etchemendy J. *The Liar: An essay in truth and circularity*. New York, Oxford: Oxford University Press, 1987. 185 p.

Borg E. Semantics without Pragmatics? In: K. Allan, K. Jaszczolt (eds.). *The Cambridge Handbook of Pragmatics*. Cambridge, New York : Cambridge University Press, 2012, pp. 513–528.

Duži M., Jespersen B., Materna P. *Procedural Semantics for Hyperintensional Logic. Foundations and Applications of Transparent Intensional Logic*. Dordrecht: Springer, 2010. 416 p.

Fodor J., Pylyshyn Z. Connectionism and Cognitive Architecture: A Critical Analysis. *Cognition*, 1988, vol. 28, pp. 3–71.

Goldberg A. Compositionality. In: N. Riemer (ed.). *The Routledge Handbook of Semantics*. London, New York: Routledge, 2016, pp. 419–433.

Gorodetskiy B.Yu. Computer Linguistics: Model of the Language Communication [Komp'yuternaya lingvistika: modelirovanie yazykovogo obshcheniya]. *New in Foreign Linguistics*. vol. XXI. Moscow, 1989, pp. 5–29.

Goschke T., Koppelberg D. Connectionist Representation, Semantic Compositionality, and the Instability of Concept Structure. *Psychological Research*, 1990, vol. 52, pp. 243–270.

Hamm F., Moschovakis Y. *Sense and Denotation as Algorithm and Value. Advanced Course*. ESSLLI, 2010, CPH. Available at: <http://www.math.ucla.edu/~ynm/lectures/es10.pdf> (accessed 23.02.2016).

Janssen T.M.V. Compositionality: Its Historic Context. In: W. Hinzen, E. Machery, M. Werning (eds.). *The Oxford Handbook of Compositionality*. Oxford, New York : Oxford University Press, 2012, pp. 19–46.

Kracht M. Compositionality: The Very Idea. *Research of Language and Computation*, 2007, vol. 5, pp. 287–308.

Kracht M. Gnosis. *Journal of Philosophical Logic*, 2011, vol. 40, pp. 397–420.

Lahav R. Against Compositionality: the Case of Adjectives. *Philosophical Studies*, 1989, vol. 57, pp. 261–279.

Liang P., Potts C. Bringing Machine Learning and Compositional Semantics Together. *Annual Review of Linguistics*, 2015, no. 1, pp. 355–376.



Mikirtumov I.B. *Meaning Theory and Intensional Logic* [Teoriya znacheniya i intensional'naya logika]. Saint-Petersburg, 2006. 351 p.

Mikirtumov I.B. Compositionality and its Pragmatics [Kompozitsional'nost' i ee pragmatika]. *Epistemology and Philosophy of Science*, 2013, vol. 36, no. 2, pp. 42–58.

Mikirtumov I.B. Semantical Ambiguity and 'Technical' Pragmatics [Semanticheskaya neodnoznachnost' i 'tekhnicheskaya' pragmatika]. *Philosophy of Language and Formal Semantics*. P.S. Kusliy (ed). Moscow: Alfa-M, 2013, pp. 71–88.

Moschovakis Y. Sense and denotation as Algorithm and value. In: J. Oikkonen, J. Vaananen (eds.). *Logic Colloquium '90: ASL Summer Meeting in Helsinki (Lecture Notes in Logic)*. Berlin: Springer Verlag, 1993, vol. 2, pp. 210–249.

Moschovakis Y. A Logical Calculus of Meaning and Synonymy. *Linguistics and Philosophy*, 2006, vol. 29, pp. 27–89.

Pagin P., Westerdahl D. Pure Quotation and General Compositionality. *Linguistics and Philosophy*, 2010, vol. 33, pp. 381–415.

Partee B.H. Compositionality. In: F. Landman, F. Veltman (eds.). *Varieties of Formal Semantics*. Dordrecht: Foris, 1984, pp. 281–311.

Pelletier F.J. The principle of semantic compositionality. *Topoi*, 1994, vol. 13(1), pp. 11–24.

Pelletier F.J. Holism and Compositionality. In: W. Hinzen, E. Machery, M. Werning (eds.). *The Oxford Handbook of Compositionality*. Oxford, New York: Oxford University Press, 2012, pp. 149–174.

Peregrin J. Is Compositionality an Empirical Matter? In: M. Werning, E. Machery, G. Schurz (eds.). *The Compositionality of Meaning and of Content*. Vol. 1. Frankfurt am Main: Ontos Verlag, 2005, pp. 231–246.

Shanin N.A. Some Features of a Mathematical Approach to the Problems of Logic [Nekotorye cherty matematicheskogo podkhoda k problemam logiki]. *Herald of Saint Petersburg State University*, ser. 6. 1992, no. 4, pp. 10–20.

Shutova E. Design and Evaluation of Metaphor Processing Systems. *Computational Linguistics*, 2015, vol. 41, no. 4, pp. 579–623.

Szabó Z.G. Compositionality as Supervenience. *Linguistics and Philosophy*, 2000, vol. 23, pp. 475–505.

Werning M. Right and Wrong Reasons for Compositionality. In: M. Werning, E. Machery, G. Schurz (eds.). *The Compositionality of Meaning and of Content*. Vol. 1. Frankfurt am Main: Ontos Verlag, 2005, pp. 285–309.



И ОГАНН ХРИСТОФ ШТУРМ: ЭКЛЕКТИЦИЗМ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Сергей Григорьевич Секундант — доктор философских наук, завкафедрой философии и основ общегуманитарного знания Одесского национального университета им. И.И. Мечникова.
E-mail: sergeisekundant@gmail.ru

Рассматривается философская идеология эклектицизма Нового времени, в частности в том виде, как он был сформулирован И.Х. Штурмом, и оценивается его вклад в развитие философской и научной мысли. Показывается необходимость разграничить эклектицизм, синкретизм и концилиаторику. Эклектизм характеризуется как прогрессивное для своего времени течение. Подчеркивается то решающее влияние, которое оказал эклектицизм на формирование нового научного мировоззрения.

Ключевые слова: синкретизм, концилиаторика, эклектицизм, философская идеология, методологическая программа, философская секта, философия науки, философия Нового времени, эклектическая физика, И.Х. Штурм.

JOHANN CHRISTOPH STURM: ECLECTICISM AS A PHILOSOPHICAL IDEOLOGY AND METHODOLOGICAL PROGRAM

Sergei Secundant — PhD in philosophy, head of the department of philosophy and humanities bases, Odessa, I.I. Mechnikov National University.

In this paper the philosophical ideology of eclecticism of Modern times is considered, especially as it has been formulated by J. Ch. Sturm, and assessment of its contribution to development of philosophical and scientific thought is given. The need of differentiation of eclecticism, syncretism and conciliatorics is proved. Eclecticism is characterized as a progressive for its time current. The decisive impact eclecticism on formation of new scientific outlook is emphasized.

Key words: syncretism, conciliatorics, eclecticism, philosophical ideology, methodological program, philosophical sect, philosophy of science, the history of modern philosophy, eclectic physics, Johann Christoph Sturm.



Эклектизм долгое время оставался белым пятном в истории философии. Это можно объяснить рядом причин, главная из которых, на наш взгляд, заключается в том, что история философии как наука преимущественно формировалась в рамках гегельянской школы, рассматривающей историю философии как историю философских систем. Эклектизм же, подобно скептицизму, был философской идеологией, направленной против всякого рода спекулятивных

систем¹. Смешение философской идеологии и философской системы, а также недооценка значения философских идеологий в развитии философии является, на наш взгляд, одной из главных причин негативного отношения философов и историков философии к эклектицизму. Неудивительно, что этот термин впервые приобретает негативный смысл именно в спекулятивном направлении немецкой идеалистической философии. Считая эклектический стиль философствования поверхностным, Гегель характеризует эклектицизм как



«тщеславный венок (eitlen Kranz), составленный из цветочков, собранных отовсюду» [Hegel, 1971: 243]. Этот взгляд на эклектицизм, основанный на смешении или признании принципиального тождества синкретизма и эклектицизма, становится доминирующим в немецкой философской мысли с начала XIX в.

Эклектицизм, синкретизм и концилиаторика

Слово «эклектика» (ἐκλεκτική) происходит от древнегреческого *ek-legein*, что означает «выбирать». Эклектицизм как философское течение возникало в эпоху эллинизма. Согласно Диогену Лаэртскому, первым философом, который открыто стал называть себя эклектиком, был Потамон (Ποτάμων) из Александрии (2-я пол. I в. до н.э. — нач. I в. н.э.). Среди историков философии сформировалась традиция относить к эклектикам также тех философов, которые себя не считали эклектиками. Тенденция так широко толковать эклектицизм была заложена самими эклектиками, которые к эклектикам относили все творческие личности, т.е. практически всех великих философов — Платона, Аристотеля, Дж. Бруно, Ф. Бэкона, Г. Лейбница и многих других. Однако среди эклектиков существовала и обратная тенденция — дистанцироваться от близких к эклектицизму течений. Против того чтобы Антиоха из Аскалона и неоплатоников относить к эклектикам, выступили, в частности, И.Я. Хёфлер и И.Д. Байер, которые считали Антиоха из Аскалона основателем философской концилиаторики (*conciliationis philosophicae auctor*) [Hoefler, 1742: §VII]. На его примере они пытались объяснить различие между концилиаторикой и эклектицизмом [Hoefler, 1742: § VII–XI]. Они также требовали различать эклектицизм в негативном и позитивном смыслах. Примером эклектика в негативном смысле для них является Аноним (*Anonymus*), комментатор Аристотеля, который себя не причислял ни к какой секте, сам для себя определял принцип философствования (*philosophandi legem*) и не притязал на авторство [Hoefler, 1742: § XIII]. В позитивном смысле «эклектическая философия понимается тогда, когда мы либо правильно (*rite*) познаем взгляды других и из них берем то, что согласуется с истиной, а то, что вызывает сомнение, отбрасываем; или же если

¹ Философская идеология представляет собой совокупность нормативных принципов, ценностных установок и приоритетов, с помощью которых пытаются обосновать преимущество определенного философского проекта или программу действий, тогда как система — это уже продукт такого рода деятельности и представляет собой совокупность теоретических положений, организованных определенным образом. Любая теоретическая система предполагает свою философскую идеологию, но не всякая философская идеология требует построения системы. Радикальный скептицизм, например, требует воздерживаться от всяких спекулятивных построений, но его важную роль в развитии философии трудно отрицать.



мы пытаемся защитить новые истины путем самостоятельного рассуждения» [Hoefler, 1742: § XIII].

Для конциалиторики характерно стремление сблизить различные точки зрения между собой и, в частности, со своей собственной точкой зрения. Эклектикам такая тенденция была чужда. Эклектики не ставили перед собой цель примирить различные точки зрения, для них было принципиально важно, чтобы отбор носил критический характер. Очевидно, по этой причине Я. Брукер рассматривает конциалиторику и синкретизм практически как синонимы и противопоставляет их эклектике. И хотя Г.В.Ф. Гегель в своих лекциях по истории философии обвиняет Брукера в том, что тот относит неоплатоников к эклектикам, сам Брукер ясно указывает, что философы, вышедшие “*ex platonico-Pythagoricis Alexandrinorum scholis*”, скорее достойны названия секты, чем эклектической философии. Они “*conciliatorum potius vel syncretistarum nomen mereatur*” (заслуживают скорее имени конциалиториков или синкретистов), так как они “*non in elegendi veris, sed in conciliandis et in unam quasi massam chaosque magnam partem informe conflandis diversissimarum opinionum generibus fuere diligentissimi*” (были наиболее искусны не в отборе истин, а в соединении самого разного рода мнений в единую почти беспорядочную и большей частью бесформенную массу) [Brucker, 1742: 190].

В Новое время эклектизм возрождается первоначально как движение, альтернативное догматизму и в этом отношении он — родственное синкретизму движение. Термин «синкретизм» (συνκρήτισμος — букв. Объединение) пришел в философию из политической истории. У Плутарха он означает объединение противоборствующих групп для борьбы с общим врагом. В эпоху Реформации в протестантской теологии этот термин имел позитивный смысл. Синкретисты выступали за объединение всех христианских конфессий и главную причину раскола в протестантском движении видели в догматизме. Негативный смысл термин «синкретизм» в философии Нового времени приобрел во многом благодаря эклектикам. Брукер определяет «синкретизм» как «*malesana dogmatum et sententiarum philosophicarum, toto coelo inter se dissidentium conciliatio*» (нездоровое соединение учений и высказываний, в целом несогласующихся между собой) [Brucker, 1743: 750].

Хотя сами эклектики характеризовали эклектицизм как способ философствования (*philosophandi modus*)², они все же, пытаясь доказать его преимущества, развили свою собственную философию со своей специфической идеологией. Не случайно термин «эклектическая философия» (*philosophia eclectica*) появляется только в XVII в. Именно в это время начинается формирование философской идеоло-

² Наряду с термином «*philosophandi modus*» использовались также термины «*philosophandi ratio*», «*philosophandi methodus*», «*philosophandi genus*», «*lex philosophandi*».



гии эклектицизма, которую нельзя сводить к идеологии Просвещения. Хотя эклектицизм служил методологической основой философии Просвещения, не все эклектики были просветителями. Просвещение — это продукт преимущественно философской идеологии одного из течений эклектицизма Нового времени. Брукер, заложивший основы истории философии как науки, не совсем был неправ, когда говорил об «эпохе эклектизма».

Термин «эпоха Просвещения» (*siècle des lumières*) возникает позже у французских энциклопедистов, на которых решающее влияние оказал Брукер. Но первым, кто еще в конце XVII в. сделал термин «просвещение» (*Aufklärung*) ведущим философским понятием, был эклектик Х. Томазий. В. Шмидт-Биггеманн совершенно справедливо характеризует эклектицизм как «одно из наиболее стабильных (*kontinuierlichsten*) течений в истории немецкого университетского научного образования (*Gelehrten-geschichte*) от барокко до идеализма» [Schmidt-Biggemann, 1983: 237]. Сведение эклектицизма только к просвещению слишком обедняет и во многом искажает историю философии, выбрасывая за борт истории многих философов, оказавших решающее влияние на развитие философии и науки. К таким философам, в частности, относится Иоганн Христоф Штурм. Хотя процесс исторической реабилитации эклектицизма вообще и Штурма в частности в европейской философии начался лишь в середине 1980-х гг., литература по этой тематике уже достаточно обширна³. Тем не менее философская идеология эклектицизма не стала предметом особых исследований. Смешение историками философии идеологии эклектицизма и его методологии, как и смешение Гегелем эклектицизма с синкретизмом, стало главной причиной дискредитации и недооценки роли этого течения в развитии философии Нового времени. В настоящей работе предпринимается попытка рассмотреть процесс формирования идеологии эклектицизма в философии Нового времени и на примере Штурма, одного из его первых и влиятельнейших идеологов, показать вклад эклектицизма в развитие философской и научной мысли Нового времени.

Штурм: эклектицизм как философская идеология естествоиспытателей XVII–XVIII вв.

Во второй половине XVII в. философская идеология эклектицизма начинает доминировать среди естествоиспытателей, многим из которых были чужды идеалы Просвещения. Наиболее ярким представи-

³ Наибольший вклад в дело реабилитации эклектицизма внесли работы В. Шнайдерса [Schneiders, 1985], Г. Драйцеля [Dreizel, 1991], У.И. Шнайдера [Schneider, 1992, 2002], М. Альбрехта [Albrecht, 1994], Ф. Германа [Hermann, 2003], Г. Гааб [Gaab, 2004] и др.



телем и главным идеологом этого движения в Германии становится Иоганн Христоф Штурм (Johannes Christoph Sturm) (1635–1703). Штурм учился сначала в Йене у Э. Вайгеля (Erhard Weigel), а позже — в Лейдене у картезианца Иоанна де Рэя (Johannes de Raey) [см.: Hermann, 2003] и испытал сильное влияние Р. Бойля, корреспондентом и переводчиком которого он был долгое время. Штурм рассматривал эклектицизм как наиболее прогрессивную философскую доктрину и научно-исследовательскую программу. В своем «Научном рассуждении о сектантской и эклектической философии» (1679) основную проблему прежней и современной ему философии он видит в ее раздробленности: только «одна перипатетическая философия делится на греческую, арабскую и схоластическую, а последняя на школы альбертистов, томистов, скотистов, оккамистов, номиналистов, реалистов, ожесточенно сражающихся между собой в защиту авторитета и мнений своего учителя» [Sturm, 1679: 3]. К ним, по его мнению, можно добавить последователей Р. Луллия, П. Раме, Р. Декарта и других.

Касаясь современности, Штурм выделяет четыре наиболее влиятельные секты: 1) перипатетическую (Aristotelica), 2) картезианскую (Cartesiana), 3) атомистическую (Neo-Democratica), возглавляемую П. Гассенди, и 4) неоплатоническую (Neoplatonica), главным представителем которой он считает Г. Мора [Sturm, 1679: 8–9]. В своей критике прежней философии Штурм опирается преимущественно на Г. Горна и Г.И. Фосса. Как и его предшественники, он выступает против сектантства и основную свою задачу видит в том, чтобы покончить с ним и, в частности, воспрепятствовать появлению новых сект. Причину появления все новых и новых сект Штурм видит во враждебном отношении представителей разных философских школ к критике и неспособности преодолеть разброд мнений. Сектантской он называет такую философию, «которая все свои основоположения, а нередко и порядок их изложения, заимствует большей частью из уст или писаний одного учителя или ученого, так что ее приверженцам кажется, будто никогда не было сказано ничего более правильного и истинного» (Sectariam itaque philosophiam hoc nostro tractatu eam appellamus, quae dogmata sua, imo haut raro docendorum etiam ordinem, ex unius Magistri aut Doctoris vel ore vel scriptis ita hausit pleraque omnia, ut alia verius rectiusque dicta nusquam repertum iri videatur ipsis asseclis) [Sturm, 1698: 11–12]. Штурм выделяет две главные черты сектантской философии: во-первых, большая часть ее положений принадлежит перу одного философа и, во-вторых, сектанты враждебно относятся к учениям, которые не согласуются с учением авторитета, приверженцами которого они являются, а также ко всякого рода новшествам. Согласно Штурму, сектанты — это эпигоны и догматики. Они не способны выйти за границы своих предрассудков и по достоинству оценить учения других философов. По этой причине, считает он, сек-



тантская философия ведет к бесполезным спорам, препятствуя умножению и усовершенствованию наших знаний, и тем самым не только дискредитирует философию, но и становится главной преградой на пути к общественному прогрессу и угрозой социальному миру.

Указывая на социальную угрозу сектантства в философии, Штурм тем не менее не призывает, подобно некоторым скептически настроенным ученым и философам, отбросить всю прежнюю философию как нечто устаревшее и бесполезное. Он только требует положить конец сектантству в философии. И хотя Штурм открыто не говорит о синкретизме, фактически он имеет в виду его, когда утверждает, что любая попытка объединить основные положения разных философских школ обречена на провал. Во-первых, ввиду многообразия философских школ такого рода попытка едва ли осуществима, так как согласование учений потребует столь больших усилий, что едва ли это по силам отдельному человеку или группе людей. Во-вторых, Штурм выражает сомнение, что такого рода попытки способны привести к большему согласию, чем то, которое существовало раньше как между школами, так и в рамках отдельных школ. По этой же причине он считает мало перспективной попытку подменить философию историей философии и в ее рамках решать все проблемы. В то же время Штурм указывает на тот вред, который приносят попытки безосновательно отбрасывать мнения других философов и ученых. Он считает, что в поисках критерия истины мы должны обратиться к самой природе и человеческому разуму.

Эклектицизм как философская идеология с самого начала был ориентирован на истину, на достижение такого единого, общепризнанного взгляда на мир, который не влек бы за собой никаких негативных последствий для научного познания и общественной жизни. Конфликт, который возник между новыми научными представлениями и традиционными религиозно-нравственными ценностями в связи с революционными изменениями в математике и естествознании, требовал радикального изменения в самом способе философствования. Если И. Юнг, Э. Вайгель, Р. Декарт, Т. Гоббс, Б. Спиноза, Н. Мальбранш, Г. Лейбниц и многие другие философы, преимущественно из лагеря рационалистов, в поиске нового способа философствования обратились к математике, то эклектицизм как способ философствования и философская идеология формировался преимущественно в среде физиков-экспериментаторов, а именно тех, которые стремились избежать негативных последствий, вытекающих из нового механистического мировоззрения. С одной стороны, эклектики выступали против резкого и необдуманного разрыва с традиционными представлениями и ценностями, а с другой — приветствовали дух критицизма философии Нового времени. Они были полны решимости очистить прежнюю философию, прежде всего философию Ари-



стотеля, от всего того, что может препятствовать научному и социальному прогрессу. Физики-эклетики выступали как против мистиков, пренебрегающих строго научными критериями познания (Г. Мор, Р. Фладд, «христианская каббала»), так и против так называемых корпускулярных философов, придерживающихся механистического взгляда на мир и отрицающих аристотелевскую традицию в физике. С другой стороны, они выступали против скептиков, которые стремились исключить из естествознания всякую теоретическую философию и требовали ограничиваться лишь экспериментальными исследованиями. Для эклетики как скептики, так и догматики были сектантами, т.е. философами, учения которых препятствуют научному и общественному прогрессу. Сектант у него — синоним человека, не способного к самостоятельному, творческому мышлению.

Свобода творчества и научный прогресс становятся главными ценностными ориентирами эклектицизма Нового времени. Разрыв с философской традицией, которого требовали механицисты и скептики, был неприемлем для эклектиков потому, что он подрывал религиозные и нравственные устои общества и с необходимостью вел к материализму и атеизму. Одно из главных требований эклектицизма — избегать крайностей догматизма и скептицизма. В своем трактате Штурм называет эклектиками «тех философов, которые не отрицают без разбора все то, что было открыто или передано другими сектами и их главами; но и не следуют авторитету одного вождя, чтобы принимать и защищать без разбора все его высказывания и изречения. Признавая немощь человеческого разума, а именно то, что один или несколько человек никогда не в состоянии исчерпать бездонную глубину природы и разума, зато могут основательно исследовать их с одной стороны, эклектики убеждены, что, объединившись и обмениваясь знаниями, можно достичь стабильного роста научных знаний» (*Eclecticorum philosophorum nomine per totam hanc tractationem non alios nos intelligere, quam eos, qui non rejiciunt promiscuè quaecunque ab aliis sectis earumque capitibus inventa sunt aut tradita, nec unius Ducis auctoritate it commoveatur, ut ejus effata & dicteria promiscuè probent & propugnent omnia; sed homini ingenii imbecilitatem agnoscentes, quae ab uno aut paucis quibusdam hominibus omnes Naturae & Rationis abyssos exhauriri nunquam patitur, ab aliis quoque verum ex parte pervideri posse, junctisque viribus et communicato consilio scientias augendas & stabilendas esse, sibi persuadent*) [Sturm, 1679: 5].

Эклектицизм — это своего рода попытка преодолеть односторонность скептицизма и догматизма в вопросе о познаваемости природы. Подобно скептикам, эклектики признают невозможность для отдельного человека или группы людей полностью познать все тайны природы и разума. Они скептически относятся к претензиям отдельных философов на абсолютное познание истины. Однако эклектики не



становятся на позиции скептицизма и агностицизма. Признавая вслед за Аристотелем, что все наши суждения о сущности вещей и причинах явлений носят и всегда будут носить вероятностный характер, Штурм, как и большинство эклектиков, признает все же возможность достоверного познания некоторых сторон явлений. Он считает, что без достоверных истин разума и опыта невозможно продвинуться в познании сущности вещей. По этой причине Штурм высоко ценил математику, подчеркивая важность и полезность применения математических методов в познании феноменов природы. В то же время эклектики не только не были наивными реалистами, но всячески подчеркивали бессосновательность претензий отдельных философов и школ на абсолютную истину. Даже те суждения, которые были подтверждены экспериментально и должны были, согласно эклектикам, служить фундаментом достоверного познания действительности, они рассматривали только как гипотезы, пусть и достоверные. Очевидные истины у них не претендуют на познание сущности вещей, а только касаются некоторых сторон явлений. Тем не менее они считали, что этого достаточно для того, чтобы уверенно продвигаться к познанию действительности. Стремление эклектиков преодолеть противоположность между скептицизмом и догматизмом с необходимостью вело к радикальному пересмотру традиционного взгляда на познание.

Субъектом познания у эклектиков выступает уже не рефлексирующий индивид, а научное сообщество (*respublica literaria*). Идея создания «республики ученых» возникла в XV в. в среде итальянских гуманистов и уже с XVI в. была известна в протестантской Германии. Ее сторонником были, в частности, С. фон Пуфендорф, учитель Штурма, Лейбниц и многие другие ученые его времени. Штурм стал одним из наиболее ярых защитников и пропагандистов «республики ученых», в которой царил бы «свобода философствования» (*libertas philosophandi*). Необходимость пересмотра традиционного взгляда на субъект познания Штурм обосновывает двумя факторами: во-первых, огромным числом достойных познания и нуждающихся в познании вещей и, во-вторых, ограниченностью познавательных способностей человека: «Число вещей и их сложность таковы, что их не осилили бы даже многие века, не говоря уже о возрасте и уме отдельного человека. Поскольку мы не можем поодиночке исчерпать океан подлежащих познанию вещей (*cognoscendorum Oceanum*), необходимо, чтобы мы попытались, проверяя и как бы постепенно разгрызая (*pitissando quasi guttatimque lambendo*) все, отбирать и обрабатывать каждую частичку знания в соответствии с ее свойствами. Наконец, хорошо известно, что если бы выдающиеся умы максимально объединили свои силы, они никогда не разделились бы на разные направления из-за разнообразия влечений (*affectorum*) и устремлений (*studiorum*), а также не испытывали бы больших препятствий (*multum*



impendi) на пути к познанию истины (*in veritate investigando*)» [Sturm, 1698: 21–22].

Как впоследствии и другие эклектики, Штурм считает, что одна из причин возникновения философских школ заключается в том, что философы руководствовались стремлением к славе, новизне и другими негативными эмоциями. Этот недостаток и призвано было исправить сообщество ученых, в котором отношения должны были бы строиться на определенных нравственных принципах. Эклектиками разрабатывается своеобразный моральный кодекс ученого. В качестве основных достоинств ученого-эклектика Штурм выделяет беспристрастность (*aequitas*) и скромность (*modestia*). Открытый доступ к информации, обмен опытом и знаниями становятся необходимыми компонентами научного познания. Штурм убежден, что только благодаря открытому обмену мнениями и совместному обсуждению вопросов ученые смогут добиться стабильного роста наук [Sturm, 1698: 7]. Эклектики были не только пропагандистами, но и активными участниками этого процесса. Отчасти под влиянием их идей в 1682 г. в Лейпциге начинает выходить первый в Германии научный журнал, в котором наряду с такими выдающимися учеными того времени, как Лейбниц и Я. Бернулли, принимают участие Штурм, Томазий, И.Г. Вальх и другие эклектики.

И.Х. Штурм: эклектицизм как методологическая программа

Хотя конечную цель физики Штурм видит в познании сущности и величия Бога, его физика ориентирована преимущественно на рост знания. Штурм рекомендует отбрасывать все, что препятствует росту знания. Согласно Штурму, только тот, кто философствует в духе эклектиков (*Eclecticorum more*), философствует с пользой для роста знаний (*utiliter & cum scientiarum augmento philosophari*) [Sturm, 1698: 22]. Познание здесь представляется как диалог, в который вовлечены не только современники, но и мыслители прошлого. Штурм, подобно схоластике, придает большое значение диспутам, но их характер и назначение в свете новых целей радикально меняются. В схоластике диспуты, как правило, использовались для защиты основных положений своего учителя или своей школы и касались преимущественно способов толкования истин, полученных путем Откровения. Они имели скорее воспитательное, чем познавательное значение и выступали преимущественно как средство оттачивания мастерства. У эклектиков, напротив, диспуты становятся средством открытия и обоснования новых истин.

Вместо деструктивных споров Штурм предлагает объединить усилия в поиске истины, и научный диспут становится важнейшим



средством такого объединения ради поиска истины. Для него диспуты важны не столько для критики чужих взглядов, сколько для исправления своих собственных [Sturm, 1698: 33–35]. Штурм считает, что наибольшего прогресса в познании мы сможем достичь тогда, когда будет собрано воедино то, что было также открыто и познано где-либо другими (*aliorum quoque inventa & cogitata in medium undecunque collata*) [Sturm, 1698: 22]. Это высказывание не следует понимать так, будто цель физики он видит в объединении различных точек зрения путем их сближения. Нельзя также согласиться с утверждением У.И. Шнайдера, будто эклектик не формулирует никакой конструктивной программы, а занимается только реконструкцией [Schneider, 2002: 239]. Если под «конструктивной программой» понимать проект построения основанной на априорных принципах системы, то Штурм действительно выступает против такого рода спекулятивных систем. Жалуясь на засилье систем, он замечает, что физика, или философия природы, «заранее загнанная в систему и ограниченная неподходящими законами» (*in systemata prius coactam ac legibus intempestivis constrictam*), может стать препятствием на пути интеграции новых явлений в такую априори сконструированную систему [Sturm, 1686: 30].

Физика, ориентированная на рост знания, по мнению Штурма, должна приближать нас к истине, а это невозможно без конструктивной критики. Согласно Штурму, только посредством критики эклектика прокладывает путь к знанию истины. Он исходит при этом из того, что среди многообразия истин существует то, что является «наиболее истинным». Штурм не противопоставляет рост знания истине, а, напротив, наличие достоверных истин рассматривает как необходимую предпосылку научного прогресса. Если рост знания ведет к истине, то именно эти очевидные истины, по его мнению, должны выступать в качестве того пробного камня, на основании которого будет происходить отбор. Штурм подчеркивает, что эклектик действует не ради забавы и не ради собственной славы, а ради истины, и то, что препятствует росту знания, он осторожно (*modestè*) устраняет [Sturm, 1698: 22]. Осторожность (*modestia*) у него предполагает критическое отношение не только к мнениям других, но и к своим собственным выводам. Согласно Штурму, критика должна быть не словесной, а предметной, опираться не только на разум и эрудицию, но и на опыт. Он открыто выступает против релятивизма. Ссылаясь на Ф. Бэкона, Штурм утверждает, что «истину следует черпать не из того, что было создано в эпоху процветания, которая изменчива (*non felicitate temporis alicuius, quae res varia est*), а из света природы и опыта, т.е. того, что вечно» [Sturm, 1698: 27].

Очевидность экспериментов и аподиктического доказательства Штурм рассматривает в качестве того критерия, на котором должна



основываться критика. Без ссылки на такого рода очевидности эклектический способ философствования, по его мнению, ничего не сможет сделать. Согласно Штурму, ни основания, ни методы философствования не в состоянии опровергнуть философемы (*philosophemata*), если очевидность необходимых доказательств или экспериментов затем не заставит нас исправить их [Sturm, 1698: 27]. Основное требование, которое эклектики выдвигают к критике, состоит в том, чтобы она способствовала научному прогрессу.

Апеллируя к очевидности, Штурм тем не менее ограничивает область действия очевидности и число очевидных истин. Он противник того, чтобы все, что нам кажется очевидным, считать также истинным. Штурм называет «неправильным способом философствования» (*parva philosophandi ratio*) такой, «который идеи ума обычно переносит на сами вещи и смешивает с ними» [Sturm, 1698: 488]. В частности, он указывает на то, что «мы постоянно думаем, будто вещам самим по себе присуще то, что является лишь основанием измерения (*metiendi rationem*)» [Sturm, 1698: 488], т.е. *ens rationis* рассматриваем как *ens realis*. Тот факт, что многие истины, которые Декарт якобы получил благодаря естественному свету ума, были уже известны другим до него, Штурм рассматривает как свидетельство коллективного характера познания. Рефлектирующий субъект, по его мнению, не может самостоятельно, т.е. не обращаясь к опыту и знаниям других, вывести все из того, что его разуму кажется очевидным. Декарт, согласно Штурму, фактически использует эклектический метод, и его «секты» поэтому можно также отнести к эклектическим [Sturm, 1679: 33]. Единственный путь отыскать «наиболее истинное» эклектики видят в том, чтобы избавиться от догм какой-либо частной секты и усвоить знание всех значительных интеллектуальных традиций.

Штурм требует начинать исследование с рассмотрения различных взглядов по одному вопросу, а затем проверить их и попытаться согласовать. Подобное согласование, по его мнению, должно осуществляться на основе очевидных истин опыта и несомненных доказательств. Так, Штурм рассматривает взгляды Аристотеля, Демокрита, Забареллы и Декарта на материю, а затем проверяет эти взгляды на соответствие опыту, рассматривая их только как гипотезы. Согласование гипотез с опытом и между собой, безусловно, ведет к построению некоторой системы. Но такого рода система носит гипотетический характер и открыта для коррекции, дополнения и дальнейшей разработки.

Эклектики выступали не против систематизации знания вообще, ибо без этого научный прогресс был бы невозможен, а только против того, чтобы подгонять факты под априори сконструированную систему. Определяющими при выборе оказывались три фактора — опыт, аргументы разума и принятые ранее гипотезы: «То, что приверженец какой-либо секты считал так или иначе наиболее истинным или, по



крайней мере, правдоподобным, или безусловно правильным, эклектики отбирают и проверяют, отбрасывая или отрицая осторожно (*modestè*) остальное. Они добавляют свое постольку, поскольку это допускает опыт, аргумент и гипотеза [Sturm, 1698: 8].

Штурм постоянно подчеркивает значение нравственной чистоты мотивов исследователя и правильности его ценностных установок. Согласно Штурму, эклектик «во всех своих действиях поступает не как-нибудь наобум, а всегда обращается за советом к здравому рассудку, а также свободному и очищенному суждению ума, поскольку им движет не слепая любовь к учителю и его отдельным положениям, которые ничего не содержат. И ненависть к противоположным мнениям... не может сбить его с толку или увести с пути истины» [Sturm, 1698: 8]. Ум эклектика должен быть очищен от аффектов и предрассудков. Он не может руководствоваться ни эмоциями, ни другими соображениями, которые могут препятствовать познанию истины. Чистоту нравственных помыслов Штурм рассматривает как необходимое условие и даже характерную черту эклектического способа философствования. «Только тот способ философствования является наилучшим и в наибольшей мере достоин человека, который, исключая всякие аффекты, будь то любовь или ненависть, жадно не поглощает и упорно не сохраняет все то, что дал учитель, и гневно не выступает против утверждений других, которые противоречат его словам, а, рассудив и взвесив все, выбирает самое лучшее и истинное» [Sturm, 1698: 27].

Прогресс науки должен сопровождаться расширением как ее познавательных возможностей, так и способностей исследователя, а также его духовным ростом. Эклектик должен содействовать тому, чтобы в любой отрасли знания ученый мог внимательнее наблюдать (*diligentius observasse*), правильнее судить (*rectius iudicasse*), выдвигать более правильные предположения (*probabilius supposuisse*), чтобы его рассуждения были более истинными (*verius ratiocinatum esse*), а чувства тоньше (*honestius sensisse*) [Sturm, 1698: 22]. Важнейшим качеством эклектика Штурм считает *modestia*, тогда как сектант — это человек упрямый (*mordicus*). Термин «*modestia*» он использует во всех его значениях (скромность, сдержанность, умеренность, осторожность, благоразумие, самообладание). Скромность эклектика означает отсутствие притязаний на абсолютную истину, а также таких качеств, как честолюбие, амбиции, стремление к славе. Все эти качества способствуют сотрудничеству и предполагают открытость для критики и диалога.

Свои требования к методу, утверждает Штурм, эклектик не выдумывает, а черпает из самой жизни. Эклектицизм гораздо ближе к эмпиризму, чем рационализму. «Подлинный метод научного познания естественных вещей, которым пользуются естествоиспытатели успешнее всего в наше время наибольшего роста научного сообщества



и оснащенности естествознания» более подробно Штурм описывает так: «Прежде всего тщательно исследуют сами феномены или действия природы и отдельные обстоятельства их возникновения с помощью разных полезных и несомненных экспериментов; затем, прилежно сравнив их между собой и обдумав разные способы, какими явление (действие) может возникнуть по той или иной <причине>, он в состоянии показать наконец, что истинной и настоящей причиной считается только та, которая подтверждается всеми экспериментами и феноменами так, что из нее с необходимостью вытекает всякое согласие реальных вещей, и считается, что все вместе они не зависят с такой же очевидностью ни от какой иной вещи» [Sturm, 1686: 537–538]. Чтобы проникнуть в суть вещей, физик должен начинать с чувственных данных, которые «скорее предполагаются истинными, чем ошибочно доказываются». Познание действительных вещей начинается с их сравнения, но не сводится к этому. Штурм убежден, что таким путем нельзя достичь достоверности в познании причин. Ближайшие причины видимых следствий и их способ действия «выводятся из данных (Vorfalligkeiten) и принципов (Grundsätze) с помощью ясно доказывающего метода (Lehr-Art) так, что то, что до этого считалось вероятным... теперь приходит к истине и достоверности в той степени, в какой ее по праву можно требовать в такого рода вещах» [Sturm, 1713: 3–4]. Такой переход от вероятности к достоверности становится возможным «вследствие полного и детального согласования данных с принципами и последних с первыми», которое достигается «durch einen klar erweisenden Zuruckgang (благодаря ясно протекающей редукции)» [Sturm, 1713: 3–4]. Под последней, очевидно, имеется в виду идеализация объектов опыта, без которой, как указывал Лейбниц, невозможно успешное применение математических методов в естествознании.

Хотя Штурм был сторонником широкого применения математических методов в естествознании, он, как и многие физики-электики его времени, не порвал связь с аристотелевской традицией. В своей физике он использует понятия материи и формы, возможного и действительного, конечных причин и т.д. Предметом физики, согласно Штурму, являются начала и причины естественных вещей. Материю и форму он относит к внутренним началам, а действующую и конечную причины — к внешним [Sturm, 1713: 2]. Большинство электиков рассматривают физику как наиболее надежное средство познания Бога. Включение теологии в ее состав — характерная черта эклектической физики. Свою физику Штурм также завершает доказательством существования Бога *more geometrico* и обоснованием его главных свойств. У него Бог является независимым, единым и простейшим существом, охранителем всего сущего, всемогущим, всезнающим, вечным, бестелесным и неизменным чистым актом [Sturm, 1697: 911–935]. Путем включения теологии в физику электики рассчитывали примирить разум и благочестие.



Штурм вошел в современные учебники по истории математики и физики как один из основоположников математического и экспериментального естествознания. Наряду с опытом, который «дан сам по себе», он выделяет опыт, который «тщательно и прилежно организуется с помощью вновь открытых инструментов» [Sturm, 1713: 3]. Он первый в европейских университетах вводит экспериментальные курсы, на которых студентам разрешалось свободно общаться и самостоятельно принимать решение. Выдвижение гипотез он рассматривал как корректный научный метод, а эксперимент — как эффективное средство расширения ряда естественных феноменов. Для объяснения феноменов он требовал непредвзято сравнивать и взвешивать различные гипотезы, принимая во внимание не только мнение современников, но и предшественников.

В физике Штурм был одним из первых и наиболее ярких пропагандистов гипотетико-дедуктивного метода исследования. Метод свободного, независимого от влияния какой-либо школы выбора гипотезы становится центральной идеей его эклектической философии. Штурм требовал принимать во внимание феномены и выбирать такие гипотезы, которые дают наиболее простое, ясное и согласованное объяснение их причин. Такого рода гипотезы, по его мнению, более всего соответствуют истине. Роль опыта при выборе гипотез у него становится определяющей. С его точки зрения, достаточно одного противоречащего гипотезе феномена, чтобы отвергнуть гипотезу. Опровержение гипотез Штурм рассматривал как основной путь, ведущий к прогрессу знания.

Значение эклектической философии Штурма высоко оценила Б. Бауэр, которая считает, что в своей «Philosophia eclectica» Штурм фактически подвел итог смены методической парадигмы от аристотелевской теории науки к фаллибилистской экспериментальной науке, в которой конкурирующие гипотезы проверяются экспериментальным путем [Baueg, 1998: 154]. Эклектицизм был лишь одной из идеологий, которые лежали в основе смены научной парадигмы, но его вклад и, в частности, Штурма в становление новой философии науки был чрезвычайно велик. Штурм одним из первых сделал предметом рефлексии новые методы исследования естествоиспытателей и попытался выразить их в виде некоторой философской идеологии.

Заключение

Эклектицизм Нового времени был прогрессивным философским и методологическим течением. Он во многом способствовал духу критицизма своего времени, хотя и трактовал его по-своему. Если философию рационалистов можно рассматривать как результат рефлекс-





сии философами достижений современной математики, то эклектицизм — это в первую очередь продукт рефлексии достижений естествознания того времени. Широкое распространение эклектической философии среди естествоиспытателей XVII–XVIII вв. объясняется их стремлением к выработке единого мировоззрения в условиях многообразия точек зрения на мир и кризиса традиционных ценностей. Эклектицизм выступает как альтернатива, с одной стороны, мистике, пренебрегающей научными фактами и доводами разума, а с другой — механистической философии с ее материалистическими и атеистическими выводами, подрывающими религиозные и нравственные устои общества. С методологической точки зрения эклектицизм, с одной стороны, выступает как альтернатива априоризму систематической философии и синкретизму, некритически объединяющему в единое целое плохо согласующиеся части, а с другой — как альтернатива скептицизму, который ставил под сомнение возможность познания действительности, и догматизму, который эклектики видели в односторонности точек зрения своих предшественников. Он пытается преодолеть в первую очередь односторонность рационализма и эмпиризма. Требование критического отбор гипотез, который позволил бы как отбросить все, что не выдерживает проверки достоверными принципами опыта и разума, так и сохранить все ценное, что было добыто предшественниками, становится отличительной чертой эклектицизма.

Эклектицизм Нового времени позиционирует себя как принципиально новый способ философствования. Основным его требованием становится свобода философствования, которая означает свободу от предрассудков и, в частности, от авторитетов, а также открытость к диалогу, причем как с современниками, так и с мыслителями прошлого. Он привносит в сознание современников дух не только критицизма, но и историзма, противопоставляя деструктивным спорам схоластиков принципиально новую форму научного диспута, ориентированного на рост знания и творческих способностей исследователя. В этом отрицательном отношении к бесполезным спорам и всякого рода спекуляциям выражался столь характерный для эклектиков и эмпириков дух утилитаризма.

Вклад эклектиков в теорию познания и философию науки без преувеличения можно назвать революционным. Познание у них предстает как коллективный, диалогический и исторически развивающийся процесс. Субъектом познания является уже не рефлектирующий субъект, а научное сообщество (*respublica literaria*) со своим кодексом чести. Нравственные принципы для эклектиков — уже не плод размышлений того или иного философа над проблемами добра и зла, а необходимая предпосылка всякого познания, стремящегося к познанию истины. Познание у них становится важнейшей частью и движущей



щей силой общественного прогресса. Эклектики разрабатывают принципиально новый взгляд на истину.

Аппроксимативная теория истины эклектиков разрабатывалась как альтернатива агностицизму и скептицизму, с одной стороны, и догматическим претензиям отдельных философов и школ на обладание абсолютной истиной — с другой. Познание действительности предстает как процесс постепенного приближения к истине. Истина может быть достоянием только всего человечества, а те истины, которыми обладают отдельные люди или группы людей, принципиально ограничены и преимущественно имеют статус лишь гипотез. Но для эклектиков они тем не менее являются важными ступенями на пути к истине.

Переосмысливают они и традиционный взгляд на систему. Исходным пунктом построения системы для них является не умозрительное представление того или иного философа о цели и принципах познания, а опыт, точнее, коллективный опыт научного сообщества. Для них система — это результат не простого приспособления друг к другу различных взглядов, а критической проверки гипотез, решающую роль в которой играют эксперимент и неоспоримые доводы разума. Выдвижение и экспериментальная проверка гипотез, т.е. гипотетико-дедуктивный метод, становится основным средством познания природы. Если рационализм можно назвать философией математиков, то эклектизм Нового времени смело можно назвать философией естествоиспытателей. Он в наибольшей мере сформулировал мировоззрение естествоиспытателей той эпохи и заложил основы новой научной парадигмы. Одним из первых и, пожалуй, наиболее видным идеологом этого мировоззрения стал Иоганн Христоф Штурм.

References

Albrecht, 1994 — Albrecht M. *Eklektik. Eine Begriffsgeschichte mit Hinweisen auf die Philosophie und Wissenschaftsgeschichte*. Stuttgart-Bad Canstatt, 1994.

Bauer, 1998 — Bauer B. Der Fortschritt in der deutschen Physik. Jakob Friedrich Reimann, ein Vorläufer der Hypothese von Frances Yates. *Skepsis, Polyhistorie. Jakob Fridrich Reimann (1668–1743)*, Hrsg. von M. Muslow u. H. Zedemaier. Tübingen, 1998.

Brucker, 1742 — Brucker J. *Historia critica philosophiae*. T. 2. Lipsiae, 1742.

Brucker, 1743 — Brucker J. *Historia critica philosophiae*. T. 4.1. Lipsiae, 1743.

Dreizel, 1991 — Dreizel H. Zur Entwicklung und Eigenart der „eklektischer Philosophie“. *Zeitschrift für historische Forschung*. Vol. 18, 1 23. Berlin, 1991, pp. 281–343.

Gaab, 2004 — Gaab H. *Johann Christoph Sturm (1635–1703)*. Frankfurt am Main: Deutsch, 2004.

Hegel, 1971 — Hegel G.W.F. *Werke in zwanzig Bande*. Hrsg. von Eva Moldenhauer und Karl Markus Mischel. Bd. 2. Frankfurt am. Main: Suhrkamp, 1971.



Hermann, 2003 — Hermann V., Platz K.T. Der Wahrheit auf der Spur: Johann Christoph Sturm (1635–1703). *Mathematiker, Physiker, Astronom*. Buchenbach, 2003.

Hoefler, 1742 — Hoefler J.J., Baier J.D. *Conciliatorum et eclecticorum diversam philosophandi rationem* [...]. Altdorfi, 1742.

Schmidt-Biggemann, 1983 — Schmidt-Biggemann W. *Topica universalis. Eine Modellgeschichte humanistischer und barocker Wissenschaft*. Hamburg, 1983.

Schneider, 1992 — Schneider U.J. Über den philosophischen Eklektizismus. *Nach der Postmoderne*. Hrsg. von A. Steffens. Dusseldorf: Bollmann Verlag, 1992, pp. 201–224.

Schneider, 2002 — Schneider U.J. Leibniz und der Eklektizismus. *Neuzeitliches Denken. Festschrift für Hans Poser zum 65. Geburtstag*. Hrsg. von G. Abel, H.J. Engfer, Ch. Hubig. Berlin & New York, 2002.

Schneiders, 1985 — Schneiders W. Vernünftiger Zweifel und wahre Eklektik. Zur Entstehung des modernen Kritikbegriffes. *Studia Leibnitiana*, ¹ 17/2. Wiesbaden, 1985, pp. 143–161.

Sturm, 1679 — Sturm J.Ch. *De philosophia Sectaria et Electiva Dissertatio Academica*. Altdorfi, 1679.

Sturm, 1686 — Sturm J.Ch. *Philosophia eclectica, h.e. Exercitationes Academicæ*. Altdorfi, 1686.

Sturm, 1697 — Sturm J.Ch. *Physica electiva sive Hypothesica*. T. 1. Norimbergæ, 1697.

Sturm, 1698 — Sturm J.Ch. *Philosophia eclectica, h.e. Exercitationes Academicæ*. T. 1. Francofurti & Lipsiæ, 1698.



Г ИППОКРАТ И АРИСТОТЕЛЬ (К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ ПЕРВЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ)

Ирина Алексеевна Герасимова — доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН.
E-mail: homegera@gmail.com

Личностные компоненты познания (целительство) и рациональные методологии (медицина) неразрывно взаимосвязаны во врачевании периода античности. Делается вывод о существовании высокой логической культуры среди врачей-натурфилософов, в своей практической работе опиравшихся на методы естественной классификации, принципы медицинской семиотики, эмпирические индуктивные обобщения. Разное понимание сути и ценности правдоподобных рассуждений у Гиппократ и Аристотеля обусловлено особенностями дискурсов. Если Аристотель ориентировался на общественно-диалектический дискурс, то во врачебной среде ценилась безошибочность диагностики и воздействия, что достигалось соединением мастерства и рассуждения. Рациональная врачебная традиция в античности имела методологию, но не дошла до логической рефлексии. Учение о необходимой связи логического признака и объекта вывода было развито в буддийской логике, которую можно рассматривать как рациональную составляющую образования в тибетской медицине.

Ключевые слова: целительство, медицина, Гиппократ, Аристотель, правдоподобные умозаключения, естественная классификация, умозаключения от признака, тибетская медицина, буддийская логика.

Н HIPPOCRATES AND ARISTOTLE (ON THE FORMATION OF THE FIRST LOGICAL PROGRAMS)

Irina Gerasimova — PhD in philosophy, chief research fellow, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.

The author argues that an analysis of the texts of the Collection of Hippocrates leads to the conclusion that long before the methodological genius of Aristotle there existed a highly analytical culture among medical professionals. The differences in understanding of the value and objectives of a valid inference in Hippocrates and Aristotle are explained in terms of the characteristics of the discourse that each of them used. Aristotle is argued to have been using a social-dialectical discourse, whereas, in medical practice, a combination of skills and reasoning had the highest value because what was expected from a doctor was the right diagnosis and the right treatment. The author argues that rational medical tradition of antiquity did not reach the logical reflection. According to her, the doctrine of the necessary connection between the logical attribute and the object of inferences had been developed in the Buddhist logic, which, as the author argues, can be considered a rational component of education in Tibetan medicine..

Key words: antique medicine, Hippocrates, Aristotle, plausible reasoning, semiotics, natural classification, reasoning from sign, Buddhist logic.





Изучение античной медицины как практики предостерегает от поспешных выводов об умозрительном характере древнегреческой натурфилософии. В эллинистический период проходили активные дискуссии эмпириков, рационалистов и методистов относительно особенностей медицинского знания, в ходе которых шло становление профессиональной медицины и ее рациональной методологии [Афонасин, 2015; Гален, 2015]. В связи с развитием современных исследований в области биоэтики особый интерес вызывают практически-этические и религиозно-этические установки античных медицинских практик [Верлинский, 1987; Солопова, 2012]. В то же время некоторые ключевые позиции проходят мимо внимания исследователей, главным образом, по причине презентизма — рассмотрения античной культуры сквозь призму фильтров естественно-научной, технологичной медицины¹, как результат ускользают тонкие нюансы древнего врачевания. Основная проблема данной работы — становление рациональной методологии и логических программ в древнем мире, обсуждается при предпосылке единства личностного (магического, целительского, сокровенного) и универсального (рационального, естественно-научного) начал познания и древних практик в целом и в медицине в частности.

Специфические задачи теоретического и опытного познания обусловили возникновение разных логических программ. Аристотель, говоря об умозрительности наук о природе, понимал под умозрительностью теоретическое мышление, опирающееся на логические процедуры: «Не должно оставаться незамеченным, каковы суть вещи и ее определение, ибо исследовать без них — это все равно что не делать ничего» (Метафизика, Кн. 6. Гл. 1. 1023 b 25). Еще платоновский Сократ учил, что без построения языка с помощью определений никакая наука невозможна [Rickless]. Если логическая программа Аристотеля фокусировалась на возможностях конструирования теоретических схем с помощью языка, то в практических занятиях было востребовано скорее понимание языка самой природы. Понятие «природа» в контексте античной философии формировалось в произведениях философов-врачей, означая сущность, начала и причины существующего. Этот смысловой оттенок сохраняется и в понимании Аристотеля. В данной работе я попытаюсь проанализировать взаимоотношения античной логики и античной медицины, сравнивая тексты «отца логики» Аристотеля и «отца медицины» Гиппократов. Сосуществование в современной культуре альтернативных направлений врачевания — естественно-научной медицины и традиционной медицины (индийской, китайской, тибетской) позволяет использовать методы компаративистики в целях восполнения представлений об античной

¹ Например, в учебном пособии, рекомендованном для медицинских вузов [Мирский, 2010].



медицине². Еще одна предпосылка легла в основу методологии статьи: древний мир был более глобален, чем это представлялось ранее, древние школы медицины различались в вариантах понимания общих натурфилософских принципов. Так, теория гуморов сопоставима с аюрведическим учением о трех элементах («тридхату») и трех ошибках («тридоши»), «есть много свидетельств распространенности теории гуморов в античном мире — от Греции через Ближний Восток до Юго-Восточной Азии» [Лысенко, 2015: 133]. Теория пульса античного медика Герофила [Афонасин, Афонасина, 2015] представляет собой попытку рационально осмыслить практику пульсовой диагностики, которой славились древние китайские мастера [Дубровин, 1991] (а возможно, и врачи иных азиатских регионов). Теория о пульсе была развита Галеном и вошла в средневековую практику.

Целительство и рациональная медицина

Гиппократ (460 до н.э. — между 377–356 до н.э.) — потомственный врач, по отцу принадлежал знатному роду, родоначальником которого был Асклепий, «по Гомеру, фессалийский владетель и необыкновенный врач, сыновья которого Махаон и Подалирий, принимавшие участие в троянской войне, также были искусными врачами» [Карпов, 1936: 13]. Во времена Аристотеля (384–322 до н.э.) Гиппократа называли «великим», а всех истинных врачей называли «ятрософистами». Смысл врачебной мудрости поясняется в работе «О благоприличном поведении» «Сборника Гиппократа». «Врач-философ равен богу... все, что ищется для мудрости, это есть и в медицине, а именно: презрение к деньгам, совестливость, скромность, простота в одежде, уважение, суждение, решительность, опрятность, изобилие мыслей, знание всего того, что полезно и необходимо для жизни, отвращение к пороку, отрицание суеверного страха перед богами, божественное превосходство» [Гиппократ, 1936: 111]. Как видно из текста, мудрость подразумевала высокую нравственность, знания, способность мыслить и действовать.

Согласно стандартной точке зрения, рациональная наука современного типа берет начало в античности. Период знания древних цивилизаций как Ближнего, так и Дальнего Востока принято квалифицировать как период преднауки. Я бы внесла уточнение: если принять во внимание волны когнитивной эволюции, то стоит различать период магии и знания на основе магического мировосприятия и период рациональной науки — ее зарождение в недрах античной интеллектуальной культуры. В древних цивилизациях знание было достоянием немногих посвященных — жрецов, сочетало в себе естественно-науч-

² См., например [Демин, 1987; Лысенко, 2009].



ные и сокровенные компоненты, если оценивать с современной точки зрения. Математика сочетала понимание числа в количественном и качественно-символическом аспектах (нумерология или аритмология), астрономия не отделялась от астрологии, технохимия как компонент входила в алхимические занятия, а врачевание составляло единство целительства и медицины (рационального знания и практики в современном понимании). С распространением алфавитного письма в первом тысячелетии до н.э. шли процессы демократизации знаний вместе с усилением рационального компонента. Язык и языковые способы смыслопорождения создавали новые возможности для формирования теоретического мышления [Веденова, 2009]. При этом имеется принципиальное отличие современного типа мышления от рассматриваемого периода: носитель знания гармонично сочетал в себе глубину личностного постижения (личностное знание, по терминологии М. Полани) и возможности универсального сознания в его рациональных языковых формах. Наиболее явно гармонию индивидуально-личного и универсально-человеческого можно проследить на примере врачевания, в котором трудно отделить науку и искусство, если вчитываться в тексты гиппократовского сборника и натурфилософские рефлексии Платона и Аристотеля.

Компонент целительства и стоящего за ним сокровенного знания в искусстве врачевания по мере набирания веса рациональной традиции отходил на второй план, а в науке Нового времени и вовсе был отброшен. В частности, в текстах «Сборника Гиппократов» принцип «сокровенного времени», согласно которому любое действие врача должно соотносываться с космоприродными ритмами (астромедицинский аспект), сохранился в упрощенном понимании, например, явно относительно сезонов. В Средневековье еще сохранялось понимание зависимости поддержания здоровья и результатов проведения медицинских процедур от космоприродных ритмов (главным образом, от солнечно-лунных циклов), врачебная прогностика — ястроматематика — входила в состав обязательных дисциплин в университетах. Принципы ястроматематики озвучены и в древнерусских текстах традиции Галена и Гиппократов [Герасимова, Мильков, Симонов, 2015; Герасимова, 2015].

Обращу внимание на одну распространенную ошибку в понимании вивисекции, на примере которой можно пояснить разницу между естественно-научным и сокровенным восприятием врачебной практики. Рассмотрим текст из учебного пособия М.Б. Мирского: «Известно, что анатомические познания Гиппократов из-за запрета на вскрытие человеческих трупов базировались на аналогии с внутренним строением у животных (он, вероятно, как и его современники Эмпедокл и Демокрит, вскрывал животных)» [Мирский, 2010: 41]. Как сообщает Плиний, Пифагор, Эмпедокл, Демокрит и Платон изучали магию [Фрагменты, 1989: 331]. Благодаря компаративистике приво-



дятся весомые аргументы относительно магического характера врачевания Эмпедокла [Егоров, 2007]. Вивисекция в магических практиках имела астропрогностический смысл: считалось, что при рождении и смерти живого существа на теле запечатлевается картина звездных, космоприродных сочетаний, распознавание которых имеет значение при определении симпатических связей микрокосма и макрокосма.

Проведение многих хирургических операций, равно как изучение анатомии, при современных технологиях не обязательно востребуют прямого вскрытия. В древнем врачевании сложные хирургические операции (типа трепанации черепа), иглоукальвание и иные процедуры существенно опираются на магическое искусство. В когнитивном аспекте целительство предполагает развитость интуитивного восприятия состояний пациента. Главное отличие врачебной диагностики времен Гиппократов от современной заключается в том, что в традиционной медицине усовершенствованные чувства врача, развитая способность профессиональной интуиции считались безошибочными инструментами познания. Дорефлексивное, первичное понимание может быть затем осознано рациональными способами, в которых приемы опытного и логического исследования дополняют друг друга. Тот факт, что профессиональное восприятие, опыт и теоретическое рассуждение взаимосвязаны в древних практиках врачевания, нашло отражение в понимании метода как безошибочного инструмента познания в трудах Платона.

Платон рассматривал знание (*episthmh*) и любое мастерство как безошибочное искусство (*tecnh*): «Думаю, мы только в просторечье так выражаемся: “ошибся врач”, “ошибся мастер счета” или “учитель грамматики”. Я же полагаю, что если же он действительно тот, кем мы его называем, то он никогда не совершает ошибок. По точному смыслу слова, раз уж ты так любишь точность, никто из мастеров своего дела в этом деле не ошибается. Ведь ошибаются от нехватки знания, то есть от недостатка мастерства. Так что, будь он художник, или мудрец, или правитель, никто не ошибается, когда владеет своим мастерством...» [Платон, Государство. 1, 340 d–e]. Медицинская практика — это и наука (*episthmh*) и искусство (*tecnh*), точнее скажем, мастерство. По мысли греческих мудрецов, в своем высшем выражении союз знания и практического мастерства призван гарантировать безошибочность действий и суждений. Понятие ремесла отражает степень несовершенства человека, не достигшего безошибочности и свободы в мыслях и действиях. Мастерство как искусность в значительной мере опирается на развитость интуитивного разума, отличного по своей природе от дискурсивного мышления. Согласно гиппократовой традиции, не каждый мог стать врачом, для этого нужны были природные данные, способность обучаться у природы, способность самообучаться. При этом в раскрытии заложенных природой талантов ведущую роль играет учитель и трансляция знания по личностному



каналу. Врач не может ошибаться, но каждый больной — индивидуальность и течение болезни может не идти по ранее известному пути, что же в таком случае служит гарантией безошибочности? Врачебная практика не исключала «кайрос» — благоприятный случай в исцелении, но даже благоприятный случай не должен для врача быть случайным приобретением. «Кто это знает, должен приступить к лечению, обращаясь прежде всего не к вероятному рассуждению, но к опыту, соединенному с разумом» [Гиппократ, 1936: 119]. Для врача развитые сенсорные инструменты диагностики (вкус, цвет, запах, форма и пр.) сочетались с рациональным изучением симптомов, причин болезней, ее хода, взаимодействия организма с лекарственными средствами. Представитель гиппократовой школы различает очевидные факты и отвлеченные рассуждения, которые он называет правдоподобными. На рациональном пути именно правильная взаимосвязь наблюдения и рассуждения ведет к истине. «Я, — поясняет врач гиппократовой школы, — вместе с тем хвалю и рассуждение, если только оно берет начало из случившегося обстоятельства и достигает вывода из явлений методическим путем» [Гиппократ, 1936: 119]. Целью познания мыслится истина, а не правдоподобие, понимаемое как спекулятивное рассуждение. Врач не может ошибаться, а безошибочность достигается сочетанием профессиональной интуиции, опыта и логики (метода).

Выражение Ньютона «Гипотез не измышляю» стало общим местом, но в свое время оно высказывалось Гиппократом в похожем смысле. Критерий знания врача — согласованность различных источников информации: профессиональные знания, наблюдение, тестирование, личный опыт, рассуждения и, кроме того не просто опрос пациента, но внимательное отношение к свидетельствам и показаниям простых людей (не профессионалов) и обобщение личных историй болезней. Хороший врач не только лечит тело, но и душу, ведь вера в исцеление — наиважнейший фактор выздоровления. «Но если кто не будет применяться к мнению простых людей и располагать таким способом слушателей, тот уклонится от настоящего пути. Вот почему медицина несколько не нуждается в гипотезе» [Гиппократ, 1936: 147]. Врачевание как искусство (целительство) имеет психологическую основу, а во врачевании как науке (медицине) имеет смысл искать естественно-научные основы познания.

Картина мира и теоретические схемы в гиппократовой медицине

Концептуальную роль во врачебной античной практике играло учение о стихиях как системообразующих элементах (схема уровня картины мира). Язык стихий можно рассматривать как один из пер-



вых классификационных языков. Латинское ‘elementa’ является семантическим производным от греческого ‘στοιχεῖα’, где στοιχοῦς — ряд. Уже в самом названии нашел отражение принцип формирования групп из простых начал — букв алфавита и элементов природы. Термин ‘elementa’ образован от ‘эл-эм-эн’ (рус. «абевега»). «Стихия» — старославянская транскрипция греческого термина множественного числа. Выстраивание алфавитов составляет языковую основу операции классификации. Под ней в самом общем виде понимается систематизация знаний, где «понятия означают упорядоченные группы, по которым распределены объекты некоторой предметной области на основании их сходства в определенных свойствах» [Субботин, 2001: 9].

В аспекте врачебных практик имела значение аристотелевская классификация стихий-первоэлементов, согласно которой четырем стихиям сопоставлены их сущностные и сопряженные качества: земле — сухость (холодность), воде — холодность (влажность), воздуху — влажность (теплота), огню — теплота (сухость). Посредством сопряженного качества одна стихия перемешивалась с другой, порождая, таким образом, все многообразие вещей. Данная классификационная схема не плод изобретения Аристотеля, который скорее всего придал емкую формулировку одной из бытовавшей в его время медицинских схем. Саму классификацию стоит рассматривать как естественную классификацию, в ней нашла отражение идея жизненных циклов, к которой наблюдается обновленный интерес в современных хронобиологии и хрономедицине. Стихийной четверице соответствовали четыре сезона, четыре стороны света (и соответствующая роза ветров), четыре возраста в жизненном цикле, четыре конституции. Четверица задавала описание универсального периодического процесса с выделением фазы, противофазы и двух фазовых переходов. Примером могли служить фазы лунных циклов — новолуние, полнолуние и две четверти, а также солнечный год, разделенный на равноденствия и солнцестояния.

Классификационной стихийной схеме Аристотель придал метафизический (предельный) характер. Вполне объясним тот факт, что в логическом учении Аристотеля процедура наведения мыслилась как операция последовательного проведения родовидовых определений вплоть до коренных, родовых противоположностей — стихий (Физика. Кн. 1 (А). Гл. 5–6)³. В Средние века среди алхимиков пользовался популярностью квадрат противоположностей Аристотеля: четыре первоэлемента составляли один квадрат, четыре качества — другой квадрат, наложенный на первый. Отношения между элементами описывались в логических понятиях противоположности (contraria): в наиболее популярном варианте огонь противопоставлялся воде, а воздух — земле.

³ Здесь и далее ссылки даются по изданию: [Аристотель, 1975; Аристотель, 1978; Аристотель, 1981].



Сочетание качеств по диагонали описывалось в терминах комбинации невозможного, а по сторонам квадрата — в терминах возможного.

Во врачебной практике стихии-первозлементы задавали свойства конкретных вещей: классификация растений, лекарственных средств, индивидуальной конституции, динамики сезонов, типов жидкостей проводилась по стихиям. Аристотель, систематизировавший учения древних, иногда дает механистически-пространственную интерпретацию и стихиям, и мельчайшим гомеомериям и атомам, что вполне объяснимо с точки зрения стереотипов восприятия (Аристотель. О небе. 302 а 28). В последующей истории науки онтологическое понимание простых элементов привело к путанице и заблуждениям. Стихии можно назвать первоземлемыми метауровня, это системообразующие элементы, объединяющие материальное и психодуховное начала мироздания. Стихийный принцип организации материи, по мысли древних, обеспечивает универсальную связь всего со всем, космическое единство мироздания по всем его сферам, разрозненные элементы собираются Логосом по принципу сродства по стихиям.

В одном из произведений в «Сборнике Гиппократов» автор предостерегает от действий по шаблону, упрощенному пониманию теоретической схемы, которая есть всего лишь навигатор, но не прямое указание для вывода и действия. Он обращается к тем, «которые на основании нового метода ищут искусства, исходя из гипотезы... предлагая помогать теплом через холодное, холодному посредством теплого, сухому посредством влажного и влажному через сухое» [Гиппократ, 1936: 155]. Принцип лечения противоположного противоположным не стоит понимать примитивно, ведь в еде и лекарствах все стихийные элементы перемешаны, при манипуляциях с пищей, скажем при нагревании, стихийные качества веществ меняются. Стоит различать качества самих по себе веществ и их качества в новом образовании. То же замечание касается и качеств, определяемых с помощью вкуса и других чувств: «Есть в человеке и горькое, и соленое, и сладкое, и кислое, и жесткое, и мягкое, и многое другое в бесконечном количестве, разнообразное по свойствам, количеству и силе» [Гиппократ, 1936: 157]. Страдания от прямой перемены холодного на теплое автор демонстрирует на примере тех, кто отморозил ноги или руки на холоде, а затем в теплом месте укрылся одеждой, страдая от жары и зуда. Неоправданный контраст вреден, необходимо вдумчивое исследование сложной стихийной динамики состояний организма в конкретной ситуации. В ходе дальнейшего развития рационального метода в Средние века были выработаны более детальные классификационные схемы, учитывающие смешение элементов, степени их качеств, многообразие чувственных анализаторов (особенно многообразие вкусов)⁴.

⁴ См., например: [Амасаици, 1990].



В динамическом отношении смена сезонов влекла за собой перераспределение элементов в природе и в человеческом теле. «Вследствие перемен года, — пишет Гиппократ, — они то увеличиваются, то уменьшаются: каждый в своей пропорции и сообразно природе» [Гиппократ, 1936: 202]. Прогностика сезонных заболеваний выстраивалась с учетом сезонной динамики и трансформаций в четырех жидкостях, отсюда вывод: «Врачу надлежит лечить болезни, обращая внимание на каждый из тех элементов, который преобладает в теле, сообразно с временем года, наиболее соответствующим его природе» [Гиппократ, 1936: 203].

Вошедшие в теоретическую схему обобщения эмпирического характера касались условий конкретной местности: розы ветров, качества вод, расположения города по отношению к солнцу и природному магнетизму (север–юг, восток–запад), качества земли («О воздухах, водах и местностях»). Далее шли теоретические схемы типичных заболеваний и эпидемий в конкретных условиях местности. На уровне человека учитывались психотипы (темпераменты) личностей, в основе классификации которых опять-таки лежит принцип стихий. Значительный корпус теоретических схем составляли эмпирические обобщения корреляции симптомов и заболеваний, описания синдромов, методов диагностики, прогностики, методов лечения и пр. Теоретические схемы позволяли составить абстрактную модель диагноза, конкретная модель вырабатывалась в ходе диагностики конкретного пациента и анализа конкретных обстоятельств (путь чувственного восприятия, индукции, аналогии, гипотезы), а также сопоставления с абстрактной моделью.

Развитие языковых форм рефлексии отражалось и во врачебных текстах. В работе «О природе человека» врач гиппократовой школы доказывает несостоятельность мнения о том, что человек есть единое или что природа его тела подчинена единому началу. Поддерживая традицию гуморальной медицины, ятрософист выделяет четыре жидкости — кровь, слизь и желчь, желтую и черную, которые распределяются по стихийному элементу и из которых состоит природа тела — воздух, вода, огонь и земля (соответственно). «Тело бывает здоровым наиболее тогда, когда эти части соблюдают соразмерность во взаимном смешении в отношении силы и количества и когда они наилучше перемешаны», в противном случае тело болеет [Гиппократ, 1936: 199].

В доказательстве тезиса о множественности стихийных природ человека автор приводит аргументы от языка и от общественного установления, ссылаясь на то, что «имена их по установленному обычаю различны и что ни одному из них не дано одного и того же имени; затем что по природе виды их различны и ни слизь никоем образом не похожа на кровь, ни кровь на желчь, ни желчь на слизь, ибо какое может быть естественное сходство их между собой, когда они не представляются похожими ни по цвету для глаза, ни по осязанию для ру-



ки, когда они не бывают сходны ни в отношении тепла, ни холода, ни сухости, ни влажности?... каждое из них имеет собственную свою силу и природу» [Гиппократ, 1936: 199–200].

Различие природ жидкостей подтверждает действие соответствующих лекарств. Подразумевается, что лекарства действуют по типу средства. Например, очистительное лекарство «прежде всего извлекает все то, что ему из всех элементов, существующих в теле, наиболее сродно по природе, а затем уже извлекает и очищает все остальное» [Гиппократ, 1936: 201]. Все элементы постоянно содержатся в теле человека, но увеличиваются или уменьшаются в соответствии с сезонной динамикой, что также можно наблюдать в жизни. Ссылка на акты именования, установленные традицией, предполагала развитость языковой рефлексии и действенность доводов такого типа.

Понимание индукции и правдоподобия Аристотелем

В становлении рациональной методологии врачи-философы и основатель логической науки преследовали разные цели. Центральной проблемой для Аристотеля был вопрос о возможностях языка в постижении и выражении сущего. Стагирит отдавал предпочтение необходимому знанию, добываемому посредством языка, отсюда учение об асерторических и аподиктических силлогизмах наиболее развито. Учение о рассуждениях на основе мнения в корпусе «*Органона*» относится к диалектике. Правдоподобные рассуждения, основанные на вероятностном мнении, также могут быть исследованы научным методом. В «*Топике*» Аристотель формулирует основные приемы и правила корректных правдоподобных рассуждений. В отличие от эристики, целью которой служит спор сам по себе, в диалектических беседах «рассуждают не ради спора, а ради приобретения навыка или исследования истины» [Тописка. Кн. 8. Гл. 5. 159а, 30].

Аристотель выявляет тонкие детали теории определения, классифицирует ошибки процедуры определения. В его текстах имеется много примеров из врачебной практики. Например, античный логик предупреждает быть внимательным к тавтологиям в определениях, если одно понятие предполагает другое, то излишнее стоит исключить. В ряде случаев некорректно прибавляют к общему и частное. Пример Аристотеля: «Если врачебное искусство определяют как знание о том, что полезно для здоровья живого существа и человека» [Тописка. Кн. 6. Гл. 3. 141а, 15], делают ошибку указанного типа, ведь родовое понятие живого существа включает как вид понятие человека.

Аристотель развивает довольно стройное учение о противоположностях, которое последовательно применяет в трудах метафизического, естественно-научного, этического и политического содержа-



ния. В «Категориях» Стагирит проводит тонкие различия между «соотнесенным», «противоположным», «противоречивым». Соотнесенное мыслится как то, что оно есть в связи с другим [Категории. 7. 6а 35]. Среди соотнесенного могут быть части целого, например «крыло птицы» (предметная функция), парные понятия в системе, например «элемент и множество», свойства, образованные от отношения («быть больше Петра»). Противоположное отличается от соотнесенного, противоположности предполагают нечто среднее. На современном языке их можно определить как крайние проявления линейного свойства, обладающего интенсивностью. Как правило, противоположности переходят друг в друга. Пары противоположностей, которые способны переходить друг в друга, Аристотель называет родовыми (т.е. линейное свойство задает род) [Физика. Кн. 1. 5. 188а 35]. Аристотель различает особый вид противоположностей (enantia), который он назовет противоречием (antiphrasis). Между противоречивыми началами нет ничего среднего [Категории. 10, 12а].

Аристотель считает, что нет ничего среднего между здоровьем и болезнью (эмпирические утверждения), между четным числом и нечетным числом (математические утверждения). В отношении применения закона противоречия классической логики стоит иметь в виду позицию самого мыслителя. В его учении закон противоречия распространяется на бытие в действительности, но ограничен в отношении бытия в возможности (Метафизика. Кн. 4. 4, 1009 30–35). Понятие противоречия у Аристотеля используется в контексте речи, тогда как родо-видовые противоположности мыслятся как конститuentы бытия [Герасимова, 2010: 47–61]. Можно предположить, что состояние «нездоровья» мыслитель отнес бы к становлению процесса. Состояние середины как меры в динамике противоположностей у Аристотеля осмысляется в разных аспектах — онтологическом, логическом, этическом, политическом. Середина в отношении вещей и в отношении людей отличается, ведь каждый человек уникален: «Серединною же по отношению к нам называю, — пишет Аристотель, — то, что не избыточно и не недостаточно, но такая середина не одна и не одинакова для всех» [Никомахова этика. Кн 1. 1106а 25–30].

Принцип релятивности знания имел практическое выражение во врачебном искусстве. Индивидуальный подход к пациенту был принципом гиппократовой школы, отсюда важной задачей становилось выявление, описание и объяснение конкретной ситуации и истории болезни, а не общего. Мера как принцип восстановления равновесия соразмерялась с индивидуальными особенностями человека. В текстах Гиппократов приводится множество примеров нарушения меры в питании и образе жизни и необходимости рекомендаций, в соответствии с личностными особенностями пациента. «Все причины страдания, — пишет Гиппократ, сводятся к одному и тому же: самое силь-



ное больше и очевиднее всего вредит человеку как здоровому, так и больному» [Гиппократ, 1936: 150]. Например, в большинстве случаев для нуждающихся в более легкой пище изобрели похлебки, но некоторым людям они не приносят пользы: «принятое питает и увеличивает болезни, разрушает и ослабляет тело» [Гиппократ, 1936: 150]. Из сказанного опять-таки не следует, что более сильные вещества вредны, а более слабые нет, что очевидно на примере города, влияние которого ослабляет природу человека. «Поэтому нужно искать какую-нибудь меру. Меры же этой, ни веса, ни числа какого-либо, соображаясь с которым можно было бы узнать точно, ты не найдешь иной, кроме ощущений. Поэтому дело заключается в том, чтобы изучить эту меру настолько точно, чтобы ошибаться лишь немного в ту или другую сторону. И я сильно хвалил бы того врача, который в этом случае мало ошибается» [Гиппократ, 1936: 152]. В определении меры в тонкой подстройке организма пациента, как видно, требуются не только знание и наблюдательность врача, но и его искусство как развитое чувство меры, что сродни художественному чувству вкуса и прекрасного.

В аристотелевской «Топике» правдоподобное определяется как то, что представляется правильным большинству или мудрым (аргументы от общественного установления или традиции). Если силлогизм используется преимущественно в спорах, то другой способ — наведение (индукция) предназначен для восхождения от чувственно воспринимаемого единичного к абстрактному общему. Аристотель приводит простой пример перечислительной индукции: «если кормчий, хорошо знающий свое дело, — лучший кормчий и точно так же правящий колесницей, хорошо знающий свое дело, — лучший, то и вообще хорошо знающий свое дело в каждой области — лучший» (Топика. Гл. 12. 105a 10–15). Стагирит методически раскрывает пути движения мысли при помощи наведения: «В одних случаях пользующийся наведением может прийти к общему, задавая вопросы, в других это нелегко, потому что не у всего сходного общее имя» (Топика. Гл. 2, 157a, 20). В поисках общего сначала выделяют сходные случаи, затем детально изучают выделенные случаи, отбирая не подпадающие под общее правило. В поиске примеров подпадающих под общее определение Аристотель советует внимательно относиться к именам, одноименность и многозначность могут вводить в заблуждение.

Умозаключения от признака и буддийская логическая программа

Формирование рациональной методологии во врачебной практике задавалось не столько универсально-языковыми установками теоретического мышления, а скорее натуралистическими установками



конкретно-эмпирических задач. Установка на безошибочность метода в конкретных условиях востребовала иные методологические принципы, которые негласно принимались в античной медицине, но в форме рефлексивной методологии были осознаны в индийской и буддийской логике, неразрывно связанными с врачебными практиками в восточных школах. Центральным в практической логике становятся так называемые «умозаключения от признака», статус заключений в которых напрямую зависит от умения домысливать целое по выделенным признакам.

В работе «О софистических опровержениях» Аристотель исследует причины паралогизмов — мнимых опровержений. Представляет интерес класс паралогизмов, которые Стагирит относит к опровержениям от следования: если есть следование, то это не значит, что имеется обратная связь. Другими словами, идет смешение условной связи (выраженной через импликацию) с эквивалентностью. Из истинности «если A , то B », еще не следует «если B , то A ». Дается пример из врачебной практики: «Если у больного лихорадкой жар, не следует, что все, у кого жар, болеют лихорадкой» [О софистических опровержениях. Гл. 5. 167b 15]. Аристотель поясняет сказанное на примере широко распространенных в красноречии «доказательств от признака», которые основаны на следовании. Приводится пример из повседневной жизни: желая доказать, «что кто-то есть прелюбодей, делают этот вывод из того, что он щеголь или что его видели шатающимся ночью». Здесь признаков для заключения явно недостаточно, следование не необходимо.

Выделение признаков, которые играли роль ключа в понимании сути вещей, — древнейшая логическая операция, как в обыденном познании, так и в развитых рациональных практиках. Она основана на систематическом наблюдении за природой и эмпирических обобщениях (не отсюда ли понимание индукции как «наведения»?). Важнейшую роль в сельскохозяйственной деятельности играли приметы и знамения, когда по характерным признакам судили об изменениях погоды, вели измерение времени («звездные часы»), распознавали изменения в ритмах природы и прогнозировали состояния организма. По характерным признакам судили о состоянии и направлении изменений целого. Например, указание на грядущие перемены давали «живые приборы» — растения, насекомые, рыбы, животные. В логико-методологическом аспекте можно говорить о прагматическом следовании в контекстах типа «Медузы приближаются к берегу, значит, будет шторм». Изменения в среде, зафиксированные анализаторами медуз, служат основанием для прогностики дальнейшего хода событий. Как установлено биологами, в воде медузы принимают акустические инфразвуковые сигналы примерно за 20 часов до того, как шторм дойдет до места их обитания [Симаков, 2003: 41]. Состояния расте-



ний подсказывало, когда проводить сельскохозяйственные работы. «Появились подснежники — пора начинать пахоту. Зацвела осина — вели ранний сев моркови. Душистые цветки белой черемухи говорят о наступлении времени посадки картофеля» [Симаков, 2003: 48].

Умозаключения от признака в профессиональной деятельности врача являются чуть ли не основными. В монографии «Логика и клиническая диагностика» [Смирнов, 1994] различают четыре уровня диагностики, на каждом уровне диагностики имеются различные этапы, которые сопряжены с логическими операциями. На первом симптоматологическом уровне диагностики устанавливается состояние здоровья и определяется анатомическая локализация болезни. Это уровень самого первого осмотра и знакомства с пациентом, на его первом этапе — первичном осмотре — первостепенную роль играет чувственное восприятие, приемы аналогии и индукции. На втором этапе — установлении анатомической локализации болезни — приоритет отдается аналогии, чувственному восприятию и индукции. На втором синдромологическом уровне формулируются клинические синдромы — интегративные качества симптомов, которые мыслятся как целостные образы. Выделяется ведущий синдром, определяется характер общепатологического процесса. К ведущим логическим операциям второго уровня диагностики относят индукцию, дедукцию, гипотезу.

На последующем уровне диагностического познания — установлении абстрактного нозологического диагноза в логических операциях приоритет переходит к дедукции и гипотезе, но на завершающем уровне — установлении конкретного клинического диагноза — вновь востребована индукция, в результате достигается мысленно-конкретное представление. Данная классификация достаточно условна, тем не менее дает представление о постоянных переходах от наблюдения (чувственного восприятия) и опытного знания к рассуждению индуктивного и дедуктивного типа и обратно, пока окончательно не сформируется диагноз. В части 3 указанной монографии, написанной В.А. Смирновым, рассматриваются различные логико-методологические модели диагноза, в том числе предлагаются способы выражения индуктивных рассуждений на языке дедуктивной логики.

Выделение так называемых симпатических признаков — сигнатуры качеств, указывающих на космоприродные, стихийные соответствия, составляло основу семиотики древней медицины [Герасимова, 2015]. Если симпатические признаки рассматривались как глубинные показатели, то найденные опытным путем характерные признаки можно отнести к уровню видимой (поверхностной) диагностики.

Теоретические схемы уровня симптомов и синдромов описаны во многих сочинениях школы Гиппократов, в частности в общем виде в «Прогностике», «О диете при острых заболеваниях», «О внутрен-



них страданиях», в «Афоризмах» [Гиппократ, 1936]. В указанных сочинениях мы находим обороты с условной связкой «если ... то», которая выполняет многочисленные функции: связывает языковыми средствами симптомы (признаки) и заболевания, причины и следствия, указывает на возможный ход болезни, на возможные исходы воздействий (приема лекарств и пр.), на то, что полезно, бесполезно или вредно при данных условиях и пр.

Приведем ряд примеров. В качестве теоретической схемы, полученной индуктивным путем, можно рассматривать следующий афоризм, отражающий возможности диеты в разных возрастных категориях: «Старики весьма легко переносят пост; во вторую очередь — люди взрослые, труднее — дети, и из этих последних — те, которые отличаются большой живостью» [Гиппократ, 1936: 697]. Многовековые наблюдения получают объяснение в концептуальной схеме (путь дедукции): «Дети, которые еще растут, имеют весьма много врожденной теплоты и поэтому нуждаются в весьма обильной пище; в противном случае тело их истощается. Но у стариков остается мало теплоты; поэтому они довольствуются малым питанием, ибо от избытка последнего телота легко бы исчезла. Через это самое лихорадки у стариков не так остры, ибо тело у них холодное» [Гиппократ, 1936: 697]. Под внутренней теплотой в традиционной медицине понимают модификации стихии огня (изначальной энергии), дающей и поддерживающей жизнь тела. Огонь-теплота в детском возрасте отвечает за рост тела, а во взрослом возрасте — за поддержание жизненных процессов тела. К старости стихия огня доминирует в процессах психического характера (творчество, мудрость), но деятельность стихии огня угасает в жизни стареющего тела.

Пример умозаключения от признака: «Те, у которых нос по природе слишком влажен, и семя более жидкое, — более слабого здоровья, а у кого противоположное — более крепкого здоровья» [Гиппократ, 1936: 695]. «Если у кого будет поранен мозг, у этих по необходимости наступает лихорадка и рвота желчью» [Афоризмы, 6. 50], «У одержимого икотой появление чихания прекращает икоту» [Гиппократ, 1936: 697].

Пример симптома как знаковой ситуации: «Если в какой-либо болезни сон производит страдание, болезнь — смертельна; если же сон облегчает страдание — она не смертельна. Когда сон успокаивает бред, это хорошо. Сон и бессонница, то и другое сверх меры проявляющиеся, — худой знак» [Гиппократ, 1936: 695].

В XIX в. Чарльз Пирс разработал разветвленную классификацию знаков, среди которых весомое место было отведено знакам-индексам. Индекс он интерпретировал как «знак, отсылающий к объекту, который он обозначает в силу того, что он действительно подвергается воздействию этого Объекта» [Пирс, 2000: 2.248]. Исторически



впервые значение индексов в познании было осознано и закреплено в методологии буддийской логики (индийской логики в целом), которая входила в образование тибетских врачей.

Мастерство врача проявлялось в способности находить диагностические признаки, которые устанавливают необходимую связь между признаком и распознаванием состояния больного. «Понятие неразрывной связи, — пишет Жамбалдагбаев, — является по существу центральным для буддийской логики и тем самым во многом определяет специфику этой логики» [Жамбалдагмаев, 1998: 163]. Неразрывность связи между логическим признаком (основанием вывода) и объектом вывода предполагает выполнение трех условий — (1) должно быть указано наличие или отсутствие отношения присущности между основанием вывода и выводимым («огонь всегда предполагает дым»); (2) логическое основание всегда должно присутствовать в случаях, «подобных выводимому»; (3) основание вывода должно отсутствовать в случаях «не подобных выводимому» [Лысенко, Канаева, 2014: 103]. Жамбалдагбаев обращает внимание на тот факт, что в основополагающем трактате тибетской медицины «Чжуд-ши» логика как таковая в явном виде не упоминается [Жамбалдагмаев, 1998: 163], однако каноническая для всей индийской логики связь «дым — огонь» упоминается как указание на логический эталон любого рассуждения данного типа. Так, фраза из 24 главы II части трактата имеет смысл:

«Как до дыму огонь,
Так по признакам распознавай болезни».

Распознавание сути явлений жизненного окружения по характеристическим признакам или знакам-индексам составляет основу жизненного опыта человека, нельзя не согласиться с Пирсом в их оценке: «[Индекс] это — знак, или репрезентация, которая отсылает к своему объекту не столько в силу сходства или аналогии с ним; или потому, что он ассоциируется с общими свойствами, которыми этот объект обладает, сколько потому, что он состоит в динамической (включая и пространственную) связи как с индивидуальным объектом, с одной стороны, так и с чувствами или памятью человека, для которого он служит знаком, — с другой. Ни одно фактическое положение дел не может быть установлено без применения знака, служащего индексом» [Пирс, 2000: 2.305]. Не только практическая медицина, но и все опытное естествознание работает со знаками-индексами. В процедурах диагностики, анализа, прогностики, проектно-конструктивной деятельности имеет значение выделение как типических (отражающих общее и универсальное), так и индивидуалистических признаков (отражающих частное и конкретное).



Проведенный анализ позволяет сделать некоторые выводы относительно изучения истории медицины и будущих перспектив биомедицинских практик. Есть соблазн искать в истории то, чего там нет и не могло быть. Согласимся с оценкой историка науки А.Н. Медведя, который обращает внимание на тот факт, что в распространенных учебниках истории медицины не различаются целительство и рациональная медицина [Медведь, 2013; Медведь, 2014], и, как следствие, там, где правомерен культурно-антропологический, социокультурный и психологический анализ, ищут естественно-научные основания. В исследованиях древней медицины, в том числе и гиппократовой школы, преобладают естественно-научные фильтры современной технологичной медицины, не воспринимается культурно-семиотическая система стихийных соответствий. Наиболее опасной тенденцией видится умаление, а то вовсе исключение личностного начала из медицинской практики. Более перспективным представляется выявление новых форм союза искусства (мастерства) и науки в таком древнейшем занятии, как врачевание [Герасимова, 2014].

Библиографический список

- Амасиаци, 1990 — *Амирдовлат Амасиаци*. Ненужное для неучей : Научное наследство. Т. 13 : пер. с армянского, комм. С.А. Варданян. М. : Наука. 1990. 880 с.
- Аристотель, 1975 — *Аристотель*. Соч. В 4 т. Т. 1 ; под ред. В.Ф. Асмуса. М. : Мысль, 1975. 550 с.
- Аристотель, 1978 — *Аристотель*. Соч. В 4 т. Т. 2. ; под ред. З.Н. Микеладзе. М. : Мысль, 1978. 687 с.
- Аристотель, 1981 — *Аристотель* Соч. В 4 т. Т. 3. ; вступ. ст. и прим. И.Д. Рожанского. М. : Мысль, 1981. 613 с.
- Афонасин, 2015 — *Афонасин Е.В.* Гален «О толках для начинающих» // СХОЛН, 2015. Vol. 9.1. P. 56–58.
- Афонасин, Афонасина, 2015 — *Афонасин Е.В., Афонасина А.С.* Герофил о пульсе // СХОЛН, 2015. Vol. 9.1. №. 93–104.
- Веденова, 2009 — *Веденова Е.Г.* Граница, континуум и число // Число : отвл. ред. А.А. Кричевец. М. : МАКС Пресс, 2009. С. 79–81.
- Верлинский, 1987 — *Верлинский А.Л.* Медицинские аналогии и проблема практического применения знания у Платона и Аристотеля // Некоторые проблемы истории античной науки. Л. : ИИЕТ, Главная астрономическая обсерватория, 1987. С. 90–111.
- Гален*. О толках для начинающих // СХОЛН, 2015. Vol. 9.1. С. 59–72.
- Герасимова, 2010 — *Герасимова И.А.* Единство множественного (эпистемологический анализ культурных практик. М. : Альфа-М, 2010. 304 с.
- Герасимова, 2014 — *Герасимова И.А.* Биомедицинские технологии как проблема истории и философии науки // Эпистемология и философия науки. 2014. № 2. С. 5–18.
- Герасимова, 2015 — *Герасимова И.А.* «Галеново на Гиппократата» в контексте астромедицины // Вопросы философии. 2015. № 1. С. 51–60.



Герасимова, Мильков, Симонов, 2015 — Герасимова И.А., Мильков В.В., Симонов Р.А. Сокровенные знания Древней Руси // Памятники древнерусской мысли: исследование и публикации. Вып. VIII. М. : КНОРУС, 2015. 680 с.

Гиппократ, 1936 — *Гиппократ*. Избранные книги : пер. с греч. В.И. Руднева ; ред., вступ. статьи и примечания В.П. Карпова. М. : Гос. изд. биологической и медицинской литературы, 1936. 736 с.

Гиппократ, 2009 — *Гиппократ*. Афоризмы : пер. с греч. В.И. Руднева ; ред., вступ. статьи и примечания В.П. Карпова. М. : ЭКСМО, 2009. 400 с.

Демин, 1987 — Демин Р.Н. Астрономические представления в Гиппократовом корпусе // Некоторые проблемы истории античной науки. Л., 1987. С. 47–56.

Дубровин, 1991 — Дубровин Д.А. Трудные вопросы классической китайской медицины. Л. : Аста-пресс, 1991. 227 с.

Егоров, 2007 — Егоров А.С. Эмпедокл и проблема греческого шаманизма // Вопросы философии. 2007. № 8. С. 97–105.

Жамбалдагмаев, 1998 — Жамбалдагмаев Н.Ц. Буддийская логика и диагностика в тибетской медицине // Труды научно-исследовательского семинара Логического центра Института философии РАН, 1997. М. : ИФРАН, 1998. С. 163–169.

Карпов, 1936 — Карпов В.В. Гиппократ и Гиппократов сборник // Гиппократ. Избранные книги. М. : Гос. изд. биологической и медицинской литературы, 1936. С. 9–81.

Лысенко, 2009 — Лысенко В.Г. Аюрведа // Индийская философия. Энциклопедия. М. : Вост. лит. : Академический проект: Гаудеамус, 2009. 950 с.

Лысенко, Канаева, 2014 — Лысенко В.Г., Канаева Н.А. Шантаракшита и Камалашила об инструментах достоверного познания. М. : ИФРАН, 2014. 295 с.

Медведь, 2013 — Медведь А.Н. Древнерусское врачевание: современное состояние, исследование и библиография. М. : МБА, 2013. 84 с.

Медведь, 2014 — Медведь А.Н. Антропология болезни в Древней Руси (X–XVII вв.). Очерки истории. М. : МБА, 2013. 232 с.

Мирский, 2010 — Мирский М.Б. История медицины и хирургии : учебное пособие для студентов высш. проф. обр. М. : ГЭОТАР-Медиа. 2010. 528 с.

Пирс, 2000 — Пирс Ч. Избранные философские произведения. М. : Логос, 2000. 448 с.

Симаков, 2003 — Симаков Ю.Г. Животные анализируют мир. М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2003. 224 с.

Смирнов, 1994 — Смирнов В.А., Анисов А.М., Арутюнов Г.П., Дмитриев Д.В., Мелентьев А.С., Михайлов Ф.Т. Логика и клиническая диагностика. Теоретические основы. М. : Наука. 1994. 297 с.

Солопова, 2012 — Солопова М.А. *Vita brevis*: к толкованию первого афоризма Гиппократа // Философский журнал. 2012. № 1(8). С. 5–25.

Субботин, 2001 — Субботин А.Л. Классификация. М. : ИФРАН, 2001. 94 с. Фрагменты ранних греческих философов : отв. ред. И.Д. Рожанский, ред. А.В. Лебедев. Ч. I. М. : Наука, 1989. 576 с.

Rickless — Rickless S.C. Socrates' Theory of Definition. — [http://philosophyfaculty.ucsd.edu/faculty/rickless/Phil100/Phil100-Socratic Definition.htm](http://philosophyfaculty.ucsd.edu/faculty/rickless/Phil100/Phil100-Socratic%20Definition.htm)

References

Amasiatsi A. *Unnecessary for ignoramus: scientific inheritance* [Незачное дlya неучей: Научное наследство], vol. 13, transl. by S.A. Vardanyan. Moscow: Nauka, 1990. 880 p.



Aristotle. *Collected works in 4 volumes*. Vol. 1, ed. by V.F. Åsmus. Moscow: Mysl', 1975. 550 p.

Aristotle. *Collected works in 4 volumes*. Vol. 2, ed. by Z.N. Mikeladze. Moscow: Mysl', 1978. 687 p.

Aristotle. *Collected works in 4 volumes*. Vol. 3, intr. by I.D. Rozhansky. Moscow: Mysl', 1981. 613 p.

Afonasin E.V. Galen "On rumors for beginners" [Galen «O tolkach dlya nachinayushhikh»]. ΣΧΟΛΗ. 2015. Vol. 9.1, pp. 56–58.

Afonasin E.V., Afonasin A.S. Herophilus on pulse [Gerofil o pul'se]. ΣΧΟΛΗ. 2015. Vol. 9, pp. 93–104.

Vedenova E.G. Border, the continuum, the number [Granitsa, kontinuum i chislo]. In: *The number – Chislo*. Ed. by A.A. Krichevets. Moscow: MĀKS Press. 2009, pp. 79–81.

Verlinskij Ā.L. Medical Analogies and the problem of practical applying of Plato and Aristotel knowledge [Meditsinskie analogii i problema prakticheskogo primeneniya znaniya u Platona i Aristotelya]. In: *Some problems of the history of ancient science — Nekotorye problemy istorii antichnoj nauki*. Leningrad: IET, Glavnaya astronomicheskaya observatoriya. 1987, pp. 90–111.

Galen. On rumors for beginners [O tolkach dlya nachinayushhikh]. ΣΧΟΛΗ. 2015. Vol. 9.1, pp. 59–72.

Gerasimova I.A. *The unity of plurality (epistemological analysis of cultural practices)* [Edinstvo mnozhestvennogo (ehpistemologicheskij analiz kul'turnykh praktik)]. Moscow: Al'fa-M, 2010. 304 p.

Gerasimova I.A. Biomedical technologies as a problem of history and philosophy of science [Biomeditsinskie tekhnologii kak problema istorii i filosofii nauki]. *Epistemology and philosophy of science*, 2014, no.2, pp. 5–18.

Gerasimova I.A. Galenovo on Hippocrates in the context of astromedicine [«Galenovo na Gippokrata» v kontekste astromeditsiny]. *Problems of philosophy — Voprosy filosofii*, 2015, no.1, pp. 51–60.

Gerasimova I.A., Mil'kov V.V., Simonov R.A. Sacred knowledge of Old Russia [Sokrovennye znaniya Drevnej Rusi]. In: *The thought in Old Russia — Pamyatniki drevnerusskoj mysli: issledovaniya i publikatsii*, vol. VIII. Moscow: KNORUS, 2015. 680 p.

Hippocrates. *Selected books*. Transl. by V.I. Rudnev. Moscow: Gos. izd. biologicheskoy i meditsinskoj literatury, 1936. 736 p.

Hippocrates. *Aphorisms* [Aforizmy]. Transl. by V.I. Rudnev, V.P. Karpov. Moscow: EHKSMO. 2009. 400 p.

Demin R.N. Astronomical ideas in the corpus of Hippocrates [Astronomicheskie predstavleniya v Gippokratovom korpuse]. *Some problems of the ancient science — Nekotorye problemy istorii antichnoj nauki*. Leningrad, 1987, pp. 47–56.

Dubrovin D.A. *Hard problems of the classical Chinese medicine* [Trudnye voprosy klassicheskoy kitajskoj meditsiny]. Leningrad: Asta-press, 1991. 227 p.

Egorov A.S. Empedocles and the problem of the Greek shamanism [Empe-dokl i problema grecheskogo shamanizma]. *Problems of philosophy — Voprosy filosofii*, 2007, no. 8, pp. 97–105.

Zhambaldagmaev N.T. Buddhist logic and the diagnostics in the Tibetan medicine [Buddijskaya logika i diagnostika v tibetskoj meditsine]. *Papers of the scientific seminar of the Centre of Logic of the Institute of philosophy, RAS — Trudy nauchno-issledovatel'skogo seminar Logicheskogo tsentra Instituta filosofii RAN*, 1997. Moscow: IFRAN, 1998, pp. 163–169.

Pierce Ch. *Selected philosophical papers* [Izbrannye filosofskie proizvedeniya]. Moscow: Logos, 2000. 448 p.



V.A. Smirnov, A.M. Anisov, G.P. Arutyunov, D.V. Dmitriev, A.S. Melent'ev, F.T. Mikhajlov. *Logic and the clinical diagnostics. The theoretical basics* [Logika i klinicheskaya diagnostika. Teoreticheskie osnovy]. Moscow: Nauka, 1994. 297 p.

Karpov V.V. Hippocrates and the Hipocrates collection [Gippokrat i Gippokratov sbornik]. In: *Hippocrates. Selected books — Gippokrat. Izbrannye knigi*. Moscow: Gos. izd. biologicheskoy i meditsinskoj literatury, 1936, pp. 9–81.

Lysenko V.G. Ayurveda. In *Indian philosophy. Encyclopedia — Indijskaya filozofiya. Entsiklopediya*. Moscow: Vost. Lit.; Akademicheskij proekt; Gaudeamus, 2009. 950 p.

Lysenko V.G., Kanaeva N.A. *Shantarakshita and Kamalashila on instruments of the reliable knowledge* [Shantarakshita i Kamalashila ob instrumentakh dostovernogo poznaniya]. Moscow: IFRAN, 2014. 295 p.

Medved A.N. Healing art in Old Russia: the modern state, researches and bibliography [Drevnerusskoe vrachevanie: sovremennoe sostoyanie, issle-dovaniya i bibliografiya]. Moscow: OOO Izdatel'stvo MBA, 2013. 84 p.

Medved A.N. An antropology of the disease in Old Russia (X—XVII c.) [Antropologiya bolezni v Drevnej Rusi (X—XVII vv.). Ocherki istorii]. Moscow: Izdatel'stvo MBA, 2013. 232 p.

Mirsky M.B. The history of medicine and surgery for students [Istoriya meditsiny i khirurgii : uchebnoe posobie dlya studentov vyssh. prof. obr.] Moscow: GEHOTAR-Media, 2010. 528 p.

Simakov Yu.G. Animals analyzing the world [Zhivotnye analiziruyut mir]. Moscow: RIPOL KLASSIK, 2003. 224 p.

Solopova M.A. Vita brevis: to the interpretation of the Hippocrate's first aphorism [Vita brevis: k tolkovaniyu pervogo aforizma Gippokrata]. *Journal of philosophy — Filozofskij zhurnal*, 2012, ¹ 1, pp. 5–25.

Subbotin A.L. *Classification* [Klassifikatsiya]. Moscow: IFRAN, 2001. 94 p.

Fragments of the ancient Greek philosophers [Fragmenty rannikh grecheskikh filozofov], ed. by A.V. Lebedev. Vol. I. Moscow: Nauka, 1989. 576 p.

Rickless S. *Socrates' Theory of Defintion*. Available at: <http://philosophyfaculty.ucsd.edu/faculty/rickless/Phil100/Phil100-Socratic Definition.htm> (accessed 21.02.2016).



М

МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ И КОНСТИТУИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Вадим Маркович

Розин — доктор фило-
софских наук, профессор,
главный ведущий науч-
ный сотрудник Института
философии РАН.

E-mail:

rozinvm@gmail.com.

В статье обсуждаются особенности междисциплинарных исследований, а также две стратегии задания и сборки объектов этих исследований — онтологическая и конструктивистская. Первая стратегия, идущая от Парменида и Аристотеля, кладет в основание сборки гомогенную онтологию, вторая, ее замысел принадлежит Платону, исходит из того, что сборка объекта междисциплинарного исследования осуществляется мыслящим индивидом. В монодисциплинарных исследованиях, входящих в междисциплинарные, как и в любой науке, строятся идеальные объекты, но последние не полностью удовлетворяют (часто не удовлетворяют вообще) требованиям, характерным для определенного типа науки. Поэтому нельзя сказать, к какой онтологии эти объекты принадлежат. Вторую особенность междисциплинарных исследований можно назвать «органичность»: в междисциплинарных исследованиях монодисциплинарные работают друг на друга в том смысле, что одни задают начальные условия или просто создают условия для других. Если принять указанное различие онтологической и конструктивной стратегий сборки целого, то приходится переосмыслить понимание предельных онтологий типа «ризом», «диспозитив», «сложность», «саморазвивающиеся системы». Обычно они трактуются именно как онтологии. Но фактически это онтологии только по установке, реально же (т.е. если считать, что вторая стратегия более верно отражает работу мышления) эти представления вводятся как раз с целью запрета первой стратегии. Автор вышел на конструктивистскую стратегию сборки целого, осмысляя (реконструируя) явления техники, науки, любви, мышления. Назвал он эту стратегию «соотносительный и топический анализ». Соотносительный анализ выражает новый подход к изучению перечисленных популяционных сложных объектов — одновременное рассмотрение сторон («топов») этих объектов. Под топом автор понимает определенный срез (план) социальности, с одной стороны, с точки зрения изучения, выступающий как самостоятельная реальность, с другой — тесно связанный с другими топами, выступающими как необходимые условия существования данного топа. В соотносительном анализе исследователь в процессе реконструкции нащупывает нужные ему топы, уточняя одновременно процедуры реконструкции. Последняя часть статьи посвящена анализу эпистемических критериев истинности и эффективности знаний междисциплинарных исследований.

Ключевые слова: методология, различение, онтология, мышление, междисциплинарное исследование, дисциплина, знание, ризом, диспозитив, разум.



T

THE METHODOLOGY OF LEARNING AND CONSTITUTION OF REALITY IN INTERDISCIPLINARY STUDIES

Vadim Rozin — Ph.D. in
philosophy, professor, chief
research fellow, Institute
Philosophy, Russian Academy
of Sciences.

The article discusses specific features of an interdisciplinary research and two strategies for introducing and constructing the objects of this research (an ontological and a constructivist strategy). The first strategy, which comes from Parmenides and Aristotle, is claimed to make a homogenous ontology a foundation of the process of the object construction. The second strategy, which comes from Plato, is based on the idea that the construction of an object is done by a thinking individual. Monodisciplinary research (as a part of interdisciplinary



research) is characterized by a construction of idealized objects which cannot fully meet the requirement of a certain type of science. This is why it is hard to say what kind of science these objects belong to. The second feature of interdisciplinary research has to do with the interrelatedness of monodisciplinary studies. Monodisciplinary studies create the starting conditions for each other. The author argues that if the distinction between the two strategies is accepted, then a thorough reconsideration of ultimate ontologies (such as "rhizome", "complicatedness", "self-developing systems") is called for. The last part of the article is devoted to an analysis of the epistemic criteria of knowledge in interdisciplinary studies, its truthfulness and effectiveness.

Key words: ????

На мой взгляд, нужно различать два разных понимания исследования. Первое можно назвать *современным институциональным*, второе — *традиционным эпистемологическим*. С институциональным пониманием исследования мы связываем такие характеристики, как качество, ограниченные сроки и ресурсы, необходимость организации (управления) и оценки результатов исследования. Примером подобных исследований выступают научные и инженерные исследования, под которые выделяются бюджетные или другие (гранты, договоры) средства, указываются сроки начала и окончания научных работ, предъявляются требования качества исследований, осуществляется экспертиза проведенных исследований.

Традиционное эпистемологическое исследование (научное или философское) представляет собой процесс познания (мышления), целью которого является получение нового знания, решение актуальной проблемы, построение нового представления о феномене, которое осуществляется мыслителем на свой страх и риск, причем неважно дома или на работе (пусть даже она считается плановой).

В отличие от научного или философского исследования, с которыми мы связываем мышление и творчество, поиски, удачи и неудачи, различные процессы (построение экспериментов, рассуждения и доказательства, решение задач, изложение результатов и пр.), наука представляет собой рефлексию над сложившимся полем исследований, позволяющую выделить и охарактеризовать их специфику, основные средства и понятия, онтологические представления. Проводя аналогию с речью и языком, можно сказать, что исследования — это синтагматика научного или философского мышления, а наука — его парадигматика. Действительно, осуществляя, например, гуманитарное исследование, гуманитарий в той или иной степени ориентируется на известные ему представления гуманитарной науки. Так, последователи М. Бахтина стараются реализовать в своем исследовании (познании) субъект-субъектные отношения и идею диалога, предоставить голос изучаемому субъекту, рассматривать его в контексте понимания (интерпретации) создаваемых им текстов и пр. [Розин, 2008].

Но все оказывается проблематично и непросто в комплексных науках и междисциплинарных исследованиях, ведь здесь нет одной



науки (дисциплины), на которую может ориентироваться исследователь. Наук несколько, причем какие нужно привлекать, часто выясняется только в самом процессе исследования. Логика исследования и понятия при смене научной дисциплины на разных этапах меняются. Получается, что синтагматика в междисциплинарных исследованиях вроде бы одна, а парадигматик много. Спрашивается, каким образом исследователь может в них ориентироваться, где здесь целое, каким образом он разворачивает свою мысль?

Вот, например, З. Бауман ведет исследование холокоста [Бауман, 2010]. Что здесь целое в плане изучения? Холокост только имя трагедии, а каков объект? Выясняется, что объектов изучения много: исторические предпосылки антисемитизма, состояние немецкой демократии, процесс захвата власти нацистами, характер немецкой бюрократии и государства, расистские концепции и их реализация, трансформация индивида и личности в социальных машинах и экстремальных ситуациях, перерождение общества и др. Чем связаны эти объекты помимо того, что они выступают сторонами холокоста? Можно ли говорить, что все они принадлежат «социальности» как предельной онтологии социальной науки (аналогично тому, как объекты естественных наук принадлежат «природе»)? Можно ли вообще здесь говорить о социологии, ведь Бауман скорее критикует традиционные социологические представления, чем использует их. Зато он оперирует понятиями, относящимися к другим, не социологическим дисциплинам, а традиционные так видоизменяет, что многие социологи вряд ли с этим согласятся.

Понятно, почему практически во всех науках все больше переходят к междисциплинарным исследованиям. Осмысление получается более объемным и убедительным, но главное, конечно, в другом — развитие философии и методологии науки позволило деконструировать объекты разных наук, установить их сходство и специфику, создало возможность переходить от одной научной дисциплины к другой, создав тем самым предпосылки для формирования нового онтологического видения, позволяющего за одним онтологическим планом видеть другие, за процессом — его предпосылки и условия. В результате современный ученый ведет свое исследование в ментальном пространстве, образованном разными научными дисциплинами¹. При этом непонятно становится, что происходит с научными дисциплинами, которые работают на междисциплинарные исследования, можно ли в данном случае говорить о предельной онтологии, сохраняется ли возможность опознавать то или иное междисциплинарное исследование

¹ Здесь, естественно, встает и такой вопрос: а можно ли считать комплексную науку наукой. Действительно, если не ясен объект, который она изучает, если нет какого-то одного познавательного подхода и единого метода, а, напротив, их множество, то в каком тогда смысле мы говорим о комплексной науке как науке?



как принадлежащее к определенному типу наук (например, по-прежнему говорить о социологических или более широко социальных науках и исследованиях).

Попробуем начать обсуждение с некоторых из этих проблем. По сути, нужно рассмотреть четыре основных вопроса. Первый, можно ли выделить общую логику исследований в комплексных науках (будем дальше называть их традиционно междисциплинарными), например сравнительно с логикой исследований в гуманитарных или естественных науках? Второй, что происходит с монодисциплинарными формами мышления (естественно-научными, гуманитарными, историческими и др.), когда они используются в рамках междисциплинарных исследованиях? Третий, какова логика конституирования целого (реальности), например в случае теоретического осмысления явлений типа холокост или социальность? Наконец, четвертый, как можно охарактеризовать эпистемологический статус знаний, полученных в междисциплинарных исследованиях?

Обсуждая первый вопрос, буду придерживаться следующей стратегии: сначала попробую понять, как эту проблему решают другие исследователи, для примера возьму конкретные исследования: З. Баумана («Актуальность холокоста»), Б. Латура («Пересборка социальности: введение в акторно-сетевую теорию») и П. Грина («Александр Македонский»), затем — каким образом сходные проблемы решаю я сам. Итак, есть ли у Баумана общая стратегия и логика решения поставленных им задач? Если и есть, то она не просматривается, налицо явно историко-культурные проходы, институциональный анализ, анализ бюрократии, социально-психологический и философско-методологический дискурсы. Возможно, именно последний дискурс задает общую логику мысли Баумана, возможно, за ней стоит просто большая культура научного мышления — не знаю. Примерно то же самое приходится сказать о логике Латура. Более понятна стратегия мысли Грина: она определяется сочетанием исторического подхода с социально-психологическим, но и здесь автор «Александра Македонского» ничего о ней не говорит [Бауман, 2010; Латур, 2014; Грин, 2003].

Отчасти непроявленность общей стратегии исследования в анализируемых работах объяснима, ведь все три автора — не методологи и у нет задачи рефлексировать и предъявлять логику своей мысли. Хотя, конечно, как у всякого ученого, у них существует установка разворачивать свою мысль правильно. В отличие, скажем, от Баумана или Латура я позиционирую себя не только как ученого, но и методолога, поэтому обязан рефлексировать и описывать свою мысль. Так вот, исследуя явления не менее сложные, чем те, которые обсуждали три наших автора (мои исследования были посвящены осмыслению феноменов любви, техники, науки, мышления), я реализовал две основные стратегии — «культурно-исторической реконструкции» (в ММК в период



построения содержательно-генетической логики эта стратегия получила название «метод псевдогенетического анализа») и «диспозитивного анализа» [Розин, 2011: 81–102; Розин, 2014: 70–75]. Их нельзя рассматривать как точные методы, это скорее ориентиры и возможные направления исследования. Каждое новое явление, к которому мы приступаем, испытывает на прочность данные стратегии мышления. Кроме того, часто выясняется, что их надо продумывать и устанавливать заново. В таком случае эти стратегии приходится пересматривать довольно существенно. Более важны общие установки и различия. Например, что явления рассматриваются как становящиеся и развивающиеся². Что для их понимания и объяснения нужно анализировать проблемы и дискурсы. Что при этом используются разные научные дисциплины. Что теоретические положения часто гетерогенны (ср. понятие «диспозитив» у Фуко). Что осмысление новых явлений нередко предполагает разработку и новой методологии (в этом смысле я близок к установкам феноменологов относительно «беспредпосылочного мышления» и «основоположений»). И другие.

Перейдем теперь ко второму вопросу — что происходит с монодисциплинарными формами мышления (естественно-научными, гуманитарными, историческими и др.), когда они используются в рамках междисциплинарных исследований. Стоит отметить три момента. Первый: монодисциплинарные исследования, если смотреть на них с точки зрения нормы (стандарта) этих типов исследования, реализуются только частично. Например, известно, что нормой естественно-научного подхода является не только анализ механизмов природных явлений, но и построение математических моделей этих явлений, а также разработка и проведение эксперимента, в котором эти механизмы и модели уточняются и подтверждаются [Розин, 2007].

Однако мы видим, что Бауман, описывая механизм холокоста, включающий социальную технологизацию, действия бюрократических нацистских институтов, трансформацию в них индивидов и немецкого общества, не пользуется математикой, нет в его работе и экспериментов. Реализуя гуманитарный подход, он, о чем мы говорили, хотя и предоставляет голос разным участникам холокоста, но не выполняет другие необходимые требования, например сознательно не строит диалог с этими участниками (два духа, познаваемый и познающий, писал Бахтин, взаимодействие духов). Соответственно Латур вроде бы реализует принципы феноменологического анализа, однако не всегда последовательно.

² Реконструкция *становления* явления предполагает его объяснение как *новообразования*. В этом смысле изучаемое явление нельзя рассматривать как получившееся из предыдущего состояния этого явления, оно именно становится, складывается впервые. Напротив, реконструкция *развития* предполагает задание явления и разных его состояний, причем одни состояния (как бы более развитые) получаются из (на основе) других его состояний (менее развитых).



Означает ли сказанное, что частичная реализация норм монодисциплинарных исследований не позволяет вести научное познание? Нет, позволяет, их результатом и в данном случае является построение идеальных объектов, однако не тех, которые предписаны нормами соответствующих научных дисциплин. Например, Бауман получает описание механизма холокоста, представленного в форме идеальных объектов, но это не объекты математики. Не подкрепляет построение идеальных объектов Бауман и экспериментами. За пределами теоретического анализа, скажем в сферах образования или политики, его теоретические построения могут быть использованы только как схемы, а не модели.

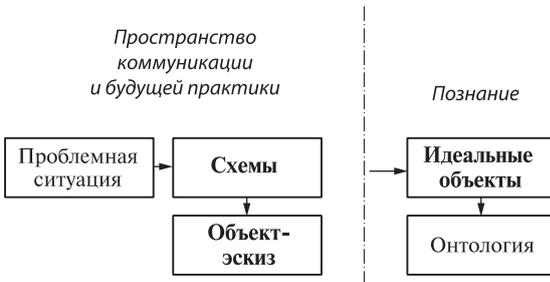
Поясню, каким образом в познании связаны между собой схемы и идеальные объекты. Мой анализ становления науки показывает, что предварительные характеристики идеальных объектов нащупываются в процессе построения схем. Однако, поскольку схемы относятся к пространству коммуникации, а не познания, на основе, так сказать, «эскизных» идеальных объектов строятся уже полноценные идеальные объекты, относящиеся к определенной научной онтологии (нередко такая онтология одновременно и конституируется)³. Например, предварительные характеристики своей будущей концепции психики, представленной в форме сложного идеального объекта (он включал в себя три инстанции психики — сознание, предсознание и бессознательные сексуальные влечения, а также процессы и силы сопротивления и вытеснения), Фрейд получает, строя ряд схем (психической травмы, изоляции области сознания, связанной с этой травмой, которую он и назвал бессознательной, схему сопротивления и др.). Эти схемы я назвал «психотехническими: они были добыты в результате объективации и схематизации психотерапевтических процедур, нащупанных Фрейдом при общении со своими пациентами. Подобные психотехнические схемы и знания позволяли осмыслить и объяснить как проявления психической деятельности больного, так и то, почему помогает гипноз или метод “свободных ассоциаций”.

³ Ср.: А.П. Огурцов, признавая указанную мною функцию схем служить мостом, соединяющим проблемы исследователя с представлением о новой реальности, разводит схемы и концепты и характеризует их следующим образом. Он пишет, что главенствующие тип и функции для концепта «быть выражением авторской инновации, для схемы — быть первым шагом в ее переходе к признанию микросообществом и научным сообществом». «Концепт и является той эпистемологической характеристикой, которая позволяет понять авторское начало в произведениях ученого, осмыслить мотивацию его деятельности и смысл, вкладываемый в ту или иную инновацию». Или: «Важно не подменить коммуникативную функцию схем, позволяющих в упрощенном виде представить исследуемое многообразие (заметим, пока еще не идеальный объект, а многообразие. — В.Р.), их производной и неспецифичной функцией — будь то онтологической репрезентацией понятий и идеальных объектов теории, будь то способами описания результатов когнитивной деятельности» [Огурцов, 2012: 54–55, 13, 16].



Хотя “строительный материал” и теоретические “конструкции” брались Фрейдом из научных онтологий (метаязыков физики, биологии, психологии), план сборки подобных психотехнических схем и сами отношения были получены в ходе объективации и схематизации психотерапевтической практики. Важно, что она включала в себя не только эмпирически наблюдаемые отношения (феномен сопротивления, связь гипноза или метода “свободных ассоциаций” с изменением состояний пациента и т.д.), но и различные высказывания пациента, которые нужно было понять психотерапевту. С другой стороны, психотехнические схемы и знания были получены не только при обработке отношений, наблюдаемых в психотерапевтической практике, но и априорно, исходя из физикалистской и психологической онтологии» [Розин, 2006: 13–33].

На следующем этапе Фрейд, опираясь на психотехнические схемы и знания, строит известную концепцию психики, содержащую три инстанции (сознательную, предсознательную и бессознательную). В этой концепции представлен сложный идеальный объект: он оторван от эмпирического материала и отнесен к особой действительности — психике человека как таковой. Элементы (инстанции) психики и их связи (конфликт сознательного и бессознательного, отношение вытеснения, а также выход вытесненных структур в сознание) являются, с одной стороны, конструктивными, с другой — репрезентирующими факты, с третьей стороны, они удовлетворяют логическим критериям (требованию непротиворечивости и научного объяснения, конечно, как их понимает Фрейд). Обобщая, можно указать на следующую закономерность:



Так вот, возвращаясь к нашей теме, можно утверждать следующее. В монодисциплинарных исследованиях, входящих в междисциплинарные, строятся идеальные объекты, но последние не полностью удовлетворяют (часто не удовлетворяют вообще) требованиям, характерным для определенного типа науки. Поэтому нельзя сказать, к какой онтологии эти объекты принадлежат.

Вторую особенность междисциплинарных исследований можно назвать «органичность». В междисциплинарных исследованиях мо-



нодисциплинарные работают друг на друга в том смысле, что одни задают начальные условия или просто создают условия для других. Например, в рамках исторического анализа Бауман показывает, что евреи, с одной стороны, традиционно брались за занятия, например сбор налогов, которые вызывали у населения негативные чувства, с другой — власти часто использовали евреев в роли «козлов отпущения». Результаты этого исследования использовались затем в социальном анализе для объяснения того, почему нацисты именно евреев выбрали с целью ограбления, канализации ненависти и других переживаний неполноценности, противопоставления арийских ценностей неарийским. В работе Питера Грина есть план экономического анализа (захват отцом Александра Македонского, Филиппом, золотых рудников, аналогично захват самим Александром богатств и земель персов; щедрая оплата македонских воинов и наемников, материальная поддержка греческих полисов). Этот анализ позволяет понять, почему полисы и греческие воины поддерживали походы Александра Македонского и его самого. Получается, что экономический анализ работает на социально-психологическое исследование. Не буду продолжать примеры, думаю, мысль понятна: многие монодисциплинарные анализы связаны между собой, задавая условия друг для друга. В плане логики междисциплинарного исследования это означает, что одни монодисциплинарные исследования детерминированы другими (в отношении постановки задач, начальных условий, требований к продуктам исследования и т.п.).

Когда этот момент был осознан, то начиная с работ Платона и Аристотеля монодисциплинарные исследования в рамках междисциплинарных стали сознательно согласовываться друг с другом, во-первых, на предмет снятия противоречий, во-вторых, с целью выстраивания целого [Розин, 2014: 71–78]. Как правило, работа по согласованию монодисциплинарных исследований и их результатов исследователями не показывается, она относится к «кухне мышления». Вот и в наших трех междисциплинарных исследованиях, чтобы эту работу увидеть, необходима специальная реконструкция. Но и без нее, особенно в работах Баумана и Питера Грина, трудно сомневаться, что такая работы была проделана, поскольку не видно противоречий и просматривается конструкция целого.

Особенности конфигурирования результатов монодисциплинарных исследований и задания целого

Спросим еще раз: какой объект изучает Бауман или Грин? Кажется, ответ очевидный — холокост и походы Александра Македонско-



го. Но ведь это не объекты в научном понимании, а явления, причем исследователи по поводу этих явлений решают не одну задачу, а несколько разных (например, Грин старается, с одной стороны, понять причины успехов Александра, а с другой — объяснить, почему все-таки армия перестала поддерживать Александра; хочет Грин охарактеризовать и личность Александра, а также понять его взаимоотношения с греческими полисами). Соответственно задачам и отдельным монодисциплинарным исследованиям в работах Баумана, Латура и Питера Грина создается много разных объектов. При этом непонятно, можно ли говорить, например, о холокосте как едином объекте и чем задаются его границы. Нужно ли в этот объект включать традицию рассматривать евреев как козлов отпущения, слабость немецкой демократии или сосредоточение власти в руках одного человека, о чем пишет Бауман, или эти моменты — всего лишь внешние условия холокоста? Более общий вопрос, каким образом ученые, ведущие междисциплинарные исследования, выходят на целое, включающее все эти объекты, и что оно собой представляет? Зная целое, они могут выявлять закономерности, если же не вышли на него, то непонятно, что собой представляют полученные знания, каков их эпистемический статус.

Известно, существуют мыслительные стратегии, помогающие выйти на целое и конфигурировать (синтезировать) результаты монодисциплинарных исследований. Это методологические соображения, системный подход, синергетика, холистический анализ, методологическая стратегия конфигурирования, учение о сложности и ряд других. Но если говорить о стратегии сборки целого, заданного обычно несколькими предметами (например, в «Критике чистого разума» Канта разум представлен посредством многих предметов — явления, вещи в себе, созерцание, мышление, рассудок, схематизм мышления, трансцендентальный субъект и пр.), то можно указать на два противоположных подхода — онтологический и конструктивистский. Первый был намечен еще Парменидом, утверждавшим, что бытие едино и целостно (он писал: «Бытие там или здесь: оно везде нерушимо, // Всюду равно себе...»⁴).

Здесь синтез знаний подразумевает понимание реальности как целостного бытия. У Аристотеля она уже задается в «Метафизике» именно как онтология, гомогенность которой обусловлена родовидовыми отношениями. В «Критике чистого разума» Кант приписывает разуму «систематическое единство», а в качестве регулятивного принципа деятельность самого Творца. В работах Г.П. Щедровицкого, относящихся ко второму этапу развития «Московского методоло-

⁴ Подстрочник из в издании [Эллинские поэты, 1999]. Там же сноска: «Парменид из Элеи в Южной Италии (конец VI — начало V в. (ок. 540—470? ок. 520—450?). Его поэма «О природе» (в которой он называет себя «юноша», фр. 1.24) соответственно написана, видимо, в самом начале V в.



гического кружка», в качестве онтологии выступает деятельность, которая трактуется как система. Другими словами, в этой линии развития философии сборка целого мыслится как задание гомогенной онтологии. Другое дело, что последовательно до конца провести эту стратегию никогда не удавалось. Действительно, например, в «Критике чистого разума» разум задается не только как система («систематическое единство», целое), но и как набор самостоятельных предметов. Причем Кант в данном вопросе принципиален, он отказывается сводить одни предметы к другим или же рассматривать их в рамках одной онтологии, т.е. ему вполне удобно «сидеть на двух стульях».

Конструктивистская стратегия, на мой взгляд, идет от Платона. Показывая в «Пармениде», что «единое есть многое», говоря в седьмом письме о «взаимной проверке — имени определением, видимых образов — ощущениями», Платон обращает внимание на ту особенность своей работы, которую в наше время можно понять, обращаясь к системному подходу⁵. Но сам Платон здесь говорит о диалектике, имея в виду то, что он строит схемы, разрешая свои основные проблемы («возводя к единой идее то, что повсюду разрознено»), добываясь, как он пишет, непротиворечивости знания, а фактически приписывая содержанию реальности, заданной в отдельных схемах, такие характеристики, которые могут быть согласованы между собой и тем самым задают единую непротиворечивую реальность. Но эта реальность у Платона — не онтологическая реальность, а реальность, как он говорит, «души». Это можно понять следующим образом: Платон хочет сказать, что *сборка разных предметов осуществляется мыслящим, а не существует заранее в реальности, противостоящей ему.*

С точки зрения этой стратегии целое не предзадано явлением, оно выявляется и строится в самом процессе междисциплинарного исследования. Целое обусловлено, во-первых, задачами, которые решает исследователь, во-вторых, приемами конфигурирования (синтеза) результатов монодисциплинарных исследований, в-третьих, ощущением предмета мысли, вклад в который делают и факты и проблемы, которые формулируют участники дискуссии.

Если принять указанное различие онтологической и конструктивной стратегий сборки целого, то приходится переосмыслить понимание предельных онтологий типа «ризомы», «диспозитив», «слож-

⁵ «Для каждого из существующих предметов, — пишет Платон в седьмом письме, — есть три ступени, с помощью которых необходимо образуется его познание; четвертая ступень — это само знание, пятой же должно считать то, что познается само по себе и есть подлинное бытие: итак, первое — это имя, второе — определение, третье — изображение, четвертое — знание... Все это нужно считать чем-то единым, так как это существует не в звуках и не в телесных формах, но в душах... Лишь с огромным трудом, путем взаимной проверки имени определением, видимых образов — ощущениями, да к тому же, если это совершается в форме доброжелательного исследования, с помощью беззлобных вопросов и ответов, может просиять разум и родиться понимание каждого предмета в той степени, в какой это доступно для человека» [Платон, 1994: 493–494, 496].



ность», «саморазвивающиеся системы». Обычно они трактуются именно как онтологии. Но фактически это онтологии только по установке, реально же (т.е. если считать, что вторая стратегия более верно отражает реальную работу мышления) эти представления вводятся как раз с целью запрета первой стратегии. Именно поэтому ни Канту, ни Щедровицкому не удастся ее последовательно провести. Вот, например, что пишет Ж.Т. Делез, характеризуя ризому: она — не единое и не многое, а множества; ризома не начинается и не заканчивается, она всегда посреди, между вещей, меж-бытие, интермеццо; она не выводима из Одного и не добавляется к Одному; ризома сделана не из единиц, а из измерений, или, скорее, из подвижных направлений, у нее нет ни начала, ни конца, но всегда — середина, из которой она растет и выходит из берегов, она конституирует линейные множества с n измерениями без субъекта и объекта; ризома должна быть произведена, сконструирована, всегда демонтируема, связуема, пересматриваема, модифицируема [Делез, Гваттари, 2010]. Я думаю, никакие биологические аналогии в форме ризомы-корневища не могут помочь нам в понимании реальности Делеза в качестве онтологии, но становятся вполне понятными, если мы помыслим ризому как стратегию сборки мыслящим многопредметной реальности. Конечно, Делез думает, что он задает предельную онтологию, но лучше его работу понимать иначе, а именно, как отказ от онтологической стратегии в пользу конструктивистской.

Лично я вышел на конструктивистскую стратегию сборки целого, осмысляя (реконструируя) явления техники, науки, любви, мышления. Но называл я эту стратегию «соотносительным и топическим анализом». На мой взгляд, соотносительный анализ выражает новый подход к изучению перечисленных популяционных сложных объектов — *одновременное рассмотрение сторон («топов») этих объектов*. В соотносительном анализе мы в процессе реконструкции нащупываем нужные нам топы, уточняя одновременно процедуры реконструкции. Вот, например, анализ топов социальности. Мои исследования позволяют говорить о пяти топах диспозитива социальности (*от древнегреческого τόπος — букв. «место», перен. «тема», «аргумент»*)⁶:

- ◆ *первый топ* — способ (подход, ценности, рамка) конституирования социальности исследователем;
- ◆ *второй* — описание (анализ) направляемых и спонтанных социальных трансформаций;

⁶ Диспозитив, по М. Фуко, это гетерогенное идеальное теоретическое построение, задающее изучаемое явление и ориентированное на разрешение определенных проблем.



♦ *третий* — характеристика взаимодействий субъектов социального действия, к которым относятся общество, власть, сообщества, индивиды и личности;

♦ *четвертый* — задание и характеристики социального действия, позволяющего направлять процесс социальной трансформации;

♦ *пятый топ* — истолкование социальности как своеобразного организма.

Что я понимаю под топом социальности? Определенный срез (план) социальности, с одной стороны, с точки зрения изучения выступающими как самостоятельная реальность, с другой — тесно связанный с другими топами, выступающие как необходимые условия существования данного топа. Хотя диспозитив социальности включает описание всех пяти топов, которые задают социальность как целое, тем не менее отдельные топы могут рассматриваться самостоятельно, как обладающие специфической логикой событий. Их связь с другими топами обнаруживается явно на следующем шаге построения диспозитива при переходе к описанию этих топов; неявно она должна быть задана в строении топа.

Сказанное можно проиллюстрировать на материале анализа книги Баумана. Топами в данном случае являются:

♦ *первый* — ценности и методология изучения холокоста, конкретно те представления, которые обусловили в его исследовании природу холокоста как социального феномена. Так Бауман стремился реализовать культурно-исторический взгляд; рассмотреть холокост как идеально-типическое построение (по М. Веберу); отчасти понять механизм становления этой страшной реальности, т.е. провести в своем изучении ослабленный вариант естественно-научного подхода (ослабленный потому, что не было ни применения математики, ни построения эксперимента); критикуя традиционную социологию и намечая новое понимание социальной реальности, он реализует и философско-методологический подход; наконец, налицо его гуманитарные пристрастия;

♦ *второй топ* — процесс становления и функционирования холокоста. Этот процесс был запущен нацистскими посылками (программами и проектами) и включал в себя ряд событий: захват нацистами власти, создание социальной технологии окончательного решения еврейского вопроса, а также других нацистских технологий (развертывание армии, идеологии и судопроизводства, воспитание молодежи и пр.), построение новых институтов, обеспечивающих воспроизводство данных технологий. Речь идет о социальной трансформации, в результате которой сложился новый тип социальности, характерный для третьего рейха;



◆ *третий топ* — анализ взаимоотношений, складывающихся между нацистской элитой, немецким обществом, профессиональными сообществами, евреями и другими этносами, подвергавшимися геноциду, народами, которые считались союзниками Германии или его врагами. Например, сначала немецкое общество было напугано еврейскими погромами и нарушением Гитлером международных прав и в этом смысле не поддерживало его, но потом нацистской элите с помощью немецкой бюрократии и судейского корпуса, а также выполнения обещаний порядка и более обеспеченной жизни удалось склонить общество поддержать политику Гитлера;

◆ *четвертый топ* — сложная система управления социальными нововведениями, которую создало нацистское государство (этот топ Бауман фактически не рассматривал, но в других исследованиях нацизма он анализировался);

◆ *пятый топ* — характеристика становления и функционирования нацистского государства и общества в качестве социального организма. Для внутренней среды третьего рейха было характерно создание согласованных социальных институтов, обеспечивающих решение поставленных Гитлером задач, для внешней — завоевание или уничтожение других народов. Но Гитлер не учел ни общей экономической мощи его противников, превосходящей немецкие возможности, ни быстро возрастающего сопротивления его армиям, ни слабости и античеловечности самих идей, предлагаемых нацистами миру. В результате ему не удалось реализовать свою программу, а Германия была разгромлена, т.е. нацистский социальный организм не смог выжить в борьбе с социальными организмами СССР и Запада.

Здесь, естественно, может быть задан такой вопрос: а каким образом можно не помыслить, а увидеть объект, заданный топами. Ну, во-первых, мы редко видим сложные теоретические объекты, во-вторых, что значит видеть, скажем, систему, или ризому, или диспозитив. Да, для «чайников» (не в уничижительном смысле) философ или ученый вводит пояснения в форме специальных образов. Например, у Аристотеля категории формы и материи поясняются с помощью образа воска и печати, Делез использует для целей понимания образ ризомы-корневища. Но это именно поясняющие образы, которые нельзя отождествлять с соответствующими понятиями; если же последнее происходит, мы имеем дело с незаконной редукцией.

Второй вопрос нашего оппонента: мало ли каким образом мыслящий собрал целое, нужно ведь еще убедиться, что эта сборка правильная. Какие здесь критерии? Для сборки в естественных науках, где изучаемые феномены реально существуют, в качестве такого критерия можно назвать «моделесообразность». Сконструированный и скорректированный в эксперименте сложный идеальный объект (система, диспозитив) может быть рассмотрен как модель изучаемого



природного явления. Однако в гуманитарных и социальных науках ситуация другая.

Здесь часто философское или научное познание только открывает процесс становления гуманитарного или социального явления. Чтобы оно стало реальностью, нужен еще этап формирования новой практики. Например, первоначально платоническая любовь существовала только в тексте «Пира» как виртуальное явление. Затем она стала практиковаться некоторыми греками и постепенно сложилась реальная платоническая любовь. Уже в конце античности ее начинают изучать, поскольку появились несколько вариантов платонической любви (к прекрасным юношам, к своей супруге в семье, как образ жизни философа и др.). Таким образом, для гуманитарных и социальных наук критерий правильности сборки более сложный: это и методологические соображения, и последующая практика использования сконструированных идеальных построений.

Эпистемический статус знаний междисциплинарных исследований

Первое, что здесь приходится утверждать, но что, впрочем, достаточно естественно, — в междисциплинарных исследованиях мы можем выявить несколько типов знаний. Основные из них: «эмпирические», «теоретические», «дискурсивные» и «схемные».

Самые понятные и достаточно традиционные первые два типа. Эмпирические знания, например описания известных событий и факты (скажем, биография и характеристика походов Александра Македонского, точно установленные действия нацистов, примеры посредников у Латура), тоже, конечно, предполагают интерпретации (как известно, «факты теоретически нагружены»), но они все же получены при описании реальных явлений. Например, как бы не толковать «хрустальную ночь», но это знание фиксирует реально имевший место еврейский погром во всей нацистской Германии и части Австрии 9–10 ноября 1938 г. Другое дело, кто его организовал, с какими целями, были ли достигнуты результаты, нужные нацистам, — эти и многие другие вопросы истолковываются историками и политиками по-разному. Эмпирические знания потому и называются эмпирическими, что они должны сохранять связь с явлениями (фактами), описывая их по возможности адекватно. Хотя понятно, что критерии адекватности устанавливает исследователь и они зависят, в том числе, как и отмечалось, от задач и концепций.

Теоретические знания описывают уже не реальные явления, а идеальные объекты, создаваемые в той или иной теории. Например, Бауман получает ряд теоретических знаний о холокосте, используя



классическую веберовскую теорию рациональности. Латур использует феноменологическую концепцию в духе Делеза. Теоретические знания получаются при подведении интересующего исследователя случая под понятия, фиксирующие особенности идеальных объектов. Например, действия нацистских чиновников подводятся под понятие «рациональность», посредники как эмпирически наблюдаемые явления — под феноменологические понятия «складки», «связи», «сети». «А что, — восклицает Латур, — если запретить любой разрыв, допустить только сгиб, растягивание и сжатие? Не сможем ли мы тогда непрерывно перейти от локального взаимодействия к множеству делегирующих акторов? Отправная точка и все точки, признанные в качестве ее источника, тогда окажутся рядом с друг другом, а связи и складки станут видимыми» [Латур, 2014: 244].

Сложнее пояснить, что такое дискурсивные знания. Их примером являются следующие знания, объясняющие феномен холокоста, полученные Бауманом.

- ◆ Уникальное стечение ряда обстоятельств.
- ◆ Подавление общества государством, управляемым пассионарной фашистской элитой.
- ◆ Слабость («недоразвитость») немецкой демократии.
- ◆ Создание эффективной социальной машины и институтов подавления и уничтожения евреев и других нежелательных элементов.
- ◆ Перерождение личности и нравственности немцев, живущих в социальных условиях третьего рейха.

Эти знания получены не в рамках определенной теории, а в ходе сложных рассуждений и конфигурирования результатов разных междисциплинарных исследований. Эпистемологический источник этих знаний — междисциплинарные дискурсы, некоторые особенности которых мы рассмотрели выше.

Название «схемные» говорит само за себя: это знания, полученные на схемах, описывающие их. Например, представление о посредниках не только идеальный объект, но и схема. Она получена при решении ряда проблем (объяснения социальной факта поставы, эмпирического прослеживания социальных связей) и задает новую реальность (опосредующих связей и отношений). Примером схемы является и представление Баумана о социальной технологизации: оно позволяет понять логику социальной трансформации, задавая одновременно технологическое понимание социальной реальности⁷.

Собственно говоря, построение всех типов знаний опирается на процесс схематизации, поскольку любое исследование, и междисциплинарное в том числе, представляет собой решение определенных

⁷ Выделение соответствующих типов знания осуществляется мною на основе известных мне эпистемических образцов и типов знаний и предполагает реконструкцию.



проблем и задач и предполагает необходимое для этого видение реальности. Другое дело, что во многих случаях схемы опускаются или им не придается значения, а исследователь на основе схем строит идеальные объекты и относящиеся к ним знания, которые он и считает продуктом научного познания. Кроме того, нередко он имеет интенцию на построение теории (теоретическое объяснение), т.е. по идее должен был бы создавать идеальные объекты в рамках определенной онтологии. Но, как отмечалось выше, дело часто заканчивается только интенцией, так как не выполняются многие необходимые требования (если смотреть с точки зрения идеалов развитой научной дисциплины), или другой вариант — необходимая онтология еще не существует (не построена).

Если внутри междисциплинарных исследований строятся идеальные объекты и относящиеся к ним знания, то за их пределами в различных социальных практиках (политике, социальной технологии, образовании и др.) можно говорить только о схемах и схемных знаниях. Например, указанные выше дискурсивные знания Баумана, когда их начинают использовать в социальных практиках, могут быть осмыслены только в роли схем и схемных знаний. Другими словами, стоит, скажем, различать «слабость демократии» как дискурсивное знание (внутри книги Баумана) и «слабость демократии» как схемное знание в политике или образовании. Соответственно «слабость демократии» — идеальный объект в книге «Актуальность холокоста» и в то же время схема, если этим представлением оперирует политик или педагог.

Еще один вопрос, относящийся к данной теме, — оценка междисциплинарных знаний на истинность или эффективность. На истинность или ложность могут быть квалифицированы эмпирические и теоретические знания (например, факты о жизни и походах Александра Македонского в книге Грина могут быть подтверждены другими историческими знаниями и исследованиями; знания о рациональности действий нацистских чиновников могут быть проверены в рамках веберовской теории социального действия). Понятно, что за пределами книг Баумана, Латура и Питера Грина в социальных практиках те же самые знания должны быть оценены уже не на истинность, а на эффективность.

Дискурсивные знания труднее оценить на истинность, поскольку за ними стоят определенные концепции. Тем не менее, проецируя их на другие похожие случаи (например, геноцида в других странах), можно судить, насколько эти знания в плане вероятности правильны.

В социальных практиках все типы знаний могут быть оценены только на эффективность. В случае теоретических, дискурсивных и схемных знаний эффективность характеризуется такими понятиями, как популярность, привлекательность, значимость, научность.



Библиографический список

- Бауман, 2010 — *Бауман З.* Актуальность холокоста. М. : Европа, 2010. 316 с.
- Грин, 2003 — *Грин П.* Александр Македонский. Царь четырех сторон света. М. : Центрполиграф МП, 2003. 301с.
- Делез, Гваттари, 2010 — *Делез Ж., Гваттари Ф.* Введение: ризома // Капитализм и шизофрения. Кн. 2. Тысяча плато. М. : Астрель, 2010. С. 6–45.
- Кант, 1964 — *Кант И.* Критика чистого разума // Соч. В 6 т. Т. 3. М. : Мысль, 1964.
- Латур, 2014 — *Латур Б.* Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию ; пер. с англ. И. Полонской. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. 384 с.
- Огурцов, 2012 — *Огурцов А.П.* Генетическая методология и переход от индивидуальной инновации к ее общезначимости // Методология науки и антропология ; отв.ред. О.И. Генисаретский, А.П. Огурцов. М. : ИФРАН, 2012. 287 с.
- Платон, 1993 — *Платон.* Федр // Платон. Собр. соч. В 4 т. Т. 2. М. : Мысль, 1993. С. 227–279.
- Платон, 1994 — *Платон.* Седьмое письмо // Платон. Собр. соч. В 4 т. Т. 4. М. : Мысль, 1994. С. 475–504.
- Розин, 2008 — *Розин В.М.* Особенности дискурса и образцы исследования в гуманитарной науке. М., 2008. 208 с.
- Розин, 2011 — *Розин В.М.* Научные исследования и схемы в Московском методологическом кружке. М., 2011. 496 с.
- Розин, 2014 — *Розин В.М.* Мышление: сущность и развитие. Концепции мышления. Роль мыслящей личности. Циклы развития мышления. М., 2014. 368 с.
- Розин, 2007 — *Розин В.М.* Наука: происхождение, развитие, типология, новая концептуализация. Гл. 6. М., 2007. 600 с.
- Розин, 2006 — *Розин В.М.* Становление психоанализа в творчестве Зигмунда Фрейда и Анны Фрейд // Философские науки . 2006. № 12 . С. 13–33.
- Розин, 2014 — *Розин В.М.* Пир Платона. Новая реконструкция и некоторые реминисценции в философии и культуре. М., 2014. 200 с.
- Эллинские поэты, 1999 — *Эллинские поэты VIII—III вв. до н.э.* М., 1999. 532 с.

References

- Bauman Z. *Aktual'nost' holokosta* (The relevance of the Holocaust), Moscow, 2010. 316 p.
- Grin P. *Aleksandr Makedonskij. Car' chetyrekh storon sveta* (King of the four cardinal points), Moscow, 2003. 224 p.
- Delez ZH., Gvattari F. Vvedenie: rizoma. *Kapitalizm i shizofreniya*. Кн. 2. *Ty-syacha plato* (Introduction: Rhizome. Capitalism and Schizophrenia. Book 2. A Thousand Plateaus, Moscow, 2010, pp. 1–38.
- Kant I. *Kritika chistogo razuma. Soch.* (Critique of Pure Reason), v. 6, t. 3, Moscow, 1964, pp. 68–756.
- Latur B. *Peresborka social'nogo: vvedenie v aktorno-setevuyu teoriyu*. Per. s ang. I. Polonskoj (Rebuilding Social: An Introduction to Actor-network theory, trans. from English. I. Polonskoy), Moscow, 2014. 384 p.
- Ogurcov A.P. *Geneticheskaya metodologiya i perekhod ot individual'noj innovacii k ee obshchezna-chimosti* (Genetic methodology and the transition from in-



dividual innovations to its validity). *Metodologiya nauki i antropologiya* (Methodology of Science and Anthropology). Moscow, 2012. 287 p.

Platon. Fedr (Phaedrus). *Sobr. soch.* Coll. op. 4 t. T. 2. Moscow, 1993, pp. 227–279.

Platon. Sed'moe pis'mo (Plato seventh letter). *Sob. op.* 4 t., t. 4, Moscow, 1994, pp. 475–504.

Rozin V.M. *Osobennosti diskursa i obrazcy issledovaniya v gumanitarnoy nauke* (Features discourse and patterns of research in the humanities), Moscow, 2008, 208 p.

Rozin V.M. *Nauchnye issledovaniya i skhemy v Moskovskom metodologicheskoy kruzhke* (Research and schemes in the Moscow methodological circle.), Moscow, 2011, 496 p.

Rozin V.M. *Myshlenie: sushchnost' i razvitie. Konceptii myshleniya. Rol' myslyashchej lichnosti. Cikly razvitiya myshleniya* (Thinking: the nature and development. Concept of thinking. The role of the thinking personality. Cycles of thinking), Moscow, 2014, 368 p.

Rozin V.M. *Nauka: proiskhozhdenie, razvitie, tipologiya, novaya konceptualizatsiya. Glava shestaya* (Science: origin, development, typology, a new conceptualization. Chapter Six), Moscow, 2007, 600 p.

Rozin V.M. Stanovlenie psihoanaliza v tvorchestve Zigmunda Frejda i Anny Frejd (Formation of psychoanalysis in the work of Sigmund Freud and Anna Freud). *Filosofskie nauki* (Philosophical Sciences), 2006, no. 12, pp. 13–33.

Rozin V.M. *Pir Platona. Novaya rekonstruktsiya i nekotorye reminiscencii v filosofii i kul'ture* (Feast of Plato. New reconstruction and some reminiscences in philosophy and culture). Moscow, 2014. 200 p.

EHllinskie poeity VIII—III vv. do n. eh. (Hellenic poets VIII–III centuries. BC), Moscow, 1999, 532 p.



КОММУНИКАТИВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НАУКИ В КОНТЕКСТЕ КЛАССИЧЕСКИХ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ¹

Александр Юрьевич Антоновский – кандидат философских наук, старший научный сотрудник сектора социальной эпистемологии Института философии РАН. E-mail: antonovski@hotmail.com

Рассмотрим коммуникативный подход в философии науки, разработанный немецким социологом Н. Луманом. Однако не будем органичиваться реконструкцией заявленных Луманом концептов, но позволим себе собственную интерпретацию, представим непроговариваемый Луманом контекст, а также привлечем собственный иллюстративный материал, поскольку сам Луман не балует читателя наглядными подтверждениями своей теории. Таковая реконструкция, безусловно, потребует и существенного сокращения, упрощения, а кое-где и тривиализации, а в целом — крайне избирательного отношения к этой высшей степени комплексной теории. В статье в перспективе коммуникативно-социологического рассмотрения научной деятельности исследуются классические проблемы: критерии подлинности научного знания, ее автономии (гетерономии) и средств, которыми эта автономия может достигаться; проблема фундамента и структуры научного знания: отношения понятий и слов, теорий и методов; проблемы коммуникативных запретов, накладываемых на возможности системной организации науки (принцип лимитации); специфика и возможность социальной теории, ее отличия и сходства с утвердившимися классическими образцами теоретизирования; особенности разнопорядковых типов научного наблюдения.

Ключевые слова: коммуникативный подход, Н.Луман, социальная теория, философия науки, принцип лимитации.

COMMUNICATIVE INTERPRETATION OF SCIENCE IN THE CONTEXT OF THE CLASSICAL EPISTEMOLOGICAL PROBLEMS

Alexander Antonovski — PhD in philosophy, senior research fellow at the department of social epistemology, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.

In this paper, the author analyzes and discusses the communicative approach used in the philosophy of science developed by N. Luhmann. He shows how Luhmann's communicative approach can be used to discuss a wide range "the classical problems" of knowledge: criteria for scientific knowledge, its autonomy and tools for achieving it, the problem of the foundation and structure of the scientific knowledge, the relationship between concepts and words, theories and methods. The author also analyzes the problem of the communication constraints imposed on the process of systematic organization of science (i.e. the delimitation principle): the specificity and opportunity of the social theory, its differences and similarities with the settled classic examples of the theorizing; the peculiarities of the particular types of the scientific observation.

Key words: communicative approach, Luhmann, social theory, philosophy of science, delimitation principle.



¹ Статья написана при поддержке РНФ, проект № 16–18–10365 «Конкретно-научный фундамент социального познания: логико-математические, социологические и системно-теоретические основания».



Об автономии науки в коммуникативном смысле

Наука есть коммуникативная система². В этом состоит главное положение системно-коммуникативной интерпретации научного знания. В этом смысле наука предстает как внутренне *закрытая* последовательность сообщений (= действий), распределяемых по своему смыслу или значению на истинные или ложные, что, собственно, и гарантирует системную замкнутость. Но хотя она составляется исключительно из взаимно-ориентированных сообщений, смысл последних определяется intersubъективно удостоверяемыми *переживаниями* (восприятиями) внешней реальности. Поэтому система одновременно со свойствами замкнутости демонстрирует свойства *открытой системы*.

Критерий подлинной науки — ее автономия. «Автономия есть всего лишь производство собственного единства через собственные операции системы» — пишет Луман [Луман, 1993: 289]. Но автономия науки отличается от системной обособленности, скажем, *политических* коммуникаций, *замкнутых* прежде всего на основе их самореференциальности. Подразумевается, что при принятии административно-политических решений в большей степени учитывается не столько внешнее давление на систему ее окружающего мира (настроения избирателей, экологическая ситуация и т.д.), сколько предшествующие решения вышестоящих иерархий. Но и политика не лишена возможностей воспринимать реальность: *открытый* характер политики обеспечивается сменой программ и партий, ведь у пришедшей к власти оппозиции, прежде не задействованной в машинерии текущих решений по воплощению предыдущих программных решений, было время и возможность аккумулировать импульсы из внешнего мира политики и представить их в виде собственных программ.

Автономия науки иного рода; она не совпадает с ее самореференциальностью во временном измерении, т.е. с простым подсоединением одной научной операции к другой. Она автономна, поскольку рефлексивна, т.е. способна зафиксировать тот факт, что является и автономной, и зависимой, и инореференциальной, и самореференциальной. Ведь в науке хорошо известен тот *факт* (!), что ее *внешние состояния* (факты) суть ее *внутренние способы* (теоретического и поня-

² Коммуникация понимается Луманом как единство сообщения (= действия) Другого и реакции на него в виде извлечения информации (в процессе переживания Эго данного сообщения), приводящее к пониманию, т.е. к осознанию того, что за сообщением стоит нечто не являющееся сообщением, но несущее какой-то смысл для Эго. Разные сочетания действий и переживаний задают все типы известных коммуникаций: коммуникации, стилизованные под связь действий (действие Другого, вызывающее действие Эго без учета его переживаний), образуют элементы политической системы коммуникаций. Коммуникации, стилизованные под связь действий и переживаний (действие художника генерирует переживания Эго без того, чтобы он действовал в ответ), образуют элементы коммуникативной системы искусства и т.д. [Луман, 2011].



тийного) представления этого внешнего мира. Одновременно она исходит из такого *понятия* (!) науки, согласно которому ее *понятия* как *внутренние состояния* наук формируются как фиксации внешних раздражений (факты). Проще говоря, тот *факт*, что факты суть микротеоории и теоретически нагружены, не просто хорошо известен, но и сам оформлен в понятия и даже эпистемологические доктрины (тезис Дюгема/Куайна).

Но и в самой практикующей науке факты и теории (внешние и внутренние условия коммуникации) взаимоопределяемы и рефлексивно формулируются в исследованиях. Напротив, в политической коммуникации внутренние условия ее функционирования (т.е. правовые и конституционные основы политики) не так легко меняются вслед за политической конъюнктурой. Поэтому политика в отличие от науки не способна легко отделять самореференцию от инореференции. На то, что она видит, она всегда смотрит глазами начальства, а значит, не видит того, что она не видит.

О фундаменте науки, наблюдении второго порядка и перспективах социальной теории

Но наука автономна благодаря не только способностям к особому — рефлексивному — типу наблюдения, но и особому устройству ее фундамента, который сохраняет свою однородность, несмотря на то что наука детерминирована самыми разными факторами. Ее обоснование сохраняет некую «абсолютную симметричность» всех своих детерминационных оснований. Не важно, социальное ли влияние, психическая предрасположенность или научный интерес, очевидные аксиоматические основания, государственное финансирование или карьерные перспективы рассматриваются как источники, мотивации или импульсы научных сообщений, — в любом из этих случаев ко всем этим тем или иным образом рожденным сообщениям должен быть применен код *истина/ложь*, который как бы снимает экстерналистский характер мотивов научных сообщений, подводя их под общий — внутринаучный — знаменатель.

Наука, как уже говорилось, четко различает свой внешний мир (факты) и саму себя (понятия, теории, методы). И в то же время наука отдает себе отчет в том, что всякий факт представляет собой мини-теорию³, т.е. определен лишь в контексте некоторой теории. Поэтому раз-

³ Стандартная иллюстрация: проверка Карлом Гауссом фактической суммы углов большого треугольника, образуемого тремя соседними горными вершинами, посредством лучей, испускаемых с каждой из них. Зафиксированный *факт* («сумма углов измеряемого треугольника равна 180 градусам») должен был в этом случае подтвердить неискривленность физического пространства и верность Евклидовой геометрии. Однако сам этот факт предполагал ряд *теоретических* допущений и был определен в контексте теории, в которой прямая является кратчайшим расстоянием между точками, а луч распространяется прямолинейно.



личение *научная система/внешний мир* само производится внутри науки, а не определяется внешними обстоятельствами, которые бы заставляли проводить это различие так, а не иначе. Но почему за фактами в этом случае все-таки приходится закреплять значение проверяющих инстанций теорий? Ведь в таком случае они оказываются в каком-то смысле «более необходимыми» или «более реальными»?

Это нарушение симметрии Луман разрешает через различие разнопорядковых наблюдений. В наблюдении первого порядка наблюдатель (практикующий ученый) не делает различий между своим знанием фактов и миром, между фактами как событиями во внешнем мире и фактами как научными фиксациями этих событий. Все, что он знает, и есть мир, и всякое знание оказывается истинным, т.е. коррелятивным миру знанием. Лишь в наблюдении второго порядка неожиданно обнаруживается, что не все в знании соответствует миру (например, некоторые теоретические переменные не обнаруживают коррелятов в мире⁴), что не всякое знание является *истинным*, а значит, знание того, как обстоят дела на самом деле, отлично от этого «на самом деле». Отсюда проистекают (как минимум) три модуса возможных наблюдательных констатаций: «*A* есть»; «я знаю, что *A* есть»; «истинно, что (я знаю, что) *A* есть». В каждом следующем высказывании добавляется некоторая дополнительная наблюдательная перспектива.

Наблюдение второго порядка реализуется в науке как минимум дважды. В первом случае оно имеет место при определении действительной ценности научного результата, когда одни исследователи наблюдают то, как нечто «то же самое» наблюдают другие (в повторении экспериментов в других лабораториях, в экспертной оценке научных публикаций, на диссоветах, на научных конференциях и т.д.). Во втором случае наблюдение второго порядка надстраивается над первыми наблюдениями в случае, если обособляется особая подсистема научной системы с функцией рефлексии — эпистемология, теория познания, способная генерировать критерии оценки «лучших теорий». Причем и сами теории второго порядка могут и должны оцениваться с точки зрения провозглашаемых ими критериев⁵.

⁴ Скажем, такая переменная, как индивидуальная скорость молекул, присутствует в молекулярно-кинетической теории и учитывается в переменных средней квадратичной скорости движения молекул и средней кинетической энергии (температуры). Но ведь у переменных индивидуальных скоростей нет никаких коррелятов в измеряемой реальности, никакого эмпирического значения [Campbell, 1957: 150].

⁵ См.: Требования «нормативного натурализма» Отто Нейрата о том, что никакое множество суждений не может иметь статуса первичных «надэмпирических» («*supraempirical*») оснований, но должно входить в корпус равноправных суждений и в свою очередь требовать обоснований [Нейрат, 2006: 310–319]. Эта идея, как и общий принцип «эпистемологического натурализма» (У. Куайн «Две догмы эмпиризма») разделяет Луман, полагая, что рефлексивные суждения наблюдателя второго порядка (социолога, психолога, философа науки) в свою очередь (применительно к перечисленным наблюдателям) остаются наблюдением первого порядка, т.е. являются равноправными «операциями системы науки».



Для естествознания такого рода иерархичность наблюдательных инстанций не представляет особой проблемы, поскольку все они, являясь также первопорядковыми наблюдениями, оказываются равноправными. Никто из них не претендует на статус суперкомпетентного *внешнего* наблюдателя. В социальных науках дело обстоит несколько иначе.

Конечно, наука всегда оценивается и с точки зрения ее внешнего наблюдения: политики, церкви, хозяйства, массмедиа и т.д. Но все они не обладают компетенциями, сравнимыми с научным наблюдением. Если наука не может наблюдаться наблюдателем, достаточно компетентным, чтобы адекватно фиксировать научную комплексность, то приходится учитывать возможности внутреннего наблюдения, искать внутренние компетентные инстанции, способные оценить научную теорию с собственных дисциплинарных перспектив. Именно это обстоятельство требует междисциплинарных исследований.

Таким внутренним второпорядковым наблюдателем науки выступает *социальная теория* (и, конечно, сама *теория коммуникативных систем*). Но наблюдательные перспективы науки как таковой и социальной теории как ее обособившейся части и идентичны, и различны. Социальная теория, конечно, и сама остается наукой, но в отличие от классической науки вынуждена оперировать некими «неразложимыми» очевидностями: ценностями, нормами, фундаментальными смыслами. Ведь она странным образом должна оставаться *понятной* и своему объекту — обществу, а не только ученым, и ее цель состоит в объяснении и описании оснований социального порядка и человеческого общежития. Между тем стандартная наука не может не осуществлять аналитический метод, проводить деконструкции и редукции тех или иных очевидностей к ненаблюдаемым реалиям. Она подвергает сомнению *любые* позитивные суждения по поводу своего предмета. Этот метод требует от науки образовывать особый мир, существенно отличный от повседневных человекоразмерных реалий. Поэтому социальная теория оказывается между Сциллой базисных очевидностей и Харибдой аналитического метода: сохранять и культивировать фундаментальные, интеграционно-значимые смыслы действий (ведь она ведет речь о хорошо известных обстоятельствах), но, претендуя на научность, все-таки их редуцировать, перекомбинировать, релятивировать, подменять другими столь же возможными, рассматривать их как переменные, а не константы, искать их функциональные эквиваленты или альтернативы [Мертон, 1996].

Здесь мы сталкиваемся с некоторым вариантом парадокса фальсификационизма К. Поппера. Открытость научного дискурса к критике легитимизирует такие же установки в рамках воспроизводящего науку политического либерального порядка. Но именно это предполагает релятивизм в отношении считающихся самоочевидными и абсолютными по своему значению человеческих прав и свобод и иных ли-



беральных ценностей. Всякий отказ от догматизма (утверждения тех или иных фундаментальных оснований науки) предполагает перенос процесса фальсификации и на утверждения об основаниях общественного устройства, а значит, и сами базовые демократические и ценностные основания подвергаются релятивизации. Другими словами, если наука (в форме социальной теории), основываясь на антидогматических установках, желает стать фундаментом или ориентиром общества, то она одновременно должна требовать и признания того обстоятельства, что у общества вообще нет фундамента или каких-то надежных ориентиров.

Один из способов разрешения этого противоречия предлагает системная теория общества Лумана, ведь она поступает как *настоящая* наука, претендует на открывание того, что от непосредственного наблюдения ускользает, — фиксирует *слепое пятно* в том числе и самих научных наблюдений. Собственно, и сам код *истинного/ложного* как раз и является такого рода «слепым пятном» в сфере научной повседневности и практикующих ученых, как правило, не заботит.

Парадокс Лумана: единство автономии и гетерономии науки

Но как наука может быть автономный, если в своих суждениях она так или иначе зависит от внешнего мира — определена своим предметом (предметным измерением), вынуждена ему следовать в своих описаниях? Источники научной автономии (*Selbstgesetzgebung*) обнаруживаются, согласно Луману, в социальном измерении, ведь наука не может избавиться от экстерналистских эффектов⁶, и эти экспансии из внешнего мира науки действительно определяют многие внутренние структурные ориентиры научного исследования: выбор тем (тема должна быть компактной, иначе проект не поддержат), инструментов (инструменты должны укладываться в смету), методов и т.д. Но они не определяют вопрос *истинности/ложности* научных предложений, с которым эти внешние воздействия на науку справиться не в состоянии. В этом смысле то, что делает науку зависимой от внешнего мира (истинность суждения о предмете), как раз и делает ее независимой (автономной) от внешнего мира. Социо-

⁶ «Финансирование науки, безусловно, может управляться извне, свобода мнений может регламентироваться политически, операции системы могут допускать их эффективные ограничения и даже — в пограничном случае — полное их запрещение. Задействованные лица могут привносить собственные интересы, к примеру — интересы карьеры или репутации. Задействованные организации могут смещать приоритеты с исследования в направлении учебного процесса и наоборот... «общественное мнение» и — на заднем плане — массмедиа способны фаворитизировать определенные исследовательские темы и отказывать другим темам в праве на общественный резонанс. Все это вполне может быть очень важным для успеха науки (как бы его ни измерять), но ничего не меняет в том, что наука, если она осуществляет свои операции как система, оперирует автономно; ведь ни в каком ином месте, кроме науки, не может сформироваться никаких специфических уверенностей в том, что что-то является истинным, а что-то — ложным» [Luhmann, 1990: 293].



эпистемологический тезис состоял бы тогда не в том, что те или иные социальные факторы определяют значения научных суждений (истинность и ложность), а в том, что значение научных суждений (истинность и ложность) определяет автономный характер научной коммуникации, ее отдифференцированный или обособленный характер.

Именно этот специфический характер не в последнюю очередь проявляется в ее способностях — разлагать и перекомбинировать свои содержания: факты и понятия (= инореференции и самореференции). Это в какой-то степени разрешает парадокс одновременной зависимости и независимости науки от внешнего мира (автономии и гетерономии). Ведь наука способна на *метареференцию* — понимает, что инореференция и самореференция образуют парадоксальное единство. Ученые осознают, что понятия науки «превращают» контингентный мир в нечто устойчивое, а факты — это внутренние представления или микротеоории внешнего мира. Сам мир тогда предстает как совокупность *свободно сцепленных элементов*, на который наука накладывает *жесткие сцепления*. В том смысле, что может в качестве объектов выделять то, что само по себе (вне наблюдательных перспектив тех или иных дисциплин) объективными свойствами не обладало бы. Очевидно, например, что в самом мире нет разделения на физические и химические объекты, лишь сами соответствующие дисциплины «высвечивают» собственные предметные области интереса.

Однако не только сам тип научного кодирования выделяет науку из ее внешнего мира (предмета), а также в контексте других — хозяйственных, политических и иных типов коммуникаций. Речь идет и о других структурных особенностях этой коммуникативной системы, в особенности об особом — рефлексивном — характере научного знания.

Стандартное понимание знания как обоснованного и истинного убеждения не учитывало его исторические трансформации и оставалось чрезмерно универсальным. Системно-коммуникативная теория науки требует понимать знание в его более узком или собственном смысле. Но такое знание появляется лишь тогда, когда и *процедура обоснования знания* в свою очередь *превращается в знание!* Другими словами — подлинное знание начинается там, где наука оказывается рефлексивной, самообращенной, ретроспективной (рекурсивной). Это значит, что она осознанно обращается к своим основаниям, к процедуре самоуверения. Речь здесь идет все о том же единстве инореференции и самореференции (описании предмета научного интереса и самоописании теории). И теперь, когда процедура обоснования знания, состоящая в особом рода исследованиях об исследованиях, и сама понимается как знание, саму эту процедуру можно — инореференциально — отнести к познаваемой реальности или предмету исследования науки. Благодаря такому превращению самореференции в инореференцию наука приобретает и одновременно утрачивает в своей автономности.



Другими словами, наука полностью автономна, если она полностью рефлексивна. Если же не проводятся исследования об исследовании (например, по вопросу, действительно ли военные — лучшие ученые в военной области?), то еще нельзя заявлять о полной дифференциации науки. Таким процедурам удостоверения знания посвящена специальная глава исследования Лумана «Правильные основания науки» [Luhmann, 1990: 362–469].

Правильные основания науки

Ключевая проблема любой теоретизации состоит в вопросах о началах. С чего следует начинать конструирование теории? Что лежит в основе предмета теоретизации? Является ли такое начинание произвольным или все-таки сам предмет определяет последовательность шагов по реконструкции его теоретического описания? С каких понятий и слов нужно начинать исследование? Со свойств предмета или свойств наблюдателя, наблюдающего этот предмет? С сущностей или самих вещей? Начинать ли с родовидовых определений классической логики, где одно понятие включается в другое, или использовать логику взаимно «эксклудирующих» понятий, т.е. диалектику?

Мы можем начинать исследование с рассмотрения стандартных свойств или предикатов, например с различения синего и зеленого. Но любая предикация всегда означает очень много предикаций⁷. Решение этой проблемы элементарных предметных оснований науки могло состоять в ограничении процесса предикации областью «исторически укоренившихся предикатов» («entrenched predicats»), т.е. теми свойствами, которые образовали «исторические траектории» («track records») в терминологии Н. Гудмена [Гудмен, 1992: 73–74].

В этой дискуссии об основаниях Луман занимает особую позицию. С его точки зрения и следуя конструктивистской методологии⁸, в качестве таких начал — оснований исследования следует использовать различения со встроенными предпочтениями в пользу одной из их сторон. *Различение* выступает средством редукции *комплексности* внешнего мира, в результате которого единство последнего (с точки зрения системы) предстает в качестве *понятия*.

Понятие понятия: родовые и видовые свойства

Но и понятие *понятия* требует своего различения: научные понятия должны быть отличны от слов: смысл понятий не требует контек-

⁷ Ведь свойству «быть зеленым» логически эквивалентно свойство «зелесинее» (= «зеленое под наблюдением и синее, если не наблюдается») [Гудмен, 1992].

⁸ Прежде всего, следуя «инструкции» Спенсера-Брауна «draw a distinction» и понятие Грегори Бейтсона о дистинкциях, которые производят дистинкции.



ста, в котором бы они получали свое определение⁹, понятия, напротив, сами задают свой собственный контекст. При этом отношение понятий и слов воспроизводит дуальный характер самой науки, которая — благодаря собственному уникальному кодированию — является *обособленной* системой, но при этом все-таки остается системой *общества*. Это макросоциологическое положение дел призвано объяснить то загадочное микросоциологическое обстоятельство, что естественный язык (т.е. слова, но не понятия) всегда в том или ином виде сохраняет свое присутствие в научных текстах, в том числе в высокоформализованных логических и математических исследованиях. Именно слова естественного языка, а не понятия, связывают науку с ее внутренним внешним миром — обществом в целом.

Помимо родовой функции понятий (отличить научные тексты от непонятного использования языка) большее значение имеет другая, более специфическая функция. Она состоит в том, чтобы регулировать область *предложений*, способных быть истинными. Именно понятия выступают главными условиями истинности, а вовсе не опыт, или сам предмет, или первичные опытные данные, представленные в виде разного рода протокольных предложений. Эта функция понятий, ограничивающая истинностные условия предложений науки и определяющая условия возможности истины (почти в кантовском смысле), и сама является еще одним элементарным основанием науки, которое Луман называет *лимитацией*. Все предложения науки должны быть *ограничены* с помощью вопроса о том, чего мы *не* можем знать?

Лимитация как функция коммуникативного запрета

Принцип *лимитации* обнаруживает свои функциональные аналогии (и тем самым поясняющую метафору) в других коммуникативных системах. Например, в экономике мы имеем дело с *ограниченностью* ресурсов и, как следствие, с конкуренцией. В политической системе взаимограничение ветвей власти имеет конститутивное значение как условие возможности коллективно-обязательных политических решений. В философии этот вопрос ставится применительно к условиям возможности познания. Мы можем что-то знать, поскольку знаем, что что-то знать не можем.

В науке принцип лимитации задает общую рамку возможности истинностных суждений. Речь, например, может идти о принципе ограничения скорости света как запрета на *теоретизацию* и физическое моделирование физических систем, движущихся быстрее. Все, кто не соблюдает этот принцип, исключаются из научного дискурса и не ак-

⁹ Речь, очевидно, о том понятии слова, которое предложил Л. Витгенштейн в теории языковых игр [Витгенштейн, 2011].



цептируются как участники научной коммуникации. Так и второй закон термодинамики (принцип энтропии) ограничивает не только коммуникацию, но и практические попытки создания вечного двигателя и тем самым оптимизирует ресурсы науки.

Посредством лимитаций генерируется память системы, в которую — словно своеобразное табу — вводится то, что запрещено к истинностному определению, но именно поэтому все-таки тематизируется и хранится в памяти системы. Речь снова идет о некоей процедуре *re-entry* (повторного включения исключенной, не преференциальной стороны различения) как способе сохранить исключенное знание, чтобы вообще мочь осуществлять различения со встроенными преференциями. Такая лимитация обеспечивает системность коммуницирования, облегчает подсоединение (выбор и акцептацию) научных предложений. Ведь без такой общей рамки (лимитации) возможностей подсоединения претендующих на истинность высказываний было бы слишком много.

Для иллюстрации вспомним парадокс ворона. Как лимитировать нам в этом случае поиски истины? Отправляться в поле в поисках птиц и лимитировать все остальные возможности исследования или практиковать орнитологию за письменным столом, рассматривая все остальные нечерные предметы (ботинки, перчатки и т.д.) в поисках фальсифицирующих теорию экземпляров? Ответ, казалось бы, очевиден. Но возможность логически эквивалентной процедуры, вытесненной из научной практики посредством лимитации, говорит о многом. О том, например, что как только вводится лимитация «ищи нечерного ворона и только ворона», вводится и понятие *мира* — как необходимое следствие научных лимитаций, как горизонт лимитации, как совокупный мир всех черных и нечерных объектов. В этом смысле именно процедура лимитации порождает то, что можно назвать миром, а вовсе не мир сам по себе обладает свойством лимитации. Лимитация — это некое внутрисистемное ограничение, накладываемое на массивы возможностей поведения и коммуникации.

В своем самом широком понимании лимитация принимает вид принципа *двойной контингентности*. Из этого вполне банального общекоммуникативного принципа¹⁰ в рамках каждой коммуникативной подсистемы возникают его спецификации. В политике формулируется принцип всеобщего блага, ограничивающий произвол власти, в экономике ограничены возможности распределения ресурсов, в религии понятие Бога, предоставляя свободу воли, одновременно накладывает ограничения на теологические интерпретации.

¹⁰Гипотеза «все вороны черные» эквивалентна предложению «или ворон, или нечерный». Это означает, что для обоснования можно перебирать не только ограниченное число черных воронов в поиске нечерного экземпляра, но и все нечерные предметы, что чрезвычайно затруднило саму по себе логически адекватную процедуру фальсификации гипотезы [Nempel, 1965].



Лимитация как общее название специфических «формул контингентности» собственно и служит разделительной чертой между комплексностью самой системы и неопределенной сложностью, которую принято называть миром. Лимитация — это то состояние, в которое вступают системы, выстраивая свои отношения с так называемой *реальностью*. Вопрос лишь в определении того, кто же участвует в этой двойной контингентности. И ответ опять очевиден: *теории и методы*. Именно последние, будучи сами по себе произвольными в их отношениях с реальностью, встречаясь друг с другом, лимитируют собственные и чужие ресурсы и возможности наблюдения этой реальности.

Методы как медиа, теории как формы

Ключевое различие науки, дистинкция *теории/методы*, обеспечивает главную функцию научной системы — редукцию научной сложности внешнего мира. Доступ к реальности внешнего мира опосредован взаимной лимитацией, которую теории и методы накладывают друг на друга. Для интерпретации этих отношений Луман привлекает теорию *медиавосприятия*¹¹ Фрица Хайдера. Медиа определяются как совокупность свободно сцепленных элементов, на которую¹² наблюдателем накладывается форма — некое жесткое сцепление отобранных элементов, делающее доступным в каком-то оформленном виде сам ненаблюдаемый и недоступный медиум. Так, слова образуют медиум языка, который во всем своем массиве коммуникативному наблюдению был бы недоступен. Кто и когда предлагал в виде содержания сообщения весь язык? Но всякая актуализация языка в виде конкретной речи предстает в *форме* жестко связанных в предложении слов. Но и предложения предстают в роли медиа в отношении форм более высокого порядка — текстов.

Медиа всегда предстают в виде имеющих зернистый или количественный характер субстратов (числа, атомы, химические элементы, клетки, действия, слова — в математике, физике, химии, биологии, социологии, лингвистике), на которые наука первоначально *разлагает* реальность (первая лимитация), а потом комбинирует эти элементы в формы (вторая лимитация). Означенные лимитации (медиа и формы) специфичны для каждой коммуникативной системы (в политической системе это огромные массивы *потенциальных* коллек-

¹¹При взаимном маневрировании двух кораблей возможности маневра произвольны. Но каждое произвольное (контингентное) движение влево или вправо делает встречное движение необходимым.

¹²Ф. Хайдер обратил внимание на то обстоятельство, что свет или электромагнитные волны являются посредниками восприятия, но доступны лишь в виде цветов, как *оформленные* манифестаций медиа. Звуковые волны тоже сами по себе никак не доступны для восприятия, но предстают в виде шумов как их форм этого медиума [Heider, 2005].



тивно-обязательных решений, оформляемые в конкретные распоряжения власти; в системе хозяйства — это массивы возможных платежей, получающие оформление в виде конкретных транзакций, осуществляющихся с помощью денег). В науке медиум и форма предстают в виде функции разложения исследуемых предметов на элементарные единства, а затем — их комбинирование в соответствующие *формы* согласно теоретическим различениям (клетки/органы, атомы/молекулы, звуки/слова, слова/предложения, действия/мотивы, коммуникации/системы, числа/операции).

Но в каждой научной дисциплине (в распоряжении кода *истина/ложь*) всегда сохраняется избыточное количество потенциальных форм (комбинаций или сочетаний это медиального субстрата, «зернистой материи»). В то же время и само формообразование еще не означает правильного (истинного) формообразования. Какие же формы следует предпочитать как истинные, а какие как ложные — H_2O или H_3O ?

Для дополнительного лимитирования уже предварительно отобранных лимитаций требуется некое подобие программирования. Наука с точки зрения ее теорий и методов предстает как совокупность *программ* по определению *истинности/ложности* предположений. Это можно интерпретировать так. Программы (теории и методы) лимитируют научный интерес в некоторой узкой области (скажем, молекулярной структуре вещества) и, исходя из знаний об этой ограниченной области и словно следуя определенным алгоритмам, отсеивают истинное от неистинного.

Строчки программы могут выглядеть, например, так: «если предложенная к наблюдению форма жидкой смачивающей субстанции без вкуса и запаха, растворяющей соли и т.д., имеет внутреннюю структуру H_2O (*теория*), мы имеем дело с истиной и следует перейти к следующей строчке программы с использованием *методов* эмпирической проверки этого предположения; если предложенная форма после эмпирической проверки имеет структуру отличную от H_2O , мы имеем дело с ложностью и следует остановить вычислительную машину. В эту же программу входят строчки с отнесением к таким признакам, как «научное», «интересное», «актуальное», «новое». Так, некоторые возможные формы — в предварительных строчках программы еще до решения по поводу молекулярной структуры — будут признаны «ненаучными», «неинтересными», «неактуальными», «неновыми» и машина исчисления и соответствующий алгоритм будет остановлена еще до признания (или непризнания) той или иной формы истинной. Поэтому в каком-то смысле нетривиальная ложность формы имеет большее значение, чем тривиальная истинность формы.

При этом данные программы, как уже говорилось, всегда имеют бинарную форму: если программа предстает в виде теорий, то всегда конфронтирует с соответствующей *методологической* программой ее проверки.



Почему недостаточно только теорий, редуцирующих описание реальности в понятиях? Или только методов — удостоверенных и надежных практик получения (измерения) научного результата? Ответ Лумана в следующем: такая бинаризация в конечном счете делает возможным снятие лимитаций, т.е. приращение нового знания. Причем это характерно именно для науки в отличие от других коммуникативных систем, где программы (политические программы в виде партийных программ¹³, экономические программы в виде ожиданий на цены¹⁴, ориентация на господствующие стили в искусстве) не имеют таких взаимных сдержек, как лимитация *теория vs метод*. Заметим, что в других коммуникативных программах кодирования коммуникации всегда доминируют методы (политтехнологии в политике, мастерство стиля в искусстве, быстрая реакция на изменение предпочтений потребителя в экономике), а концептуализации и теоретизации объектов не имеют самостоятельного значения и ценности для этих систем. Так, художественный метод, реализуемый в рамках некоторого стиля, даже при высочайшем мастерстве художника еще не определяет художественного статуса произведения как произведения искусства; если политтехнологии работают, нет смысла искать причину их функциональности в правильной понимании (теории) источников электоральных предпочтений; если цены на товар растут, вкладывать нужно в данный товар, неважно, что он собой представляет и как его понимать с теоретической точки зрения.

В научной коммуникации, напротив, методы существуют не просто ради успешного продвижения продукта (знания) и увеличения его объемов, т.е. в виде технологии производства знания (так, метод спектрального анализа делает возможным приобретение все больших массивов знания о химическом составе звездного вещества). Методы еще и обеспечивают *проверку* теорий и делают возможными новые теории. Теории же, в особенности новые, в свою очередь требуют все новых методов.

Мы вернулись к той самой *двойной контингенции*, определяющей поведение в повседневной ситуации. Лимитации (ограничения новых высказываний знанием прошлых и удостоверенных положений) определяются не самим предметом в его функции truth-maker. Они определяются *соотношением* теорий и методов. Каждый полюс этого отношения относительно произволен. Можно создавать теоретические описания и модели (и общества, и Солнечной системы; любой сложности и уровня абстракции), добавляя и удаляя переменные, но

¹³ «Если власть предлагает увеличение расходов, требуй снижения расходов», «если внешняя политика власти успешна, критикуй внутреннюю».

¹⁴ «Если цены растут, покупай и переходи на строчку, соответствующую ожиданию падения цен; если цены падают, продавай и переходи на строчку, соответствующую ожиданию повышения цен».



лишь некоторые из них можно обосновать методологически, применив соответствующие подтверждающие измерения и замеры, а вместе, в виде взаимооппозиции, они образуют необходимость¹⁵.

Социоэпистемологический тезис Лумана состоит в том, что базовая коммуникативная структура *двойной контингенции*¹⁶, определяющая взаимоотношения повседневного общения, проявляется и в основании функционирования высококомплексной коммуникации как дистинкция *научные теории / научные методы*.

В то же время и другая фундаментальная коммуникативная дистинкция *инореференции / самореференции* в свою очередь получает выражение в том же самом различении методов и теорий. Коммуникация всегда стоит перед выбором: сосредоточиться либо (и) на обсуждении внешнего мира, либо (и) на самом коммуникативном обсуждении, на характере его протекания, на его причинах (скрытых интенциях)¹⁷. Эта дистинкция выражается в том, что теории отвечают за программирование исследований внешнего мира, а методы программируют само научное обсуждение, ограничивая его возможности.

Компаративистский интерес науки и проблема социального неравенства

Однако этим не ограничивается присутствие общества в «науке общества». Третий социально-коммуникативный фактор теоретического интереса — интерес сравнения. Уже субъект-предикатная форма предложения естественного языка в какой-то степени это выражает, поскольку в нем субъект сравнивается с предикатом. Ведь всякий предикат в конечном счете представляет лишь множество объектов, наделенных общим (= *сопоставимым*) свойством. Эта базовая языковая структура получает рафинированное развитие в науке, собствен-

¹⁵ Так, мы можем произвольно избирать метод измерения углов треугольника (см. сноску 3), например вслед за Гауссом испускать световой луч с трех горных вершин, замерять получившиеся углы и на основании этого решать вопрос о соответствующей, т.е. вытекающей из результатов измерительного метода, теории искривления пространства (отрицательной кривизны (псевдосфера), если сумма углов меньше 180° , и положительной кривизны, если сумма углов больше 180°). Но мы можем начать с теории — решить теоретический вопрос о том, *является ли луч действительно кратчайшим расстоянием между точками*. Соответственно этому теоретическому решению мы будем выбирать методы измерения, где измерение посредством лучей уже не может быть применено.

¹⁶ То есть произвольности начинания коммуникации любым из двух гипотетических участников коммуникации и ограничений (необходимостей), которые проявляются в реакциях Другого на это начинание [Парсонс, 2000: 434]. О современной интерпретации принципа двойной контингенции см. работу Р.Э. Бараш [Бараш, 2016: 36–40].

¹⁷ Когда некоторый Эго говорит о погоде (инореференциальный модус), Другой всегда может подумать, что речь не о погоде, но о восприятии Другого как неинтересного собеседника (самореференциальный модус), и соответственно отвечает.



но и состоящей из бесконечного сопоставления свойств и характеристик. При этом проблема в итоге заключается в поисках условий возможностей тех или иных равновесных состояний (химических соединений, организмов, обществ и т.д.), или, в другой терминологии, — устойчивости тех или иных форм (комбинаций, органов) того или иного медиа (субстрата, образующего формы). Равновесия *сравниваются* с неравновесиями.

Эта сравнительная форма *равновесное / неравновесное* может быть легко обращена к любым динамичным процессам. Так, в античности проблему видели в объяснении стабильности движения без внешнего источника (почему летит копье, после того как его отпустили). А наука Нового времени ставит вопрос равновесия иначе: что является внешним источником нарушения равновесия (равномерности) самого движущегося тела. Само автономное равномерное движение уже понимается как нечто стабильное и пример равновесного состояния, а нестабильность связывается с воздействием внешних сил. В этом смысле форма *равновесие / неравновесие (стабильное / нестабильное)* существует независимо от фактической устойчивости и текучести субстрата (медиума).

Такая *независимость сравнительных форм от самих сравниваемых процессов* особенно четко проявляется в социологии. Лумана сравнительные исследования, разумеется, интересуют применительно к социальным наукам. Именно в них в такой компаративистской перспективе возникают сложнейшие исследования *социального неравенства*, отвечающие потребности восстановить поколебленное равенство (Ungleichheitsfeststellungsbeklagungsbedarf). Но независимость научного инструментария (применяемых форм) от исследуемого субстрата проявляется в том, что практическая польза от этих сравнительных исследований остается нулевой, поскольку любой результат сравнительных исследований неравенства (или неравновесности) может использоваться и для восстановления равенства, и для оправдания фактического состояния. В этом смысле даже самые ангажированные (обществом) дисциплины всегда сохраняют автономию, так как их фактические результаты в практическом плане остаются амбивалентными, в то же время эта базовая социальная потребность сравнения не требует от науки теории!

Заключение

Наука, таким образом, ориентируется на свой собственный внутренний сравнительный (= теоретический) интерес. Он состоит в том, чтобы сравнивать то, что с практической точки зрения кажется несопоставимым. Ее задача и функция — *гомогенизировать гетероген-*



ное. Так, увеличение давления оказывается пропорциональным (т.е. сравнимым) увеличению температуры. Но ведь давление не похоже на тепло! Так и звук не очень похож на свет, но наука в столь непохожих друг на друга феноменах (через накладываемые ею формы) выявляет гомогенные (в данном случае волновые) свойства. И в социологической перспективе — тут Луман указывает на собственное достижение — наука общества допускает родовые аналогии, что позволяет сравнивать ее, например, с политической коммуникацией, а экономика выглядит гомогенной искусству¹⁸. Луман вписывает свое достижение в число парадных примеров научно-теоретических прорывов, но тут же выводит свой подход за рамки этих прорывов указанием на дополнительный признак «универсальности» своей теории — на способность системно-коммуникативной теории и саму себя реферировать как один из своих объектов — как особый, теоретический способ коммуникации.

Библиографический список

Бараш, 2016 — *Бараш П.Э.* Культура и мультикультурализм: от философского к системно-теоретическому осмыслению // Вопросы философии. 2016. № 1. С. 36–40.

Витгенштейн, 2011 — *Витгенштейн Л.* Философские исследования. М.: АСТ: Астрель, 2011.

Гудмен, 2001 — *Гудмен Н.* Новая загадка индукции / Н. Гудмен Факт, фантазия и предсказания. Способы создания миров. М.: Идея-Пресс: Логос: Праксис, 2001.

Луман, 2011 — *Луман Н.* Общество общества. Т. 2. М.: Логос, 2011.

Мертон, 1996 — *Мертон Р.К.* Явные и латентные функции // Американская социологическая мысль. М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 379–448.

Нейрат, 2006 — *Нейрат О.* Протокольные предложения // Журнал «Erkenntnis» («Познание»). Избранное. М.: Территория будущего: Идея-Пресс, 2006. С. 310–319.

Парсонс, 2000 — *Парсонс Т.* Структура социального действия. М.: Академический проект, 2000.

Campbell, 1957 — *Campbell N.R.* Foundations of Science. N.Y.: Dover, 1957.

Heider, 2005 — *Heider F.* Ding und Medium. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2005.

Hempel, 1965 — *Hempel C.G.* Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science. N.Y.: The Free Press, 1965.

Luhmann, 1990 — *Luhmann N.* Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1990.

¹⁸ Ведь в обоих случаях предполагается, что посредством денег *Другой* может осуществлять даже и самое вызывающе потребление, а Эго, исключительно как переживающий зритель, при всем своем внутреннем возмущении может лишь переживать, деятельно не вмешиваясь в происходящее. В этом смысле, несмотря на вопиющие различия между экономикой и искусством, базовая коммуникативная структура у них идентичная: *Альтер действует — Эго* (в случае искусства — простой зритель) *переживает*.



References

- Barash R. Culture and multiculturalism [Kultura i multikulturalizm]. *Problems of Philosophy – Voprosy filosofii*, 2016, no. 1, pp. 36–40.
- Campbell N. R. *Foundations of Science*. New York: Dover, 1957. P. 465.
- Goodman N. *Fact, Fiction and Forecast* [Fakt, fantazija i predskazanja]. Spособy sozdanija mirov]. Moscow: Idea-Press, Logos, Praxis, 2001. 376 p.
- Heider F. *Thing and Medium* [Ding und Medium]. Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2005. 128 p.
- Hempel C.G. *Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science*. New York: The Free Press, 1965. 505 p.
- Luhmann N. *Theory of Society* [Die Gesellschaft der Gesellschaft]. Vol. 2. Moscow: Logos, 2011. 280 p.
- Luhmann N. *Die Wissenschaft der Gesellschaft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1990. 732 p.
- Merton R. Social Theory and Social Structure [Javnje i latentnye funkcii]. *Amerikanskaja sociologičeskaja mysl' – American sociological thought*. Moscow: Izdatel'stvo MGU, 1996, pp. 379–448.
- Neurath O. Protocol Sentences [Protocollsatze]. *Journal "Erkenntnis" (Cognition) – Zhurnal "Erkenntnis" (Poznanie)*. Moscow: Territorija budushhego Publ., Ideja-Press, 2010, pp. 310–319.
- Parsons T. *The Structure of Social Action* [Struktura social'nogo dejstvija]. Moscow: Akademicheskij proekt, 2000. 880 p.
- Wittgenstein L. Philosophical investigations [Philosophische Untersuchungen]. Moscow: AST, Astrel', 2011. 347 p.



З ДРАВЫЙ СМЫСЛ И ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ

Елена Всеволодовна Золотухина-Аболи-на — доктор философских наук, профессор Южного федерального университета, Ростов-на-Дону.
E-mail: elena_zolotuhina@mail.ru

Рассматривается проблема взаимоотношения здравого смысла и различных феноменов иррационального: противоречивых и абсурдных ситуаций, паранормальных переживаний, деперсонализации и избыточных страстей. Автор прежде всего обращается к уточнению понятия здравого смысла, отличая его от обыденного сознания, это отличие он усматривает в личностном и ответственном характере здравомысленного мышления и поведения. Здравый смысл описывается как такое явление рациональности, которое выступает чрезвычайно гибким инструментом практической жизни. В ходе статьи демонстрируется, что здравый смысл — весьма устойчивое образование, он выдерживает испытание самыми разнообразными иррациональными ситуациями, которые на первый взгляд должны были бы его разрушить. Но, полагает автор, в силу того, что здравый смысл — не только логика, но также способность к интерпретации, юмору, игре, он способен сохраняться даже при паранормальных переживаниях и находить выход из социального и житейского абсурда. Однако здравый смысл не выдерживает испытаний, связанных с разными формами разрушения личности или снижения ее роли. Автор рассматривает ряд психологических феноменов, связанных с гипертрофией эмоциональных и волевых моментов, и показывает, что здравомыслие отступает, когда страсти становятся слишком сильными, а человеческое «я» ведомо внутренними или внешними неподконтрольными ему силами. Иррациональными моментами, существенно потесняющими здравый смысл, являются с точки зрения автора также некоторые социальные явления, например формально-бюрократическое управление.

Ключевые слова: здравый смысл, рациональное, иррациональное, эмоции, страсти, абсурд, парадокс, паранормальные ситуации.

COMMON SENSE AND THE IRRATIONAL

Elena Zolotukhina-Abolina — PhD in philosophy, professor, Southern Federal University, Rostov-on-Don.

The paper is devoted to the problem of the relations between the common sense and the various forms of the Irrational: contradictory and absurd situations, paranormal experience, depersonalization and excessive passion. First of all, the author precises the concept of common sense, distinguishing it from the so-called everyday conscience. The difference is in the personal and responsible character of the common sense thought and behaviour. The common sense is described as an extraordinary flexible instrument of the practical life and a particular phenomenon of the rationality. The paper demonstrates that the common sense is stable. It can be examined and seduced by the very different irrational situations which might destroy it. But the common sense can save itself even in the paranormal experience and quit from the social daily absurd because it isn't merely logic, — it has capacity to the interpretation, humour and playing. However, the common sense cannot survive any demolition of the personality or diminution of its roles. The author examines psychological phenomena including the hypertrophy of emotion and will. It will be shown that too strong passions and loss of self controlling makes the common sense step back. The formal rule of bureaucracy is also the moment which pushes the common sense aside.

Key words: common sense, the rational, the irrational, emotions, passions, absurd, paradox, paranormal situations.





Постановка проблемы

Здравый смысл, как ни странно, один из весьма загадочных феноменов человеческой жизни. Субъективно он воспринимается как нечто ясное, в прямом смысле слова «здоровое» — здоровое размышление, здоровое поведение, но сами черты этой «здоровости» являются предметом рефлексии и споров. Так, здравый смысл то отождествляется со стереотипностью и нормативностью обыденного сознания, то рассматривается исключительно как «стремление к жизни и развитию», то оказывается другим названием суждений рассудка. Однако в любом случае здравый смысл выглядит как начало рациональное, практичное, более того, прагматичное и радикально противостоящее любой парадоксальности, иррациональности и паранормальности. Так ли это? До какой степени здравость способна уживаться с «нездравостью»? Где явственные границы здравомыслия и является ли сам здравый смысл целостным и неделимым?

Статья ставит несколько задач. Прежде всего — уточнить черты здравого смысла как ментального и поведенческого явления. Затем — определить характер связи наличного здравомыслия с явлениями, казалось бы, явно его нарушающими, но окончательно не отрицающими «здорового ума». Далее попытаемся указать те границы, за которыми здравый смысл явно не работает, и его столкновение с «необоримым иррациональным».

Статья не преследует цели дать историко-философский обзор темы здравого смысла, так как он уже давался, и весьма успешно, другими авторами [Мигуренко, 2013; Яковлева, 2007].

Здравый смысл: черты портрета

Говоря о здоровом смысле, мы так или иначе имеем в виду своеобразный *уровень рационального сознания*, присущий большинству людей, живущих обычной повседневной жизнью. Здравый смысл выступает инструментом адаптации и целедостижения как в «штатных», так и во «внештатных» ситуациях. Он свидетельствует о ясном понимании событий (без иллюзий и избыточных фантазий), о сообразительности и сметке, является первейшим помощником в решении житейских задач. Обратимся к мнению известного американского антрополога К. Гирца, который пишет: «Анализ здравого смысла в отличие от пользования им должен, таким образом, начинаться с четкого проведения различия между простым, прозаичным восприятием реальности — или тем, что вы назовете таковым, — и заземленной, разговорной мудростью, выражающейся в суждениях о ней или ее оценках. Говоря о том, что кто-то выказывает здравый смысл, мы



предполагаем, что этот персонаж не просто пользуется своими глазами и ушами, но делает это осознанно, умно, рефлексивно и что, делая это, он способен справляться с повседневными проблемами повседневными способами и с некоторой степенью эффективности. А когда речь идет о нехватке здравого смысла, то подразумевается не умственная отсталость, не отсутствие способности понять, что вода мочит, а огонь жжет, но исключительно то, что индивид не справляется с ситуационными задачами, которые ставит перед ним жизнь» [Гирц, 2008].

При этом здравый смысл, с одной стороны, является живым проявлением установок обыденного сознания, а с другой — несомненно выходит за его пределы. А. Шюц, описывая здравый смысл, фактически отождествляет его установки с установками повседневного мироотношения. Он описывает «мыслительные конструкты здравого смысла» [Шюц, 2004: 10–33], восприятие социокультурной реальности, в которой мы живем, как неоспоримой данности, ее упорядоченность и типизированность, взаимность перспектив, повседневный язык как язык вещей и событий, социальное распределение знания, многообразие форм близости и анонимности, конструирование другого как частичной персональности (наличие социальных ролей), наличие стандартов поведения и т.д. Разумеется, все эти моменты входят в здравый смысл наряду с нормами поведения и общепринятыми оценками ситуаций, но черты обыденного сознания — черты анонимные, некие предпосылки индивидуальных суждений и поступков. А здравый смысл свойствен конкретным людям (причем некоторым — не свойствен). Поэтому здравый смысл — это *обыденное сознание в действии, в поведении, в поступке*, причем не какое-нибудь, а нацеленное на *достижение блага в его общепринятом понимании*.

В отличие от «обыденного сознания» как такового здравый смысл является *ситуативным и контекстуальным*. Его суждения — применение воспринятых общезначимых правил для решения практической задачи «здесь и сейчас». Вспомним И. Канта, который отличал способность суждения от рассудка тем, что она — это умение «подводить под правила», и при этом утверждал, что «способность суждения есть особый дар, который требует упражнения, но которому научиться нельзя» [Кант, 1964: 218], и здесь же: «Отсутствие способности суждения есть, собственно, то, что называют глупостью, и против этого недостатка нет лекарства». В этом смысле суждения здравого смысла — суждения неглупые, умело применяющие нормы и правила для решения практических задач.

В качестве момента здравости здравому смыслу присущи сбалансированные мерные характеристики, что отмечают многие авторы. «Здравомыслие, — пишет Л.Е. Балашов, — это когда человек не торопится делать выводы и одновременно не затягивает с выводами, в меру рассудителен и в меру безрассуден, в меру осторожен и в меру



смел, в меру верит и в меру не верит, в меру сомневается и в меру не сомневается, в меру надеется и в меру не надеется, в меру боится и в меру не боится» [Балашов, 2001: 295]. То есть здравый смысл хорош тем, что не впадает в крайности, и в этом смысле, если следовать Аристотелю, он является немалой добродетелью.

Здравый смысл — всегда *принадлежность личности*, конкретно человека, он выдвинулся на первый план в эпоху Просвещения, когда Европа радикально избавлялась от средневекового наследия с его жесткими традициями и господством догматики, а в практической жизни стали цениться способность самостоятельного рассуждения, определенная проворность ума. «Здравый смысл, — пишет Т.Б. Длугач, — обнаруживает себя как своеобразный орган человеческого интеллекта, переводящий всеобщие определения духа в некий узкий и прочный круг личного в выборах решения и личной ответственности за *этот* поступок, за *этот* день, за *это* содержание своего поведения», и далее: «Фактически понятие здравого смысла тождественно понятию автономной личности, которая формируется начиная с XVII в. и постепенно становится основой демократического общества» [Длугач, 2008: 9].

Как принадлежность автономной личности, здравый смысл оказывается тесно связан с *ценностями человека, его моралью, а также эмоциями*. Он не может быть «просто цепью рассудочных размышлений», потому что людей без эмоций и предпочтений не бывает. Здравый смысл, несомненно, стремится, как мы уже заметили, к «общепопулярному благу», но не обязательно исключительно и только к собственным «жизни и развитию». Здравость тяготеет к прагматичности, но не сводится к ней, подчиняясь ориентирам культуры и усвоенной индивидом нравственности. Если ценности, которые высоко значимы для личности, превосходят ее саму, то даже самопожертвование в контексте личностного выбора может быть здоровым решением. Люди нередко сознательно и даже хладнокровно жертвуют собой ради своих убеждений, военной победы или блага собственной семьи, считая это поведением, наиболее соответствующим ситуации. Хотя, конечно, при здравости все же доминирует стремление жить и жить, по возможности, хорошо.

Эмоции, которыми наделена личность, чаще всего мешают здравому смыслу как взвешенной практичной рассудительности. Страх, любовь или бесосновательная надежда препятствуют ясности взгляда, к чему мы еще обратимся. Здесь лишь хочется подчеркнуть, что ответственность, свойственная действительно здравомыслящим персонам, обычно не переходит в невротическое чувство вины, не самодовлеет, оставаясь в пределах «операционального отношения», как момент оценки собственного поведения в целях его совершенствования.



Поскольку здравомыслие — момент выбора автономной личности, постольку оно несет в себе свойства самого акта выбора, который, если вспомнить Ж.П. Сартра, тесно связан со способностью *творчества и изобретения* [Сартр, 1989: 339]. Как же именно человеческое сознание в лице здравого смысла уживается с тем морем вне-рационального и иррационального, которое его окружает?

Здравый смысл: парадоксальное и паранормальное

Используемое нами слово «иррациональное» следует объяснить для ясности дальнейших размышлений. На наш взгляд, эмоции, волю и другие характеристики внутреннего мира лучше именовать «внерациональными» до тех пор, пока они не превышают обычной меры и не пытаются подменить собой моменты рациональности, вытеснить их. Об *иррациональном* мы вправе говорить либо тогда, когда внерациональные — внелогические, случайные, бессвязные, сугубо континуальные и неопределенные — моменты, а также моменты абсурдные и противоречивые, не вписанные в обычный опыт, вступают в конфликт с рациональным пониманием и рациональными, целесообразными способами действия. Иррациональные переживания могут целиком охватывать и определять поведение человека, но и практические житейские ситуации могут выступать как выпадающие из всяких правил и из наличной картины мира, а также ввергать людей в состояние неразрешимого противоречия. В отличие от внерационального, которое составляет с рациональным вполне гармоничную мозаику, а порой и амальгаму, иррациональное всегда так или иначе вводит в стресс, нарушает порядок, пугает. Поэтому очень важно понять, способен ли человек сохранять в иррациональных ситуациях здравый смысл, что происходит с сознанием и волей, как мы реагируем на парадоксальное и паранормальное, когда оно вторгается в нашу жизнь.

Концепция сознания В.М. Аллахвердова дает определенные объяснения возможностям сознания вообще и здравого смысла в частности справляться с иррациональными факторами жизни. Аллахвердов видит сознание как инстанцию, постоянно создающую гипотезы о мире и проверяющую их, но при этом создается «защитный пояс осознаваемых гипотез», с которыми сличается реальность. В книге «Сознание как парадокс» Аллахвердов описывает эмпирически проверенные многими психологами реакции обычного человеческого сознания на случайные, смутные и противоречивые ситуации. По результатам исследований он утверждает, что при получении противоречивой информации сознание как логическая система стремится не осознавать наличное противоречие, избавиться от противоречивого



переживания и исказить информацию так, чтобы она укладывалась в привычные связные формы.

Если принятие решения расходится с ожиданием, сознание дольше работает над ситуацией. Если же сознание сталкивается с чем-то совсем не вписывающимся в картину реальности, оно настойчиво стремится связать непонятное с понятным и вписать неизвестное в известное. «Закон разрыва шаблона: неожиданная смена контекста вызывает эмоциональный шок и сбой в поведении, — пишет Аллахвердов, — пока в результате длительной работы защитного пояса сознания не произойдет переинтерпретация (переструктурирование) ситуации, т.е. не будет найден новый контекст, который порождает бы ожидания, более соответствующие действительности» [Аллахвердов, 2000: 496].

Кроме способности переинтерпретации и соответственно «иногo объяснения ситуации» сознание, как отмечает Аллахвердов, «имеет много возможностей подтверждать свои гипотезы. Всегда можно выбрать такие слабые требования к точности соответствия, когда все что угодно может быть отождествлено со всем чем угодно. И всегда существует такой признак, по которому можно отождествить два во всем остальном совершенно различных явления» [Аллахвердов, 2000: 500]. То есть Аллахвердов показывает, что в логическом отношении здоровое обыденное сознание в состоянии справиться с «иррациональным накатом» своими собственными логически-интерпретативными средствами, оно делает бессмысленное осмысленным, создает закономерность там, где ее, возможно, нет, и строит такой вариант картины мира, в котором можно действовать если и не по привычным лекалам, то во всяком случае осмысленно. Можно сказать, что «по здравому смыслу» мы стараемся действовать «согласно логике вещей», даже если эту логику нам приходится производить самим.

Немало внимания тому, как обычное, здоровое человеческое сознание справляется (или не справляется) с иррациональными для него ситуациями, уделает Пол Вацлавик. Он говорит о противоречивых и парадоксальных предписаниях и обещаниях. Противоречивыми он называет предписания, когда человеку приходится выбирать одну из двух альтернатив, отказавшись при этом от другой. Например, нельзя съесть пирожное вечером и одновременно оставить его на утро. «Но при противоречивом предписании, — отмечает он, — логический выбор все же возможен. Парадоксальное предписание, напротив, *делает бессмысленным сам выбор*, поскольку ни одна из альтернатив не представляется возможной» [Вацлавик, Бивин, Джексон, 2000: 226]. Вацлавик называет это патогенной ситуацией двойного ограничения. Это положения, когда человек, чтобы выполнить указание, должен его не выполнить (знаменитый парадокс брадобрея, который бреет всех солдат, которые не бреются сами) или же и выполняя, и не выполняя предписание, все равно оказывается виноват и наказан. Самое



печальное, что при жестких отношениях подчинения бессмысленное указание не может обсуждаться. Р. Лэнг тоже описывает подобные ситуации, говоря, например, что если мать отталкивает ребенка, когда он подходит к ней, и обижается, когда он не подходит, при этом ничего не объясняя, то это даже может стать источником шизофрении.

Как же здравый смысл способен справляться с парадоксальными указаниями (и обещаниями), не впадая в ступор и оставаясь здоровым? Кстати, из противоречивых указаний он, как правило, выходит с успехом: можно вечером съесть полпирожного, а половину оставить на утро... Думается, здравый смысл во всех случаях выручает то, что он — *не только логика*. Он способен перемещаться по «семантическим слоям», сомневаться, проявлять хитрость, лукавство, юмор, помогающие ему выходить из парадоксов.

Вацлавик считает, что реакция обыденного сознания на абсурдные обстоятельства может быть тройкой: напряженный поиск смысла в происходящем, точное выполнение бессмысленных указаний (например, «копать от забора до обеда») и уклонение от коммуникации. Интереснее всего не столько «нахождение смысла», сколько здравомысленное поведение, помогающее смягчить абсурдизм, нередко проистекающей из слишком сильной подчиненности, слишком большого доверия и господства «чистой логики». Так, парадокс про брадобрю, который должен брить всех солдат, которые не бреются сами, разрешается, если солдат-брадобрей полагает, что он не брадобрей, а просто человек, который сам себя бреет, или же в игровом режиме считает, что он, как в театре, играет две роли сразу.

Говоря о реакции сознания на абсурд, Вацлавик приводит в пример жену, которая очень доверяла мужу, а он пригрозил «тоже найти себе развлечение», если она не перестанет пить перед обедом аперитив. Жена так верила в честность своей половины, что впала в неумеренную и беспричинную ревность, поскольку аперитив по-прежнему пила. Это, очевидно, особый случай невротической реакции. В отличие от невротика человек, обладающий здравым смыслом, всегда конкретно смотрит на события, способен ставить под сомнение категорические утверждения, а также относиться к обещанному со здоровым недоверием.

В современной жизни, где огромны регулятивные возможности управленческой иерархии, многие люди постоянно оказываются в парадоксальной формалистической ловушке. Начальники дают подчиненным невыполнимые задания и обещают наказать за их невыполнение, при этом подчиненные остаются достаточно психологически здоровыми и ясно мыслящими. Видимо, образ начальника не связан в этих случаях с сакральными чувствами, страхом и любовью, которые заставляли бы «держаться буквы» указания, а здравый смысл располагает человека к иронии, юмору и житейским хитростям, которые в данном случае оказываются спасительны. Здравый смысл влечет за



собой здоровое, лишённое экзальтации переживание и предрасполагает к поведению, которое в просторечии именуется смекалкой. Сказки всех стран полны примеров, где герои спасаются (правда, не от начальников, а от ведьм и драконов), находя выход из безвыходных положений с помощью шутки, игры и неожиданного поведения, придающего иной смысл происходящему.

Неразрешимо абсурдными и разрушительными являются только ситуации, где зависимость одних людей от других выступает полной, а наказание — жестоким и неотвратимым. Тогда действительно может спасти только «уклонение от коммуникации» или просто побег от издевательства.

В народной мысли здравый смысл, способный взаимодействовать и порой кооперироваться с абсурдом, создает самые различные шутки-перевертыши вроде «Ехала деревня мимо мужика, вдруг из-под собаки лают ворота». Это смешно, потому что одновременно и несуразно, и вполне понятно. Своеобразным испытанием здравого смысла выступает название сказки «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Однако в этой сказке «то, не знаю что» оказывается просто волшебником-невидимкой, так что абсурдное повеление оборачивается полезным приобретением — прагматический рассудок торжествует. Народная здравость проявляет удивительную изворотливость, человек находит тысячу способов для придания смысла бессмысленному, для нахождения прагматичных моментов в бестолковых ситуациях, вносит логику в любую абракадабру. У детей разных поколений воспроизводится «игра в калыки», когда нужно случайно нарисованной закорючке придать узнаваемую форму, и с этим обычно все успешно справляются: делают из чернильного пятна собаку, а из росчерка пера — человечка. Здравый смысл разнообразными способами теснит бессмысленное, он — «Протей, постоянно меняющий форму» [Егоров, 2006: 43].

Интересны свидетельства живучести здравого смысла и его доминирования в сознании, представленные как в художественной литературе, так и в литературе оккультно-эзотерической, претендующей на описание реального, но паранормального опыта. Примечательно чтение с этой точки зрения «Алисы в стране чудес». Алиса, поставленная в условия непрерывно меняющихся странных обстоятельств, с одной стороны, как-то приспосабливается к окружающему абсурдизму, но с другой — остается верна всем здравомысленным поучениям обычной жизни, которые она твердо усвоила. Так, становясь огромной от съеденного волшебного пирожка, она деловито, хотя и не без сомнений, беседует со своими отдаляющимися ногами как с живыми существами: «Бедные вы мои ножки, кто же теперь будет надевать на вас чулочки и туфли... Я-то уж сама никак не сумею обуваться! Ну, это как раз неплохо. С глаз долой — из сердца вон! Раз вы



так далеко ушли, заботьтесь о себе сами!.. Нет, — перебила она себя, — не надо с ними ссориться, а то они еще не станут меня слушаться! Я вас все равно буду любить, — крикнула она, — а на елку буду вам всегда дарить новые ботиночки!» [Жэрролл, 2015: 20]. Алиса осознает себя воспитанной, грамотной и ответственной девочкой во всех безумных перипетиях, в которых она оказывается. Обратим внимание на то, что Алисе не чужды юмор и ирония.

Можно сказать, что такая реакция Алисы — просто выдумка автора. В то же время в современных эзотерических произведениях весьма уважаемых исследователей порой описываются так называемые астральные выходы, т.е. паранормальные состояния перемещения сознания, при которых ясность мысли, самоотчетность, здравомыслие в полной мере сохраняются. Обстоятельства выступают как иррациональные, ни на что не похожие, нарушающие все свойства обыденности, а здравый смысл никуда не девается. Так, книга Роберта Монро «Путешествия вне тела» пошагово описывает необычный опыт автора, который он осознает, анализирует, ищет ему внятные объяснения. Монро провел скрупулезный анализ ощущений тела и самочувствия сознания в состояниях «астрального выхода», когда физическое тело лежит в трансе, и стремился доказать, что его переживания — не галлюцинации и не сновидения. Он писал: «От типичного состояния сновидения мои опыты отличаются прежде всего следующим: 1) ощущением непрерывности сознания; 2) интеллектуальными или эмоциональными решениями... 3) многозначностью воспринимаемого через сенсорные каналы или их эквиваленты; 4) неповторяемостью одних и тех же ситуаций; 5) развитием событий в последовательности, что предполагает временную протяженность» [Монро, 1994: 163]. Монро рассказывает о полной ясности осмысления происходящего, естественных в этой ситуации страхах, любопытстве и вполне рациональном стремлении разобраться. Будучи полностью сохранным как личность, он, подобно Алисе из сказки, верен своим обычным представлениям о хорошем и плохом, должном и недолжном, хотя задает себе много вопросов о новых реалиях.

Близкий по характеру опыт «здорового размышления» в «нездоровых обстоятельствах» описывает и Станислав Гроф, в частности в книге «Космическая игра». Проводя в США эксперимент с тогда еще не запрещенным ЛСД, он переместился из помещения, где находился, в квартиру своих родителей в Праге, причем обнаружил себя среди ламп, электрических схем и проводов. «После некоторого замешательства, — пишет Гроф, — я понял, что мое сознание заключено в телевизор, который стоял в квартире моих родителей, в углу комнаты. Чтобы видеть и слышать, я каким-то образом пытался использовать динамики и кинескоп. Спустя некоторое время я невольно рассмеялся, так как осознал, что это переживание — что-то вроде симво-



лического розыгрыша, насмешка над тем, что я до сих пор в плену давних представлений о пространстве, времени и материи... Как только я четко убедился и твердо уверовал, что мое сознание может выйти за пределы любых ограничений, включая скорость света, переживание быстро изменилось. Телевизор “вывернулся наизнанку”, и я обнаружил, что хожу по квартире своих родителей в Праге» [Гроф, 1997: 90]. И хотя через некоторое время Гроф испугался того смещения реальностей, к которому оказался причастен, до какого-то момента его мысль работала внятно и отчетливо.

Видимо, неправ был Альбер Камю, когда призывал своих читателей «жить, не отрывая глаз от абсурда»: абсурда смерти и иррациональности. Чем больше человек глядит на абсурд, чем дольше он действительно находится в парадоксальном, иррациональном положении, тем скорее он начинает превращать его в некий вариант обыденности, где возможны рефлексия, здравомыслие и различные сопоставимые версии происходящего. Внутренний порядок сложившегося сознания создает пусть нерадостный, но порядок в любом бредовом беспорядке. Главное, чтобы сохранялась личность.

Иррациональное против здравого смысла

Если личность нарушена или хотя бы потеснена, человек не может рационально и ответственно действовать и о здравом смысле можно забыть. Личностное ядро, самосознание, индивидуальная воля — это то, благодаря чему только и возможно здравомыслие, а иначе кому оно будет принадлежать? В этом смысле в размышлениях Ж. Делеза и Ф. Гваттари о «желающих машинах», «шизопоотоках» говорится не только об отказе от личностного центра, но и от всякого здравого мировосприятия вкупе с ответственностью за то, что творишь.

Итак, два первых и самых опасных противника здравого смысла — это патологические случаи — деперсонализация и одержимость, свойственные тяжелым неврозам и психозам. В более мягком варианте это — разные формы самоотчуждения, которые не всегда можно сразу разглядеть. Деперсонализация означает отчуждение от самого себя, наблюдение за собой по преимуществу со стороны, невовлеченность в общение и деятельность, чувство нереальности происходящего и вследствие этого обезличенность. Человек, пребывающий в состоянии деперсонализации, переживает мир так, будто он сам себе не важен и неприятен и вообще на самом деле не существует. «Отчасти это последствие невротического развития в целом, — замечает К. Хорни, — особенно *всего того, что есть в неврозе компульсивного*. Всего, что включает в себя: “Не я иду, меня несет”. В данном контексте неважно, в какой области имеется компульсивность —



в отношениях с людьми (смирение, мстительность, уход) или по отношению к себе (самоидеализация). Сама вынужденность влечения неизбежно лишает человека независимости и спонтанности... Компulsive влечения, находящиеся в конфликте между собой, еще более снижают его цельность, его способность решать и давать указания» [Хорни, 1997: 143]. Когда снижаются рефлексия и самоконтроль, человек оказывается игрушкой неподконтрольных ему внутренних и внешних сил. Понятно, что говорить о здравомыслии в этом случае не приходится. В более тяжелых ситуациях с деградацией Я окончательно исчезает надежда на способность самостоятельно и гибко оценивать ситуацию и избирательно, в рамках конкретного контекста применять социокультурные нормы. «При шизофреническом состоянии, — пишет Р. Лэнг, — мир стоит в руинах, а Я (очевидно) мертво» [Лэнг, 1995: 85].

Потерявший Я безумец также не может вести себя и мыслить здраво, как и человек, в чьей душе поселились «даймоны», о которых много пишет Дж. Хиллман [Хиллман, 2006], опираясь на идеи К.Г. Юнга. Даже если не считать эти звучащие в голове чужие голоса «отколовшимися частями личности» и проявлением глубинных архетипов, это не снимает вопроса об отсутствии здравости. Можно согласиться с глубоко уважаемым мною В.В. Налимовым, когда он говорит о многомерности личности; можно принимать психологическую теорию субличностей, которая разделяется, в частности, гештальт-терапией, но нельзя принять, что личность, которая переживает себя децентрированной, многополярной, способна на последовательную здравость: разнопорядковые «голоса» внутри будут тащить ее в разные стороны. В течение нескольких лет мне, автору этой статьи, приходится наблюдать титаническую борьбу знакомого человека с «голосом» внутри его сознания. Человек продолжает работать, заниматься своим маленьким бизнесом, к врачу идти отказывается. Его рациональное мышление, которое отчасти сохраняется, противостоит напору «чужих» указаний, стремится остаться единственным центром. При этом, используя гибкость здравого смысла, человек изобретает объяснение своему раздвоению: он считает, что он — суфий и у него сложный суфийский путь к духовному совершенству через страдание. Однако никто не знает, победит ли его «здоровое Я» или оно окончательно рухнет под напором «внутреннего Другого».

Серьезным противником здравого смысла является также всякое нарушение меры эмоций и желаний, пусть даже оно никак не проходит по ведомству психиатрии. Одержимость страстями и пороками ничем не лучше настоящего безумия, и многие преступления человечества связаны с тем, что порой называют иррациональными «безразмерными желаниями»: жадной власти, богатства, самоутверждения, которые нельзя ничем насытить и усмирить. В этих случаях полно-



стью исчезает самокритика, которая хотя и не доминирует в здравомыслии, но обязательно присутствует как механизм обратной связи с миром. Кстати, юмору, спасительному в ситуациях осознаваемого абсурда, здесь тоже нет места. Люди, ведомые маниакальной страстью алчности или самоутверждения, очень серьезны по отношению к самим себе. Интересно, что при этом они весьма расчетливо и прагматично подбирают средства для решения задач, по существу отрицающих здравый смысл, который так или иначе ориентирован на правила общежития и применение сложившихся социокультурных норм. Здесь в несколько иной мере, чем при патологии, также возникает своего рода одержимость, навязчивость, сверхзначимость, переходящая в фанатизм. Перед фанатизмом здравый смысл пасует, он с ним не справляется, поскольку тот, кто охвачен иррациональной страстью, например желанием господства, не слушает никаких разумных аргументов и не принимает во внимание предупреждений об опасности. Здравый смысл вообще «не боец», он — проявление осторожности, осмотрительности, и любые сильные страсти, даже позитивные, — стремление к героическому, романтизм, жертвенное прекраснодушие — ему по большей части чужды. Они нарушают взвешенность и адаптивность, нацеленность на утверждение доминирующей ценности, в первую очередь ценности жизни и благополучия.

Противоречит здравому смыслу и доктринальность, не терпящая критики. Создатели и приверженцы доктрин, религиозных или политических, всегда впадают в крайности, тяготеют к экстремальным позициям, нарушают баланс здравомыслия, создают противоположности, в то время как здравость — свойство середины, посредник, медиатор, примиритель. Одновременно доктринер практически теряет свою личность, индивидуальность, он становится рупором идеи, догмата, лозунга, «живым слоганом», не способным на рациональную рефлексию и элемент здорового сомнения.

Особым оппонентом здравого смысла является своеволие, основанное на способности к свободе. Потому что своеволие, это, во-первых, вновь нарушение меры — меры возможного и дозволенного, во-вторых, оно принципиально глухо к аргументам рассудка и разума. Казалось бы, что может быть большим выражением личности, чем ее собственная воля? Но здесь наблюдается случай, когда личность отказывается считаться с логикой мира и вещей, тем самым ставя себя в ряд случайностей, отождествляясь с собственным капризом, готова вредить себе самой вплоть до саморазрушения. Своеволье иррационально и, отвергая здравый смысл, не утверждает личность, а разрушает ее. О своеволии как противнике здравомыслия замечательно писал Ф.М. Достоевский: «Ведь я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен с неблагород-



ной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуться ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет: так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, об которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно оттого, что человек всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и *положительно должно* (это уж моя идея). Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, — вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту» [Достоевский, 1956: 153]. Сами термины, которые выбирает Достоевский, — «каприз», «сумасшествие» — подчеркивают, что, с его точки зрения, люди часто далеки от здравомыслия, а разрушительное, но приятное в данный момент своеволие воспринимают как истинное проявление себя... Нередко эти строки цитируют, чтобы показать, как Достоевский отвергает буржуазную рассудочность, стремящуюся к выгоде, но персонаж, произносящий эти слова, настолько отвратителен, что трудно поверить, будто классик с ним совершенно солидарен...

Разумеется, наш обзор «оппонентов» здравого смысла далеко не полон, но можно смело сказать, что само обыденное сознание, которое отнюдь не сводится к своей рациональной составляющей, в значительной степени является пространством для расцвета разнообразных внерациональных и иррациональных форм мировосприятия. Здравый смысл должен постоянно балансировать между полярностями: крайностями нормативности и традиционности, эталонами общепринятого, с одной стороны, и страстями и своеволием — с другой. Он должен быть послушным и критичным, серьезным и ироничным, рассудочно-строгим и игровым — в зависимости от происходящего. Его роль — роль Фигаро, он обязан неумолимо находить некое «среднее арифметическое» между несопоставимыми требованиями и влечениями, до какой-то степени угождать тем и другим, вести своего владельца по жизни наиболее оптимальным путем.

Весьма своеобразным противником здравого смысла выступает современное динамичное, неустойчивое, постоянно меняющееся общество, трансформирующее представление об идентичности, без которого нет здравомыслия. Кризис идентичности как самих людей, так и целых сфер жизни прекрасно описан в работах Ж. Бодрийяра: «Кибернетическая революция подводит человека, оказавшегося перед



лицом равновесия между мозгом и компьютером, к решающему вопросу: человек я или машина? Происходящая в наши дни генетическая революция подводит человека к вопросу: человек я или виртуальный клон? Сексуальная революция, освобождая все виртуальные аспекты желания, ведет к основному вопросу: мужчина я или женщина?» [Бодрийяр, 2000: 38]. Естественно, что проблемная и «текучая» идентичность, подменяющие друг друга социокультурные сферы, доминирование режима «общества спектакля» (Ги Дебор) лишают размышления и поступки той здравости, которая свойственна периодам относительной социально-нравственной стабильности и устойчивости общезначимых норм и стереотипов. Это можно увидеть и на примере захваченности целых народов идеалом культурной толерантности, которая способна последовательно привести к национально-культурному самоуничтожению, и на примере увлеченности трансгуманизмом, который ведет к уничтожению человеческого. Что «более здраво» — дать другим народам поглотить свой народ или отстаивать собственную идентичность? Что вернее соответствует здоровому смыслу — сохранять собственно-человеческое или стремиться к максимальной киборгизации, открывающей новые горизонты для постчеловеческого существа? Здесь здоровый смысл вновь отсылает нас к системе ценностей, сам он не справляется, ибо его фундамент поколеблен.

Наконец, завершая наше небольшое размышление, подчеркнем, что всякое отчуждение, всякое отделение формы от содержания порождает по крайней мере внешнюю поверхностную иррациональность, которая тяжело переживается людьми как тягостный абсурд. Примечательно, что в этом случае здоровый смысл нередко не исчезает, он просто перемещается внутри сложных социальных феноменов, занимая какой-либо «этаж» разделяемой реальности, но очевидно отсутствуя на другом. Типичный тому пример — действие разветвленной бюрократической системы. На нижнем «этаже» — уровне исполнителей, которых сокращают, заставляют выполнять бесчисленные никому не нужные формальности, создают им невыносимые условия труда, дают противоречивые указания, требуют заведомо нереальных объемов работы и т.д. — действия начальства кажутся бредом, а действительность — затмевающей любого Кафку. Но на верхних этажах управленчески-бюрократической пирамиды все эти бессмысленные указания оказываются в чем-то выгодны, наверное, очень удобны, они помогают держать подчиненных в узде, иметь на каждого ослушника компромат, формально успешно отчитываться перед вышестоящими руководителями, под сурдинку брать взятки и воровать. То есть здоровый смысл тут вполне присутствует, просто он не распространяется на дело, на исполнение работы, на производство материальных или духовных благ, а служит исключительно благу чиновни-



ков по принципу «твой абсурд = мой здравый смысл». Рацио продолжает работать, но в узком спектре, существуя за счет лежащего ниже «моря иррационального». Впрочем, само это иррациональное порождает свои «здравомысленные выходы», одним из которых, как мы уже замечали, является халтура и, добавим, очковтирательство. Выживание исполнителей зависит от «соответствия иррациональным требованиям», и они предъявляют свидетельства фальшивого и формального соответствия. Круг рационального-иррационального замыкается.

Некоторые выводы

Здравый смысл — повседневное проявление *ratio*, способность к гибкому контекстуальному мышлению и поведению, которая может сохраняться в самых нелепых, странных и паранормальных ситуациях, но лишь до тех пор, пока человек сохраняет личностную целостность и идентичность. В бредовой и абсурдной обстановке здоровое сознание продолжает действовать благодаря выходу за пределы «чистой логики», обращению к сопредельным областям внутреннего мира, связанного с фантазией, шуткой, игрой. Именно такое «расширение здравого смысла» за свои пределы ведет к упорядочиванию окружающей реальности, ее рационализации и даже к превращению ее в «вариант обыденности».

Здравый смысл помогает человеку жить и развиваться, а также утверждать свои ценностные приоритеты, но он не справляется с разросшимися силами иррационального, когда они подрывают единство Я, вызывают навязчивое поведение, выражаются в разного рода нарушениях меры — деперсонализации, страстной одержимости и избыточном своеволии. Если нет патологии, то возвращению здравости помогает лишь снижение накала страстей, что возможно с помощью того же юмора, иронии и игры.

Современное динамичное общество, трансформирующее идентичность и исполненное различных форм отчуждения, является большим испытанием для человеческого здравомыслия, хотя не исключено, что оно сделает здравый смысл еще более изощренным и точным инструментом сознания.

Библиографический список

- Аллахвердов, 2000 — *Аллахвердов В.М.* Сознание как парадокс. СПб., 2000. 528 с.
Балашов, 2001 — *Балашов Л.Е.* Практическая философия. М., 2000. 320 с.
Бодрийяр, 2000 — *Бодрийяр Ж.* Прозрачность зла. М., 2000. 258 с.
Вацлавик, Бивин, Джексон, 2000 — *Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д.* Психология межличностных коммуникаций. СПб., 2000. 299 с.



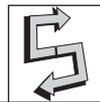
- Гирц, 2008 — *Гирц К.* Здравый смысл как культурная система. — <http://polit.ru/article/2008/01/17/deertz/> (обращение к сайту 07.01.2016).
- Гроф, 1997 — *Гроф С.* Космическая игра. М., 1997. 256 с.
- Длугач, 2008 — *Длугач Т.Б.* Подвиг здравого смысла или рождение идем суверенной личности. М., 2008. 336 с.
- Достоевский, 1956 — *Достоевский Ф.М.* Записки из подполья // Ф.М. Достоевский. Собр. соч. Т. 4. М., 1956. 610 с.
- Егоров, 2006 — *Егоров А.Е.* Здравый смысл как трансгрессия // Измененные состояния сознания. СПб., 2006. С. 40–52.
- Кант, 1964 — *Кант И.* Критика чистого разума» // И. Кант. Соч. В 6 т. Т. 3. М., 1964. 799 с.
- Кэрролл, 2015 — *Кэрролл Л.* Алиса в стране чудес. М., 2015. 142 с.
- Лэнг, 1995 — *Лэнг Р.* Расколотое «я» М., 1995. 352 с.
- Мигуренко, 2013 — *Мигуренко Р.А.* Здравый смысл как предмет философской рефлексии // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 370. 199 с.
- Монро, 1994 — *Монро Р.А.* Путешествия вне тела. Киев, 1994. 260 с.
- Сартр, 1989 — *Сартр Ж.П.* Экзистенциализм — это гуманизм // Сумерки богов М., 1989. 398 с.
- Хиллман, 2006 — *Хиллман Дж.* Архетипическая психология. М., 2006. 351 с.
- Хорни, 1997 — *Хорни К.* Невроз и личностный рост. СПб., 1997. 320 с.
- Шюц, 2004 — *Шюц А.* Избранное: мир светящийся смыслом. М., 2004. 1056 с.
- Яковлева, 2007 — *Яковлева Л.И.* Понятие здравого смысла и традиция, его конституирующая // Вестник Московского университета. Философия. 2007. № 4. С. 29–49.

References

- Allahverdov V.M. *Conscience as a Paradox* [Soznanie kak paradox]. Saint Petersburg, DNK, 2000. 528 p.
- Balashov L.E. *Practical Philosophy* [Prakticheskaya filosofiya]. Moscow, MZ-Press, 2001. 320 p.
- Baudrillard J. *Transparency of Evil*. Moscow, Dobrosvet, 2006. 258 p.
- Carroll L. *Alice's Adventures in Wonderland*. Moscow, AST, 2015. 142 p.
- Dlugach T.B. *Exploit of the Common Sense Or the Birth of the Idea of Sovereign Person* [Podvig zdravogo smyisla ili rozhdenie idem suverennoy lichnosti]. Moscow, Kanon+, Reabilitacija, 2008. 336 p.
- Dostoevsky F.M. *Notes From Underground* [Zapiski iz podpolya]. *F.M. Dostoevsky. Collected works*, vol. 4, Moscow, Gosudarstvennoe izdatel'stvo hudozhestvennoj literatury, 1956. 610 d.
- Egorov A.E. *Common Sense as a Transgression* [Zdravyiy smysl kak transgressiya]. *Altered states of consciousness — Izmenennyye sostoyaniya soznaniya*. Saint Petersburg, Rech', 2006, pp. 40–52.
- Geertz K. *Common Sense As Cultural System*. Available at: <http://polit.ru/article/2008/01/17/deertz/> (accessed 07.01.2016).
- Grof S. *Cosmic Game. Exploration of the Human Consciousness*. Moscow, Ganga, 1997. 256 p.
- Hillman J. *Archetypal Psychology*. Moscow, Cogito-center, 2006. 351 p.
- Horney K. *Neurosis and Human Growth*. Saint Petersburg: Vostochno-Evropejskij institut psihoanaliza i BSK, 1997. 320 p.



- Kant I. *Critic of the Pure Reason* [Kritik der Reinen Vernunft]. *I. Kant. Collected works*, vol. 3, Moscow, Mysl', 1964. 799 p.
- Laing R. *The Divided Self*. Moscow, Belyj krolik, 1995. 352 p.
- Migurenko R.A. Common Sense as a Matter of Philosophical Reflexion [Zdravyyiy smysl kak predmet filosofskoy refleksii]. *Bulletin of Tomsk State University — Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, 2013, no. 370, pp. 38–45.
- Monroe R.A. *Journeys Out of the Body*. Kiev, Sofia, 1994. 260 p.
- Sartre J.P. Existentialism is a Humanism. *Twilight of the Gods [Sumerki bogov]*, Moscow, Politizdat, 1989, pp. 319–344.
- Schutz A. *Favorites: World glowing sense*. Moscow, ROSSPJeN, 2004. 1056 p.
- Watzlawick P., Beavin J., Jackson D. *Psychology of Interpersonal Communications*. Saint Petersburg, Rech', 2000. 299 p.
- Yakovleva L.I. The Concept of the Common Sense and the Tradition of Its Working Out [Ponyatie zdravogo smysla i traditsiya, ego konstituiruyuschaya]. *The Bulletin of Moscow State University — Vestnik Moskovskogo universiteta, Philosophy*, 2007, no. 4. pp. 29–49.



«Т УСКЛОЕ СТЕКЛО» НЕПОДОБНЫХ ОБРАЗОВ: СИМВОЛИЧЕСКИЙ МИР АРЕОПАГИТИК

Наталья Геннадьевна Николаева — доктор филологических наук, доцент, завкафедрой латинского языка и медицинской терминологии Казанского государственного медицинского университета; профессор кафедры русского языка и прикладной лингвистики Казанского федерального университета.
E-mail: natalia.nikolaeva@kazangmu.ru

Статья рассматривает символический мир Ареопагитик с точки зрения его дихотомии на подобные и неподобные подобия (образы). Неподобные образы в свою очередь делятся на достойные, средние и самые отдаленные. Подобными и неподобными образами Ареопагит описывает мироустройство методом катафатическим и апофатическим, при этом апофаза для него заметно важнее, так как в отрицании (чем не является Бог) или в применении к нему недостойных предикатов становится выразительнее его принципиальная трансцендентность и непознаваемость. Подобные и достойные неподобные образы суть божественные имена, новозаветные и ветхозаветные соответственно, позволяющие познающему субъекту приблизиться к пониманию структуры мироздания. К средним неподобным образам относятся антропоморфные и зооморфные символы сочинения. К наиболее отдаленным — проявления человеческих страстей в применении к именованию или описанию Бога. Творчество Ареопагита дает пример соединения восточной и западной традиций искусства аргументации, оставаясь при этом в рамках христианского опыта.

Ключевые слова: Дионисий Ареопагит, образ, символ, богопознание, апофатический метод, техника и искусство перевода, искусство аргументации.

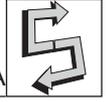
THE «HAZY OUTLINE» OF DISSIMILAR IMAGES: THE SYMBOLIC WORLD OF CORPUS AREOPAGITICUM

Nataliya Nikolaeva — PhD in philology, Head of the Department of Latin language and Medical terminology, Kazan State Medical University; Professor at the Department of Russian language and applied linguistics, Kazan Federal University.

The symbolic world of Corpus Areopagiticum is considered here from the prospect of the dichotomy in similar and dissimilar similarity (the images). The dissimilar images are divided into decent, average and the distant ones. The similar and dissimilar images of Areopagite describe the world system by cataphatic and apophatic approach. The apophatic one seems to be noticeably more important for the author, as in denial (what God is not) or as in applying of unworthy predicates concerning him, his fundamental transcendence and unknowability become more expressive. Similar and dissimilar images are both the divine names from the New Testament and the Old Testament respectively. They allow the agent of cognition get closer to the understanding of the universe structure. The divine names correspond to the so-called universal concepts which are considered in the works of contemporary linguistic conceptualistics. Anthropomorphic and zoomorphic characters of the Scripture belong to the dissimilar images, such as parts of the human body, wild animals etc. The most distant dissimilar images should be analyzed as the manifestations of the human passions applied to the naming or description of God. This is the most controversial aspect of the dissimilar similarities because of their provocative character for a profane reader. Thomas Aquinas, one of the ardent admirers of the Corpus, has denied it while considering the theory of images ("The Mystical Theology"). The works of Areopagite have become an example of combining the Eastern and Western traditions of argumentation which still remains within the framework of the Christian experience.

Key words: Dionysius the Areopagite, image, symbol, the cognition of God, the apophatic method, technique and art of translation, art of argumentation





Показательно, что мысль эта повторяется в других текстах Ареопагита, что является свидетельством ее неподдельной важности для его умопостроений, — ср.: Ἀληθῶς ἱμφανεις εἰκόνες εἰσὶ τὸ ὄρατ τῶν ἀόρατων. — «Воистину явленные образы есть видимое [проявление] невидимого» (Ер X).

Интересно отметить, что, назвавшись Дионисием Ареопагитом, неизвестный христианский мистик принимает на себя некий образ, наиболее важной составляющей которого является тот факт, что он был учеником апостола Павла и от него воспринял христианское учение. Существование в парадигме учитель–ученик и взаимоотношения в ней очень важны для античного и раннесредневекового знания. И.А. Герасимова называет передачу знаний от учителя к ученику специфическим способом познания [Герасимова, 2014: 74–75]. Исследователь замечает, что «трансляция знания от учителя к ученику предполагает совершенно иное отношение к доказательству и аргументации по сравнению с информационными цивилизациями... В трансляции знания становятся приоритетными установки “говорить по сознанию ученика”, “пояснять неизвестное через известное”. Особую роль играют логические операции — методы доказательства и опровержения, определения понятий, ключевым становится метод аналогии» [там же].

В случае с научно-литературной мистификацией в Ареопагитиках их автору приходится восстанавливать эту несуществовавшую (во всяком случае — в непосредственном личном контакте) связь и «говорить по сознанию учителя», используя методы и искусство аргументации апостола, которые в корпусе уже его собственных сочинений были призваны, с одной стороны, продемонстрировать восприимчивость их автора к освоению учения Павла, а с другой стороны, показать преэминентность в использовании этих методов при передаче знаний уже своим ученикам, к которым он неоднократно обращается в своих трудах. И в этом он оказывается настолько последовательным, что один из современных исследователей его творчества рекомендует рассматривать Ареопагитики исключительно через призму учения апостола Павла, ибо только в этом случае его тексты будут правильно поняты и интерпретированы [Stang, 2012].

Искусство аргументации Ареопагита как мистика строится в рамках христианской традиции, в которой переплелись несколько методов. И.А. Бескова в исследовании аргументации мистиков выделяет следующие стратегии: во-первых, «несмотря на осознаваемую недостаточность выразительных возможностей обычного языка, мышления и средств аргументации, все же попытаться представить собственный мистический опыт в традиционно логической форме»; во-вторых, «отчетливо сознавая недостаточность традиционных форм репрезентации знания в тех вопросах, которые затрагивают трансцендентную реальность, заменить их на вызывающе нетипич-



ные варианты»; в-третьих, «сознавая ограниченность возможностей обычного языка и ресурсов обычного состояния сознания, все же не пытаться совершенно разрушить привычные средства мышления, а для передачи глубинного содержания сделать акцент на косвенном указании, используя притчи, нравоучительные истории, символы и метафоры» [Бескова, 2003: 327–328]. Первый подход исследовательница относит к европейской традиции, второй — к дзэнской, третий — к суфийской [там же]. Но если проанализировать с этой точки зрения Писание (даже ограничившись Новым Заветом), можно обнаружить там все три способа рассказать о трансцендентном. Если применение первого не требует пояснений, то второй и третий употребляются часто совместно. Ярким примером является ряд притч, основанных на неожиданном образе, ломающем традиционные логические связи. Например, притча о десяти девах (Мф. 25: 1–4): «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху; из них пять было мудрых и пять неразумных; неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла, мудрые же, вместе со светильниками своими взяли масла в сосудах своих». Именно этот принцип изложения и аргументации является основой символизма Священного Писания.

И в методологии апостола Павла Ареопагита привлекает прежде всего символизм. В корпусе его сочинений неоднократно упоминается трактат «Символическое богословие» (по данным Б.Р. Зухла, четырежды в трактате «О божественных именах», по два раза в «Таинственном богословии» и в Послании к Титу, а также в трактате «О небесной иерархии» [Suchla, 2008: 210]). Послание к Титу по традиции рассматривается как сопроводительное письмо к «Символическому богословию». Однако сам трактат до нас не дошел, или же он вообще никогда не был написан и является лишь частью общей литературной мистификации персоны, скрывшейся за именем Дионисия Ареопагита. В некоторых исследованиях — не всегда прямо — проскальзывает и такая мысль, что за этим названием стоит весь корпус сочинений Псевдо-Дионисия или что весь корпус можно рассматривать как исследование символического богословия [Бычков, 2012].

Образы и божественные имена как неподобные подобия

Наиболее важную часть богословия символов Псевдо-Дионисия составляют так называемые «неподобные образы» (греч. ἀνόμοια σύμβολα, ἀνόμοια μορφολοΐαι, ἀνόμοια ἀναλλάξεις), поскольку их режущая внутренний взор парадоксальность и очевидное несоответствие реальности горнего мира заставляют решительно отринуть привязанность к пред-



метно-чувственной матрице нашего восприятия и тем самым приблизиться к пониманию той реальности более, чем при использовании «подобных» привычных образов возвышенного характера, которые, однако, апеллируют к сложившемуся у нас представлению о прекрасном.

Исследуя символический мир Ареопагитик, В.В. Бычков выделяет два типа неподобных образов: «Это прежде всего в прямом смысле слова совершенно несходные с божественной сферой образы, заимствованные у неприличных, безобразных, постыдных явлений тварного бытия, которые самой своей неприглядностью и безобразием должны оттолкнуть воспринимающего и возбудить, направить его дух на нечто диаметрально противоположное форме символа — на возвышенно просветленное понимание духовной сферы. А на другом полюсе образы, заимствованные у нейтральных и даже позитивных и прекрасных явлений тварного мира, т.е. в какой-то мере подобные подобия. Однако и они, по Дионисию, настолько далеки от высшего мира, что тоже должны пониматься как неподобные подобия (в широком смысле), т.е. как символы вещей еще более высоких, чем они сами, — возвышенных, сверхчувственных» [Бычков, 2012: 124].

Подобные подобия, которые в итоге оказываются также неподобными, — это прежде всего божественные именованья, почерпнутые из Писания, которые Дионисий рассматривает в трактате «О божественных именах». Какие именно божественные имена Священного Писания выбирает автор для своего изложения? Имена эти он черпает как из Ветхого, так и из Нового Завета, но использует в своем повествовании не все существующие, а проводит определенный отбор. Так, он не включает в свой трактат божественное имя Ветхого Завета «Целитель» (Исх. 15:26), «Знамя наше» (Исх. 17:15) или весьма существенные новозаветные богоименования «Путь» (Ин. 14:6), «Пастырь добрый» (Ин. 10:11), «Альфа и Омега» (Откр. 1:8, 22:13) и многие другие. Те же, которые Псевдо-Дионисий счел необходимым рассмотреть в своем трактате (Сущий, Свет, Красота, Любовь, Тот же, Другой, Единый, Совершенный, Доброе, Великий, Малый, Премудрость, Ум, Вера, Слово, Истина, Справедливость, Покой, Мир, Движение, Жизнь, Спасение, Сила, Ветхий денми, Вседержитель, Святое святых, Царь царей, Господин господ, Бог богов, Подобный, Неподобный, Равенство), удивительным образом соответствуют набору «универсальных понятий», выработанному в трудах современных концептуалистов³. В целом обе системы вполне соотносимы с основными философскими категориями (материя, сущность, количество, качество, сознание, истина, движение, бытие, жизнь, причина и след-

³ См. [Вежбицкая, 2001: 53]. Сопоставление с системой божественных имен у Ареопагита проанализировано нами в [Николаева, 2006].



ствие, необходимость и случайность, время, пространство, род и вид, тождество).

Таким образом, выводы современных концептуалистов находят в истории науки еще одно подтверждение: система универсальных понятий почти в том же виде была сформулирована еще христианствующим неоплатоником V в. на основании авторитетнейшего источника.

Это неудивительно, так как Ареопагит отбирает те имена, которые показывают нам проявление трансцендентной Божественности в сотворенном мире как принципы мироустройства и миропознания, делая тем самым уступку ограниченности человеческого разума. При этом он не однажды пытается — даже в утвердительной, катафатической части изложения — указать на то, что все эти имена не могут приблизить нас к пониманию Бога, который ничем из названного не является.

Так, объясняя божественное имя Сущий, он тут же отрицает принадлежность Бога к бытию, мастерски используя полный грамматический набор форм глагола *быть* (είναι с его «заместителем» γίνεσθαι ‘рождаться, становиться’, который восполняет парадигму темпоральных форм, а в настоящем времени подчеркивает процессуальность, бытие как становление), чтобы полностью исключить причастность Всевышнего к категории времени: οὔτε ἦν οὔτε ἔσται οὔτε ἐγένετο οὔτε γίνεται οὔτε γενήσεται, μᾶλλον δὲ οὔτε ἔστιν (DN V, 4) — «[Он Сам] и не был [имперфект], и не будет [будущее], и не существовал [сильный аорист], и не появляется [настоящее время], и не появится [будущее], более того — и не существует [настоящее]». Самое парадоксальное утверждение Дионисий, по всем правилам риторики, ставит на последнее место в ряду этих форм: Бога нет в сущности, но Он — как продолжает Ареопагит — является бытием существующего (ἀλλ’ αὐτὸς ἐστὶ τὸ εἶναι τοῖς οὐσίς). Это и оправдывает существование соответствующего божественного имени, которое по большому счету также является неподобным подобием, поскольку не отражает истинного знания о Боге, а только — опосредованное.

Условность божественных имен подчеркивается Псевдо-Дионисием и в главе, посвященной именам «Ум», «Слово», «Истина», «Вера» (DN VII). Размышления об Уме Дионисий начинает цитатой из Посланий апостола Павла: «Немудрое Божее премудрее человеков» (1Кор. 1:25). Божественную Премудрость он называет бессловесной, безумной и глупой (ἄλογον... ἄνου... μωρὰν, DN VII, 2). В этой же главе он опять возвращается к теории неподобия: Τὸ γὰρ ἄνου καὶ ἀναίσθητον καθ’ ὑπεροχὴν, οὐ καθ’ ἔλλειψιν ἐπὶ Θεοῦ τακτέον ὡσπερ καὶ τὸ ἄλογον ἀνατίθεμεν τῷ ὑπὲρ λόγον καὶ τὴν ἀτέλειαν τῷ ὑπερτελεῖ καὶ προτελείῳ καὶ τὸν ἀναφῆ καὶ ἀόρατον γνῶφον τῷ φωτὶ τῷ ἀπρσίτῳ καθ’ ὑπεροχὴν τοῦ ὁρατοῦ φωτός (DN VII, 2) — «Следует определять Бога



как безумного и бесчувственного в смысле превосходства, а не в смысле отсутствия, так же, как мы полагаем именование бессловесного Тому, кто выше слова, и несовершенного — Тому, кто превосходит всякое совершенство и предстоит ему, и неошутимого и невидимого мрака — неприступному Свету, превосходящему свет видимый».

«По образу и подобию»: антропоморфные символы для описания трансцендентных сущностей

Однако божественные имена отличаются от собственно неподобных подобий тем, что они не эпатируют человеческий ум парадоксальностью и кажущейся неуместностью. Конечно, катафатические именованья могут ввести в заблуждение: так, Ареопагит в трактате «О небесной иерархии» предостерегает нас от ложного представления, что небесные сферы населены «златоподобными небесными сущностями и световидными мужами» (СН II, 3). Он учит, что каждая деталь в описании трансцендентного мира и сущностей глубоко символична, а сущностям этим мы по обыкновению, замкнутые в границы чувственного восприятия, придаем вид антропоморфный или зооморфный.

Таким образом, описывая символику изображений ангелов, Псевдо-Дионисий приоткрывает нам завесу, которую мы, по выражению апостола, видим в зеркале этого мира. Например, так выглядит символика пяти чувств, данных человеку, в применении к ангельским сущностям: «Способность зрения указывает на чистейшую обращенность вверх к божественным светам, а также на нежное, мягкое, не враждебное, но остроподвижное, чистое и бесстрастно-открытое приятие богоначальных осияний; способность различать запахи — на восприятие, насколько возможно, превышающего ум благоухания, умение отличать, анализируя, не таковое и полностью его избегать; способность слышать — на причастность богоначальному вдохновению и познавательное его восприятие; вкус — на исполненность пищи для ума и приятие божественных питательных излитий; осязание — на способность отличать, распознавая, полезное от вредного...» (СН XV, пер. Г.М. Прохорова). Антропоморфные символы ангельских сил в общем, без особой детализации действий органов чувств, раскрывают их устремленность к Богу (зрение, слух, вкус, обоняние), способность различать добро и зло (обоняние, осязание); антропоморфные же символы, в которых раскрывается Бог, более детально соотносятся с деятельностью человеческих органов чувств,



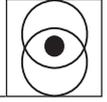
обозначая всеведение (зрение, обоняние, осязание), милость (слух) и т.п.

Надо заметить, что, с одной стороны, нам в этих описаниях дается общее преставление о свойствах разумного и сверхразумного мира, а с другой — понимание того, чего мы сами являемся образами. Ведь мы занимаемся мысленным конструированием символов той реальности, отображением которой, в частности, мы сами являемся и которую видим в тусклом стекле или в загадочном отражении феноменов этого мира. Подсказку нам дает Ареопагит, перечисляя среди прочего части человеческого тела, которые в Писании не упоминаются (например, плечи, локти, зубы, грудь, хребет и т.п.), в их символическом обозначении ангельских свойств, тем самым приоткрывая тайну того, что является прообразом чувственно воспринимаемого мира, хотя в нем полное приобщение к этому знанию для нас закрыто. Рассуждение Ареопагита — это скорее некий намек на то, в каком направлении должны течь наши мысли, когда мы задаемся этими вопросами. Неслучайно описания символики ангельского мира у него достаточно общи и расплывчаты.

Однако не только формы человека, но и его чувства, причем самые недостойные, могут стать символами божественных устремлений в мире разумных существей (ангельских чинов) и даже божественной сферы: к таким чувственным проявлениям, имеющим иной смысл в разумной сфере, относятся гнев, вождление, неужержимость, неразумность, бесчувствие (СН II, 4). «Можно, стало быть, — заключает богослов, — не обманывающие образы небесного творить из наименее чтимых частей материи, поскольку и она, получив бытие от истинно Прекрасного, во всяком своем материальном порядке имеет некий отзвук умственного благолепия, и с их помощью можно быть возводимым к невещественным архетипам, воспринимая подобия, как сказано, неподобно и одно и то же не одинаково, но гармонично и соответствующим образом разграничивая особенности умственного и воспринимаемого чувствами» (пер. Г.М. Прохорова, там же).

«И воста яко спя Господь, яко силен и шумен от вина»

Оттолкнувшись от этой теории пансимволизма, которая зиждется на общей неоплатонической идее божественной эманации как основе мироустройства, уже совсем нетрудно обосновать необходимость и важность, скажем точнее — более высокую для богословия значимость неподобных образов, к тому же Ареопагит и в ее отношении находит неопровержимую поддержку в Писании, что «все хорошо весьма» (Быт. 1:31), — цитату, которую он приводит в трактате «О небес-



ной иерархии» (II, 3) непосредственно перед тем, как начать рассматривать неподобные подобия.

Сами неподобные подобия Ареопагит, ссылаясь на «мистических богословов», делит на образы достойных явлений (*των φαλομενων τιμιων*), *πλεονθυ* (*των μεσων*) и самых отдаленных (*εσχάτων*). Образы «достойных явлений» — это те же подобные образы, которые сродни божественным именам. Подобные подобия заимствуются Ареопагитом прежде всего из Нового Завета («Свет», «Жизнь», «Солнце правды», «Утренняя звезда» и т.п.). Неподобные подобия — образы ветхозаветные, в основном из Книг Пророков, Псалтыри, Притч, Песни Песней.

К отдаленным подобиям примыкают, по определению комментатора Ареопагитик Максима Исповедника⁴, «недостойные» (*τιμα*) зооморфные образы: льва, пантеры, барса (рыси), медведицы, червя. Ареопагит не дает указания на конкретные фрагменты Писания, откуда он заимствует эти образы. Максим Исповедник называет пророков Осию и Михея, упоминающих почти всех животных из этого списка в символической функции, но не только они послужили источником для Ареопагита. Ср.: *Занé азъ ёсмь яко панѳирь Ефрёмови и яко лёвъ дому Иўдину...* (Ос 5: 14); *Сегó рáди поразí ихъ лёвъ от дубрáвы, и во́лкъ дáже до домóвъ погубí ихъ, и рысь бдѣше надъ градáми ихъ* (Иер. 5:6). Образ льва в христианском понимании мог иметь диаметрально противоположные трактовки, символизируя как божественную (см. примеры выше), так и бесовскую силу (ср. I Петр. 5:8: *Трезвѣтєся, бóдрствуйтє, занé супостáтъ вáшь дiáволь, яко лёвъ ры́кая, хóдить, искнѣ когó поглотíти*). Амбивалентность образа делает его для автора Ареопагитик, по-видимому, идеальным примером неподобного подобия. Образ пантеры, воплощавший, несомненно, силу и мощь, в христианстве стал ассоциироваться с Христом на том основании, что ее врагом считался дракон, и еще на основании одной поздней легенды о ее трехдневном сне и чудесном после него пробуждении [Телицин, 2005].

Образ медведицы, потерявшей детей, служил символом самой грозной и неумолимой силы. Он несколько раз встречается в Писании: *И речé хусѣй: ты вѣмси отцѣ твоєгу и мужѣй егó, ямко сѣльны сѹтъ зѣлу, и гнѣвливи душáми своѣми, яко медвѣдица чáдь лишѣная на селé, и ўки вѣпръ свирѣпѣый на пóли* (2Цар. 17:8); *Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глушца с его глупо-*

⁴ Б.Р. Зухла установила, что большая часть схолий к Ареопагитикам принадлежит не Максиму Исповеднику, а Иоанну Скифопольскому, но в традиции авторство схолий закрепилось, тем не менее, за прп. Максимом. Не ставя перед собой цель выяснить, какие именно из схолий какому автору принадлежат, мы продолжаем использовать имя Максима Исповедника в этом контексте по существующей традиции.



стью (Прит. 17:12)⁵. Ареопажит же имеет в виду прежде всего следующий фрагмент из Осии: и срящу имхъ аки медвѣдица лишѧема, и разрушѹ соключѧние сердйць имхъ: и поядямть я скѣмни дубрѧвнѣи, и звѣрие польстѣи расторгнуть ѧ. (Ос. 13:8).

Неподобный образ червя восходит скорее всего также к пророку Осии: И буду как моль для Ефрема и как червь для дома Иудина (Ос. 5:12)⁶. Однако в Септуагинте древнееврейское слово со значением «червь» было переведено как *kéntrov* «жало» [Лопухин, 1910: 108]. Видимо, в связи с этим Максим Исповедник, комментируя соответствующий фрагмент Ареопажитик, отсылает нас не к Книге Пророков, а к Псалтыри, к более известному фрагменту Писания — Пс. 21:7: Я же червь, а не человек. Он объясняет, что когда «Давид ... называет Его червем: говоря от лица Господа, он уподобил Себя червю как не от семени родившегося, как мы, но без семени, как черви... Ведь “Я червь, а не человек” говорится как бы от лица воплотившегося Бога, хотя и воспринимается не применительно к божественности, но применительно к видимой низменностью плоти» (СН II, 5; пер. Г.М. Прохорова). На такую неожиданную трактовку этого фрагмента псалма св. Максима, возможно, вдохновила именно теория неподобных подобий Ареопажита.

Другая группа неподобных образов строится на символическом употреблении применительно к Богу именовании человеческих страстей и физиологических свойств. Пожалуй, это самое предельное выражение неподобия, так как речь идет в основном о таких свойствах человеческой природы, которые в нравственном богословии рассматриваются как грех. К таким чувственным проявлениям, имеющим иной смысл в разумной сфере, относятся гнев, возделение, неудержимость, неразумность, бесчувствие (*θυμός, ἐπιθυμία, τὸ ἀκράτēs, ἀλογία, ἀναίσθησιβ*: СН II, 4), гнев, печаль, негодование, опьянение, похмелье, клятвы, проклятия, сон, бодрствование (*θυμός, λύπη, μηνις, μέθη, κραπάλη, ὄρκοι, ἀραί, ὕπνος, ἐγρήγορσις*: МТ III). Почти тот же список страстей в роли неподобных подобий «для обозначения умопостигаемых Божьих промыслов, дарований, проявлений, сил, свойств, жребиев, обиталищ, исхождений, разделений и соединений» автор перечисляет в Послании к Титу (Ер IX, 1): *καὶ πελοκότα, καὶ μεθύοντα, καὶ ρωττόντα, καὶ κραπαλόντα [διαλαττούσης], ὀργή, λύπη, ὄρκοι, μεταμέλεια, ἀρά, μηνις, ρηληρβѣиб* ([сочинено, что Он] пьет, пьянеет, спит и в похмелье пребывает... негодование, печаль, клятвы, раскаяние, проклятие, гнев, многострастность) и др.

⁵ По Синодальному переводу, так как в церковнославянской Библии этот стих представлен по-другому.

⁶ По Синодальному переводу, так как в церковнославянской Библии этот стих представлен по-другому. Причина различия объясняется ниже.



Большая часть страстей из перечисленного списка относятся к грехам, от которых нас предостерегают десять заповедей. Тем не менее эти свойства слабой или поврежденной грехом человеческой природы как неподобные образы применимы к Божественности, более того, они своей экстраординарностью должны оттолкнуть ум от всего обыденного и чувственного, чтобы разрушить все привычные связи Бога с чувственным миром в сознании познающего субъекта. В этом состояла особенность организации неподобных образов, которые сочетали в себе знаковую и психологическую функцию [см.: Бычков, 1991: 219]. Однако такая радикальная теория во все времена трудно воспринималась богословами, даже теми, кто высоко ставил сочинения Дионисия. Так, Фома Аквинский, для которого Ареопагитики стояли сразу после Священного Писания, опередив даже сочинения Августина, не принимал из всего корпуса трактат «Мистическое богословие» [Шленов, 2009], содержащий апогей дионисиевой апофатической мысли. Надо отметить, что и комментаторы Ареопагитик весьма скупо реагируют на эти фрагменты, не дополняя их по своему обыкновению, ссылками на соответствующие фрагменты Писания.

Тем не менее Ареопагит не голословен. Да и не мог бы он измыслить такие вещи, не заручившись поддержкой священного текста. Другое дело — как он воспринимает образы Писания и как развивает их дальше в своем сочинении.

Вряд ли стоит напоминать, что гнев Божий — это *locus communis* Ветхого Завета (частотен этот образ в тех книгах, к которым Дионисий чаще других обращается, — в книгах Пророков и Псалтыри), да и в Новом Завете упоминания о нем тоже звучат (ср. Мф. 3:7, Л. 3:7, Ин. 3:36, Рим. 1:18, Рим. 12:19, Кол. 3:8, Откр. 6:17 и т.п.). В богословии гнев Божий традиционно понимается как переживание человеком (народом) отчуждения от Господа. Ареопагит не говорит о гневе Божьем отдельно — подразумевается, что его, как и другие подобные явления, надо понимать в «превосходительном» смысле⁷. Гнев в мире разумных (умопостигаемых) Ареопагит объясняет через их приверженность божественности: «Ибо ярость бессловесных рождается из страстного порыва, и их порожденное яростью движение исполнено всяческого неразумия, а у существ разумных ярость следует понимать иначе — как обнаруживающую, на мой взгляд, их мужественную разумность и несмягчаемую верность богообразным и непревратным устоям» (СН II, 4; пер. Г.М. Прохорова).

Вожделением Ареопагит называет божественную любовь (а источником этого неподобного образа является прежде всего Песнь Песней); неразумие и бесчувственность призывает понимать в смыс-

⁷ Ср. ЕР IX, 2.



ле превосходительном (Бог выше всякого ума и чувства), как ни парадоксально выглядит в отношении разумных сущностей и Бога определение *бессловесный* (*неразумный*), применяемое обыкновенно к животному миру или (метафорически) к человеку. В самом деле, трудно уложить в сознании, что Бог, одна из ипостасей которого и есть Логос, может быть *λοχός*.

Образ же пира, упоения и похмелья встречается в Псалтыри: «И востá яко спя Господь, яко силенъ и шумень от вино́»: (Пс. 77: 65: Τότε ἐξηγέρθη ἐξ πνου ὁ Κύριος, ὡς ἀνθρώπος δυνατός, βοῶν ἀπὸ οἴνου). Здесь же говорится и про сон. Показательно, что Ареопагит как будто бы не замечает фигуру сравнения в псалме, не замечает этого «как», которое исключает уподобление: Бог не спит и Он не шумен от вина, но это сравнение помогает изобразить Его невероятную мощь — без «как» же мысль звучит совсем по-другому (см. выше: EP IX, 1). Дионисий также исключает всякую возможность уподобления, но для этого ему надо показать, что есть некий образ уподобления и что его ни в коем случае нельзя воспринимать буквально.

Тема опьянения и похмелья — весьма благодатная для рассуждения о неподобающих образах, и автор возвращается к ней снова в Послании к Титу, но Писание не предоставляет ему оснований говорить об упоении Бога (поэтому и комментаторы так сдержанно относятся к этой теме). Видимо, здесь мы имеем дело с известной степенью домысливания в рамках общей пансемиотической теории, когда автор обращает традиционные образы Писания в неподобающие подобия, необходимые ему в его мистическом богословствовании. Таким традиционным образом для Ветхого Завета является, пожалуй, образ чаши гнева Господнего, которой Он опьяняет народы (Ис. 51:17, Пс 59:5, Иер. 25:15). В Новом Завете — это ситуация (брачного) пира, которая часто представлена в притчах и аллегориях (Мф 22:2 и сл. — о званых и избранных, Мф 25:1 — о мудрых девах, М. 2:19 и Л. 5:34 — «могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених?», Откр. 19:9 — «блаженны званые на брачную вечерю Агнца»; Л. 15:23 — пиршество в честь возвращения блудного сына).

Неподобающие образы опьянения и сна, которые встречаются и в СН, и в EP, Ареопагит объясняет в Послании к Титу (EP IX, 5–6): «Применительно к этому изображению священного пира Сам Бог, Причина всех благ, называется упивающимся — в том смысле, что полнота и обилие пира Его превыше всякого разума, или, говоря богоприличнее, что блаженство Его совершенно и безмерность блаженства неизреченна. Как у нас опьянение, принимаемое в худом смысле, есть непомерное исполнение себя вином и иступление ума и чувств, так в Боге, понимаемое в хорошую сторону, оно есть не что иное, как чрезмерная полнота всех благ, соединенных в Нем от века. Последующее же за опьянением иступление ума и чувств есть выра-



жение Божией высоты, недостижимой для нашего мышления, мыслимости и бытия; оно выходит из области ума. Но, как Бог называется как бы опьяненным и исступленным всеми возможными благами потому, что всеми преисполнен, и преисполнен безмерно, хотя обитает вне всего и превыше всего <...> Божий сон есть то, что в Боге таинственно, и вещам, управляемым Промыслом, несообщимо; напротив, бодрствование Бога есть обращение Его Промысла к наставлению или спасению людей, чувствующих в этом нужду» (пер. под ред. митр. Илариона (Алфеева)).

Теория символа у Ареопагита

Сущность символа и феномен пансимволизма Псевдо-Дионисий рассматривает практически в каждом произведении корпуса, поэтому весь он условно и может быть назван символическим богословием: символике божественных именовании посвящен трактат «О божественных именах», символике иерархий, небесных сил и церковных таинств — сочинения «О небесной иерархии» и «О церковной иерархии», особенностям символа в богословии — «О таинственном богословии», некоторые итоги подводятся в Посланиях, девяти письмах разным лицам.

Так, в Послании к Титу, которое, как мы упоминали, считается сопроводительным письмом к несуществующему трактату о символах, Ареопагит делает следующие важные выводы. Во-первых, это то заключение, которое мы привели в самом начале, построенное на платоническом образе отражения реального мира в феноменальном, так что и явления низкого порядка могут оказаться лишь искаженным отражением высших идей реального мира: «И само мироустройство всего явленного произошло от невидимых божественных вещей — так говорит Павел и Истинное Слово» (EP IX, 2). Это теоретическая база для неподобных подобий и апология их.

Во-вторых, это повторение мысли Климента Александрийского о двояком предназначении символа: открыть истину посвященным и скрыть от профанов, отсюда и два вида богословия: «Да не подумаем, что видимые условные знаки созданы ради них самих: они ведь прикрывают неизреченное и невидимое для многих знание, — чтобы не стало доступным для непосвященных всесвятое и чтобы открывалось оно только истинным приверженцам благочестия... Богословское учение двояко: одно — неизреченно и таинственно, другое — явлено и постижимо; одно символическое и ведущее к таинствам, другое философское и аподиктическое; так что в слове соплетено с выразимым невыразимое» (EP IX, 1; пер. Г.М. Прохорова).



В-третьих, это идея о том, что один и тот же символ в применении к разным сущностям и в разных условиях может обозначать разное. Ареопагит приводит в качестве примера образ огня, который «иначе следует понимать ... в применении к сверхразумению Божию, иначе же — к Его умопостигаемым промыслениям, или словесам, или иначе — применительно к ангелам: в одном случае имеется в виду причина, в другом бытие, в третьем причастие, в иных — иное, что определяется их рассмотрением и умопостигаемым порядком» (Ер IX, 2; пер. Г.М. Прохорова).

В сочинении «О таинственном богословии», составляющем вершину апофатического метода Ареопагита, рассматривается особенность символа в богословии, символики, связанной с обозначением горнего мира. Это небольшой (видимо, объем его тоже символичен — своего рода иллюстрация идеи, более, чем любое, самое премудрое многословие, выразительного и действенного молчания в познании Бога) трактат представляет своеобразный итог размышлений и многословия «больших» трактатов Псевдо-Дионисия. В нем, сравнивая неподобные образы с подобными, Ареопагит приходит к выводу, что ни те ни другие в равной степени не имеют отношения к тому, что есть Бог: *Ν οὐχὶ μαλλὸν ἐστὶ ζωὴ καὶ ἀγαθότης ἢ ἀήρ καὶ* — «Не менее ли Он жизнь и благодать, чем воздух и камень? И более ли Он не пребывает в похмелье и не гневается, чем не может быть изречен и помыслен?» (МТ III). Вопросы, надо понимать, риторические.

Вопросы, однозначный ответ на которые дает Писание, как мы видим, продолжали волновать умы мыслителей. Человеку дано стремление к познанию, и он направляет его даже на те объекты, которые в принципе познаны быть не могут. При этом и для описания таких объектов используется весь арсенал техники и искусства аргументации, известной разным культурным традициям. Христианская традиция искони вобрала в себя восточные и западные методы повествования о трансцендентном как некий синтез и усвоила соответствующую систему аргументации. Эта традиция активно развивалась в святоотеческих сочинениях, к которым мы относим и Ареопагитики. Благодаря этому, несмотря на непознаваемость Бога, сам процесс познания, несомненно, вносит значительный вклад в решение смежных проблем, развивая сходные области науки, приносит неожиданные открытия.

Влияние Псевдо-Дионисия Ареопагита на развитие философии, богословия, христианского искусства — при всей неоднозначности его творчества — неоспоримо, и оно неоднократно подчеркивалось исследователями. Его произведения стали объектом пристального изучения с момента их появления на исторической сцене, вызывая полную гамму чувств — от совершенного восторга до полного неприятия. Но при этом несомненно, что творчество его еще не настолько хорошо изуче-



но, чтобы не продемонстрировать нам каких-то новых неожиданных сближений в области гуманитарных наук и искусств, для которых образ всегда был и остается одной из центральных категорий.

Библиографический список

- Бескова, 2003 — *Бескова И.А.* Аргументация мистиков (опыт когнитивного анализа) // Мысль и искусство аргументации ; под. ред. И.А. Герасимовой. М. : Прогресс-Традиция, 2003. С. 323–356.
- Бычков, 1991 — *Бычков В.В.* На путях «незнаемого знания». К публикации малых сочинений из *Corpus Areopagiticum* // Историко-философский ежегодник '90. М. : Наука, 1991. С. 210–220.
- Бычков, 2012 — *Бычков В.В.* Образно-символическая основа мышления автора Ареопагитик // Вопросы философии. 2012. № 9. С. 120–134.
- Вежбицкая, 2001 — *Вежбицкая А.* Понимание культур через посредство ключевых слов ; пер. с англ. А.Д. Шмелёва. М. : Языки славянской культуры, 2001. 288 с. (Язык. Семиотика. Культура. Малая серия).
- Восточные отцы, 2000 — Восточные отцы и учителя церкви V века : антология. ; сост., биогр. и библиогр. ст. иеромонаха Илариона (Алфеева). М. : МФТИ, 2000. 416 с.
- Герасимова, 2014 — *Герасимова И.А.* Древнерусские Шестодневны (логико-методологический анализ) // Философский журнал. 2014. № 2(13). С. 74–87.
- Дионисий Ареопагит, 1997 — *Дионисий Ареопагит.* О небесной иерархии ; тексты, пер. с древнегреч. СПб. : Глагол, 1997. 188 с.
- Дионисий Ареопагит, 2003 — *Дионисий Ареопагит.* Сочинения. Толкования Максима Исповедника ; пер. с греч. и вступ. ст. Г.М. Прохорова. СПб. : Алетей, 2003. 864 с. (Византийская библиотека).
- Ивлиев, 2007 — *Ианнуарий (Ивлиев).* Апостол Павел как художник, поэт и бытописатель своего времени // Христианство и культура : внутривузский сборник научных трудов. Вып. 3. СПб. : СПбГИЭУ, 2007. С. 254–255.
- Лопухин, 1910 — *Лопухин А.П.* Толковая Библия. Т. 7. Даниил и Малые пророки. Пб., 1910. 445 с.
- Николаева, 2006 — *Николаева Н.Г.* Представление о мире и языке в Ареопагитиках // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2006. № 2. С. 44–49.
- Телицин, 2005 — *Телицин В.Л., Багдарасян В.Э., Орлов И.Б.* Символы, знаки, эмблемы // Энциклопедия. 2005. — www.psyoffice.ru/slovar-s358.htm.
- Шленов, 2009 — *Иером. Дионисий (Шленов).* Ареопагитики // Православная энциклопедия. 2009. — www.pravenc.ru/text/75898.html.
- Stang, 2012 — *Stang Ch.M.* Apophasis and Pseudonymity in Dionysius the Areopagite: No Longer I. Oxford: Oxford University Press, 2012. 272 p.
- Suchla, 2008 — *Suchla R.B.* Dionysius Areopagita: Leben — Werk — Wirkung. Freiburg et al.: Herder, 2008. 320 S.

References

Beskova I.A. The argumentation of the mystics (an experience of the cognitive analysis) [Argumentatsiya mistikov (opyt kognitivnogo analiza)]. *Mysl' i iskusstvo*



argumentacii — The Thought and the Art of Argumentation. Moscow, Progress-Tradicija, 2003, pp. 323–356.

Bychkov V.V. On the ways of “unknowable knowledge”. To the publication of opera minora from Corpus Areopagiticum [Na putyakh «neznaemogo znaniya». K publikatsii malykh sochineniy iz Corpus Areopagiticum]. *Istoriko-filosofskiy ezhegodnik, № 90 — Historical-philosophical annual, № 90*. Moscow, Nauka, 1991, pp. 210–220.

Bychkov V.V. The imaginary-symbolic basis of thought of the author of Corpus Areopagiticum [Obrazno-simvolicheskaya osnova myshleniya avtora Areopagitik]. *Voprosy filosofii — Problems of Philosophy*, 2012, no. 9, pp. 120–134.

Dionysius Areopagite. *Celestial Hierarchy* [O nebesnoy ierarkhii]. Saint-Petersburg, Glagol, 1997. 188 p.

Dionysius Areopagite. *Works. Comments by Maximus the Confessor* [Sochineniya. Tolkovaniya Maksima Ispovednika]. Saint-Petersburg, Aletheia, 2003. 864 p.

Easter Church Fathers and Teachers of the 5th century [Vostochnye ottsy i uchiteli tserkvi V veka: Antologiya]. Ed. by hieromonk Illarion (Alfeev). Moscow, MFTI, 2000. 416 p.

Gerasimova I.A. Ancient Russian Hexamerons (a logical-methodological analysis) [Drevnerusskie Shestodnevny (logiko-metodologicheskii analiz)]. *Filosofskiy zhurnal — Philosophical journal*, 2014, no. 2, vol. 13, pp. 74–87.

Iannuariy (Ivliev). Paul the Apostle as an artist, poet and historian of his time [Apostol Pavel kak khudozhnik, poet i bytopisatel' svoego vremeni]. *Khristianstvo i kul'tura — Christianity and Culture*. University collection of papers. Saint-Petersburg, SPbGIEU, 2007, vol. 3, pp. 254–255.

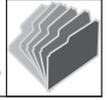
Lopukhin A.P. *Explanatory Bible. Vol. 7. Daniel and Minor Prophets* [Tolkovaya Bibliya. Tom 7. Daniil i Malye Proroki]. Petersburg, 1910, 445 p.

Nikolaeva N.G. The idea of the world and language in Corpus Areopagiticum [Predstavlenie o mire i yazyke v Areopagitikakh]. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikatsiya — Bulletin of the Voronezh state university: Linguistics and intercultural communication*, 2006, no. 2, pp. 44–49.

Shlyonov D. Corpus *Areopagiticum* [Areopagitiki], Available at: www.pravenc.ru/text/75898.html (accessed 29.01.2016).

Telitsin V.L., Bagdarasyan V.E., Orlov I.B. *Symbols, signs, emblems: Encyclopaedia* [Simvoly, znaki, emblemny: Entsiklopediya]. Available at: www.psyofice.ru/slovar-s358.htm (accessed 01.02.2016).

Vezhbitskaya A. *The Understanding of Cultures Through the Key Words* [Ponimanie kul'tur cherez posredstvo klyuchevykh slov]. Moscow, Jazyki slavjanskoj kul'turi, 2001. 288 p.



Г АСТОН БАШЛЯР И АКТУАЛЬНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ

Татьяна Дмитриевна Соколова – кандидат философских наук, младший научный сотрудник сектора социальной эпистемологии, Институт философии РАН. E-mail: sokolovtad@gmail.com

Статья посвящена французской исторической эпистемологии и роли Гастона Башляра в ее теоретическом и институциональном установлении. В ней анализируется место истории науки в контексте французской ветви исторической эпистемологии, которая с начала XX в. начинает восприниматься во Франции как эпистемология *per se*. Данная статья предваряет первый перевод на русский язык доклада Башляра «Актуальность истории науки» и демонстрирует, что в данном тексте Башляр приводит свою программу реформации истории науки как академической дисциплины. Важность данного текста для французской эпистемологической традиции обусловлена тем, что в нем, во-первых, проблематизируется методология исторического исследования, предметом которого является наука, а во-вторых, определяются теоретические задачи эпистемолога и историка науки.

Ключевые слова: Гастон Башляр, французская историческая эпистемология, история науки, философия науки.

Г ASTON BACHELARD AND THE TOPICALITY OF HISTORICAL EPISTEMOLOGY

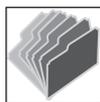
Tatiana Sokolova – PhD in philosophy, junior research fellow, Department of social epistemology, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences

The article deals with the phenomenon of French historical epistemology and Gaston Bachelard's role in its theoretical and institutional establishment. It analyses the place of history of sciences in French historical epistemology, which was considered in France as epistemology *per se* from the beginning of XX century. The article accompanies first Russian translation of Bachelard's lecture "Topicality of the History of Science" and argues that this text represents Bachelardian program for reformation of scientific history as an academic discipline. The importance of this text for French epistemological tradition bases on, firstly, the analysis of methodology of the historical investigation, which subject is a scientific discipline, and secondly, historian's and epistemologist's theoretical approaches.

Key words: Gaston Bachelard, French historical epistemology, history of science, philosophy of science.

Для эпистемологии во Франции Гастон Башляр (1884–1962) является ключевой фигурой. Во-первых, именно он сформировал понятийную рамку того, что сейчас называется французской исторической эпистемологией, во-вторых, сумел закрепить ее институционально и, в-третьих, предвосхитил те проблемы и вопросы, которые начинают обсуждаться в англоязычной эпистемологии только после работ Томаса Куна.

Прежде чем говорить о специфичности французской исторической эпистемологии в теоретическом плане, стоит рассмотреть те институциональные факторы, которые позволили ей, во многом благодаря активной деятельности Башляра и его коллег, занять доминирующие позиции во французской фило-



софской мысли. На протяжении всего XX в. историческая эпистемология развивалась в центральных французских академических институтах. Первым таким институтом была Сорбонна (кафедра философии в ее связи с точными науками, созданная в 1909 г., при которой начинает формироваться круг историков и философов науки). Впоследствии к ней прибавились Коллеж де Франс, где в 1920–1930-х гг. начинают появляться кафедры по истории и философии науки, и организованный в 1932 г. Абелем Реем Институт истории науки и техники (впоследствии переименован в Институт истории и философии науки и техники, ИИФНТ). Ориентация на научную философию и интерес к истории научных дисциплин способствовали созданию междисциплинарных исследовательских центров, первым из которых и стал ИИФНТ. Основные цели и задачи его создания, озвученные на первом заседании Ученого совета 4 марта 1932 г., заключаются в следующем:

«Создать институт, в котором бы сотрудничали преподаватели гуманитарных факультетов, научных факультетов и Коллеж де Франс».

«Обеспечить совместную работу студентов из лабораторий со студентами историками и философами».

«Отказаться от разделения наук на точные и гуманитарные» [IHPST, Présentation].

Институциональное закрепление исторической эпистемологии произошло примерно в 1930–1940-е гг. Это событие связывается, во-первых, с открытием ИИФНТа, а, во-вторых, с преподавательской деятельностью Гастона Башляра сначала в университете Дижона (1930–1940), а затем в Сорбонне (1940–1954). Конечно, Башляр был далеко не единственным философом, не только выдвигающим программу научной философии, но и пытавшимся ее реализовать. Во многом почва для проекта исторической эпистемологии была подготовлена старшими коллегами Башляра: Леоном Брюнsvиком, руководителем его диссертации, Абелем Реем, основателем ИИФНТ, Анри Берром, создателем журнала *Revue de Synthèse*, впоследствии ставшего главным печатным органом фонда «За науку» (*Fondation «Pour la science»*) и Международного центра Синтез (*Centre international de synthèse*). Вокруг Сорбонны и ИИФНТ начинает формироваться сообщество философов, к которым примкнули и некоторые ученые, поддерживающее проект научной философии (философ и математик Фердинанд Гонсет, физик и философ Жан Луи Детуш, логик Полетт Феврие, физик Поль Ланжевен и др.) [Braunstein, 2006]. В этом отношении Башляр находился в русле одной из влиятельных философских тенденций французской академии первой половины XX в., требующей от философии большего внимания к точным наукам, а также необходимости проведения междисциплинарных исследований. Тем не менее впоследствии именно он стал олицетворять эту тенденцию,

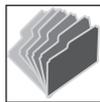


в то время как его многочисленные коллеги и союзники отошли на второй план¹.

Именно с началом преподавательской деятельности Башляра в Париже начался процесс «башлярдизации» высшего философского образования, которая обеспечила трансляцию данной модели эпистемологии во французских университетах и высших школах [Bontemps, 2010: 177–197]. С 1940 по 1954 г. Гастон Башляр параллельно занимает должности заведующего кафедрой истории и философии науки Сорбонны и директора ИИФНТА. С 1955 г. эти же должности занимает ученик Башляра, Жорж Кангилем. Именно при нем произошло окончательное институциональное закрепление исторической эпистемологии в рамках французской академии и сформировалась ситуация, которую Мишель Фуко охарактеризовал как перевес историков над логиками [Фуко, 1993: 43]. Переломным моментом для концепции исторического разума является избрание Мишеля Фуко, ученика Жоржа Кангилама, на должность заведующего кафедрой истории систем мышления Коллеж де Франс (1970–1984). Эти лекции пользуются огромной популярностью не только у студентов философских факультетов, но и у широкой публики. Тем не менее именно в 1980-е гг. «башлярдизация» философского образования во Франции, во многом из-за роста популярности аналитической философии среди эпистемологов и философов науки, начинает сходиться на нет [Bontemps, 2010: 199–202].

Важным моментом является еще и то, что эпистемология занимает во французской академии маргинальное место по сравнению, например, с историей философии или феноменологией [Пэнто, 2004; Сулье, 2004]. Такое положение обуславливается целым рядом причин, основной из которых исследователи полагают сложность самого проекта исторической эпистемологии, требующей от философа серь-

¹ В.П. Визгин отмечает, что у читателя текстов Башляра складывается образ одиночки, противостоящего антинаучным тенденциям и догматизму в философии [Визгин, 1996; Визгин, 2013]. Это верно лишь отчасти: несмотря на ярко выраженный полемический характер работ Башляра, он все же ссылается (хотя и нечасто) на труды своих единомышленников. В рамках единственного подробного исследования на русском языке, посвященного развитию французской эпистемологической мысли [Соколова, 1995], эпистемология во Франции представляется единым и относительно однородным полем, в котором доминирует традиция исторической эпистемологии, а остальные направления представляют собой закономерные следствия из нее. Корни исторической эпистемологии, по мнению автора, уходят в программу позитивизма Огюста Конта, впервые заявившего о необходимости исследовать историю науки. К исторической эпистемологии Л.Ю. Соколова относит всех видных представителей французской эпистемологической мысли от Пьера Дюгема до Брюно Латура, включая Эмиля Мейерсона, Гастона Башляра, Жоржа Кангилама, Жана Кавайеса, Александра Койре и многих других. Однако такой подход игнорирует ряд существенных различий в концепциях указанных философов, которые становятся важны в рамках дискуссий современных французских эпистемологов по поводу дальнейшего развития французской эпистемологической мысли. Тем не менее всех их объединяло требование «научной философии», как бы они не определяли данные понятия.

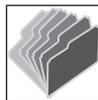


езных компетенций как минимум в одной из естественно-научных дисциплин. Поэтому занятия эпистемологией привлекали, как правило, уже более зрелую публику, философов, имеющих дополнительные дипломы (или даже диссертации) по математике, физике или биологии. Однако это не помешало исторической эпистемологии (в плане определения предмета и методов работы эпистемолога) стать едва ли не единственной институционально закрепленной философской дисциплиной, рассматривающей вопросы познания.

Установление исторической эпистемологии в качестве единственной эпистемологии можно наблюдать на материале французских философских словарей. Наиболее авторитетный из них, выдержавший более 15 исправленных и дополненных изданий, дает следующее определение эпистемологии: «это в сущности критическое исследование принципов, гипотез и результатов различных наук, направленное на определение их логического (а не психологического) происхождения, их ценность и объективную значимость. [...] Английское слово *epistemology* часто используется (вопреки своей этимологии) для обозначения того, что мы называем «теория познания» или «гносеология». Во французском языке правильное употребление [термина эпистемология] относится только к философии науки, как она определена в данном словаре, и философской истории науки» [Lalande, 2010: 293]².

Закрепившись в начале XX в., понимание эпистемологии как особой философской рефлексии над историей науки, а также ее отделение от теории познания продолжают существовать во французской философской традиции вплоть до настоящего времени. В более новом словаре философских понятий предмет эпистемологии мало чем отличается от предложенного Лаландом и его коллегами: «В то время как история и социология науки стремятся нейтрализовать оценочные суждения в отношении устаревших, подтвержденных или развивающихся теорий, чтобы объективировать социальные условия их принятия, эпистемология, напротив, выстраивает иерархию сменяющих друг друга парадигм в соответствии с аксиологией, которая была выявлена посредством внутреннего анализа самих теорий» [Blay, 2007: 260]. В одном из современных французских учебников по эпистемологии констатируется аналогичная картина: «Франкофоны понимают слово “эпистемология” в более узком смысле: они используют его для определения рефлексии исключительно над *научным* по-

² Второе издание данного словаря вышло в свет в 1926 г., первое издание представляет собой отдельные публикации в Бюллетене французского философского общества, выходившем с 1902 по 1923 г. Таким образом, «Технический и критический философский словарь», изданный под редакцией Андре Лаланда, представляет собой «портрет» французской философской мысли первой четверти XX в. Несмотря на многочисленные дополнения (в виде новых статей и комментариев к уже имеющимся статьям), основное содержание словаря отсылает читателя к определениям базовых понятий, принятых во французской философии первой половины XX в.



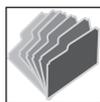
знанием, сохраняя выражение “теория познания” для исследования познания в *целом* (научного и ненаучного)» [Soler, 2009: 16].

Рассматривая различные определения эпистемологии, принятые в современной философии, Паскаль Анжель пишет: «В XX в. под влиянием Брюнsvика, Башляра и Кангилема термин “эпистемология” стал обозначать историческое исследование наук, а иногда и саму историю науки, взятую в противопоставлении идее общей теории познания, которую подозревали в том, что она предлагает нормативную эпистемологию, игнорирующую исторические реалии и имплицитно содержит программу унификации наук, сходную с программой логического позитивизма» [Engel, 2005: 8–9].

Из французского понимания эпистемологии вытекает ряд следствий, наложивших отпечаток не только на работы французских эпистемологов, но и на историко-философские исследования их трудов. Наиболее важным из них является отсутствие четкой демаркационной линии между эпистемологией и философией науки. Поэтому в большинстве исследований, посвященных французской эпистемологии (это касается работ не только на французском языке, но также на английском и русском), эти понятия практически не разделяются и используются в качестве синонимов. В силу того, что определение термина «эпистемология» во Франции скорее соответствует английскому определению философии науки, французские эпистемологи чаще всего именуется именно философами науки и их концепции сопоставляются с исторически ориентированными течениями американской и английской философии науки второй половины XX в. В частности, Г. Гаттинг указывает: «За пределами Франции, после возвышения логического позитивизма, философия науки приняла формальное, неисторическое направление, чуждое французской традиции... Позднее, когда историцистская реакция взяла верх над логическим позитивизмом, англоговорящие философы науки вновь подняли такие важные темы, как теоретическая нагруженность высказываний и несводимость научной рациональности к логике, ранее уже обозначенные во французской традиции» [Gutting, 2001: 39].

Одна из первых и наиболее авторитетных попыток определить специфику французской исторической эпистемологии — исследование Доминика Лекура, в котором автор предлагает ставшую классической линию преемственности Башляр–Кангилем–Фуко [Lecourt, 1978]. Здесь французскую эпистемологию предлагается рассматривать в качестве особой традиции, родоначальником которой объявляется Башляр. Кангилем и Фуко предстают как продолжатели начатой им линии, радикализовавшие ряд тезисов учителя³. Под традицией

³ Хотя впоследствии Лекур и предложил более детальное определение французской эпистемологии, включающее предшественников Башляра, он не отказался от термина «традиция» [Lecourt, 2006].



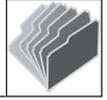
в данном случае понимается линия заимствования ключевых тезисов и методологических приемов у своих предшественников, определяющая направление всего философского проекта в целом.

В противовес этому определению, задающему, по мнению его критиков, слишком узкие рамки для понимания французской эпистемологии, было предложено более гибкое понятие французского стиля в эпистемологии [Braunstein, 2002]. Выбор данного понятия обусловлен в первую очередь тем, что позволяет избежать построения жестких схем, представляющих французскую (историческую) эпистемологию как некое однородное течение. Кроме того, понятие стиля в отличие от традиции или школы позволяет выйти на международный формат: на основании выделенных критериев происходит выбор англо- и немецкоязычных философов, близких в своих исследованиях французским коллегам. Таким образом, «французский стиль» становится не просто одним из порождений французской академии, а международным «брендом», представителей которого можно найти практически в любой стране мира. Ж.Ф. Бронштейн, предложивший такой взгляд на историю французской эпистемологии, дает ей следующее определение: «Она [французская эпистемология] отталкивается от рефлексии над наукой; эта рефлексия — историческая, эта история — критическая, и эта история в равной степени является историей рациональности» [Braunstein, 2002: 923]⁴.

Самой главной чертой французской исторической эпистемологии является изначальное ограничение ее предмета научным знанием. Для французских философов конца XIX — начала XX в. наука представляла собой вершину рациональности, а ее приоритет по отношению к другим видам знания полагался неоспоримым. Исходный тезис — наука существует — снимает с эпистемолога необходимость поиска смутных глубинных оснований познания: чтобы убедиться в том, что они есть и работают, достаточно обратиться к самой науке. Кроме того, при таком подходе с философа снимается еще одна задача: проведение демаркационной линии между наукой и ненаукой (по крайней мере, в ее современном состоянии). Проблема демаркации полностью ложилась на плечи самих ученых.

Тем не менее восприятие науки как данности, которую философ не может игнорировать, необходимо обосновать, но не формальными методами (т.е., не предлагая никакой нормативной программы, дик-

⁴ Тем не менее четких критериев, по которым можно было бы с уверенностью отнести того или иного эпистемолога к «французскому стилю», не существует. К числу представителей французского стиля эпистемологии вне Франции Бронштейн относит Людвиг Флека, Яна Хакинга, Лорен Дастон и их коллег с разных континентов. Фигура Яна Хакинга в этом списке показательна еще и потому, что он является почетным профессором Коллеж де Франс, что также свидетельствует о близости исторической эпистемологии в том виде, в каком она существует во Франции, к различным направлениям философии науки в других странах.



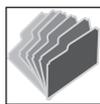
тующей ученым, как они должны работать), а обратившись к истории науки, которая является единственным ее основанием. Здесь имеется в виду историчность науки не как социального, а как интеллектуального явления, которое представляет собой историю разума⁵. Таким образом, историческая составляющая французской эпистемологии постепенно занимала все больше места в трудах эпистемологов⁶. Однако при чисто дескриптивном подходе история науки могла бы стать только набором разрозненных описаний ошибок и успехов различных научных дисциплин. Поэтому философ с необходимостью должен подходить к исследованию истории критически, т.е. выработать систему нормативных критериев, на основании которых исторический материал может быть упорядочен. Основное требование, выдвигаемое к данным критериям, — они должны ориентироваться на современное состояние науки как на ее вершину, с высоты которой оцениваются исторические факты. В данном случае имеется в виду прогрессистский подход к истории науки.

Критический подход к истории науки и исторический метод работы заставили представителей исторической эпистемологии пересмотреть и свое отношение к философии, особенно к философской классике. Критика классических философских текстов и предложенных в них моделей развития знания (в частности, научного знания) — метод работы, не характерный для французской академической среды, где классические философские тексты рассматриваются в качестве непревзойденных образцов мысли, требующих детального и методического изучения. Таким образом, в рамках исторической эпистемологии предлагается новая модель работы философа, построенная по принципу работы ученого и предлагающая обновление самой философии.

Свою концепцию нового рационализма Башляр противопоставляет, с одной стороны, классическому рационализму, а с другой — реализму, который он ассоциирует с «наивными» представлениями о том, что высказывания о мире (даже научные) описывают мир таким, какой он есть. «Повернуть дух от реального к искусственному (artificiel)» [Bachelard, 2004: 13] Башляр полагал основной задачей научной философии.

⁵ Однако если Башляр понимал эпистемологию как философскую историю науки, то Кангилем еще больше радикализовал данный тезис своего учителя, определив философию науки как ее «эпистемологическую историю» [Canguilhem, 1957].

⁶ Тот факт, что на начальном этапе развития исторической эпистемологии непосредственно история науки не доминировала в философских исследованиях, отмечает профессор Института истории и философии науки и техники Жан Гайон, продолжающий работать в рамках программы исторической эпистемологии. Анализируя названия 12 основных работ Башляра по эпистемологии (за исключением одной из его диссертаций, полностью посвященной истории математики), Гайон делает вывод: «Эти названия свидетельствуют о философской рефлексии определенного рода, для которой история науки не является собственно объектом, хотя и играет важную роль» [Gayon, 2003: 58].

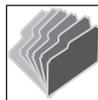


Башляр использует несколько терминов для характеристики нового рационализма: сюррационализм, диалектический рационализм, интеррационализм и даже рациональный (или технический) материализм. Новая философия стоит в центре системы, двумя крайними полюсами которой являются реализм и идеализм, представляющие, по мнению Башляра, две изначальные философские установки. Все существующие эпистемологические концепции, по его мнению, тяготеют к тому или иному полюсу. Эту схему Башляр называет «беглой философской топологией» [Башляр, 2000: 12]. Он не настаивает на том, чтобы новый рационализм занял место всех остальных возможных интерпретаций научного знания: философский плюрализм, постоянно присутствующий в дискуссиях о науке, напротив, более плодотворен, нежели предпочтение той или иной системы, так как избавляет разум от догматизма, но именно рационализм в его новом понимании (как базовая философская установка и ученого, и философа) занимает центральное место в системе и является связующим звеном между различными философскими направлениями.

Постулируя плюрализм философских установок, исследователь избегает абсолютизации какой-либо из них, что, в свою очередь, оставляет разум открытым к восприятию возможного нового опыта, не вписывающегося в ту или иную метафизическую картину. В отдельности каждая философская установка является недостаточной для объяснения феномена современной науки: «В реалистском толковании все есть перегиб, гипотеза, беспочвенное утверждение, *верование*. В рационалистическом понимании все есть конструкция, дедукция, эксплицитное подтверждение, все есть *доказательство*. Именно на стороне рационализма выдвигаются *проблемы*, т.е. осуществляется активная наука. Реализм, эмпиризм, позитивизм представляются здесь как *безапелляционные ответы, свободные от всяких сомнений, воистину финальные*» [Башляр, 2000: 171].

Важный вопрос, на который помогает ответить предлагаемый читателю доклад Башляра, заключается в следующем: если эпистемолог всегда является в некоторой степени историком науки, то в чем состоит отличие задач историка от задач эпистемолога, т.е. философа?

Понимание истории науки как истории рациональности (или просто истории разума) непосредственно связано с пониманием научного познания как вершины рациональной деятельности человека. Обосновывая данный тезис, Башляр, следуя своим учителям, утверждает, что только разум имеет историю и историчен по своей природе, в то время как другие способности человека (например, художественное творчество) по своей природе неисторичны. Рациональность здесь понимается как создание новых и более продуктивных научных гипотез, более эффективно решающих поставленные в рамках научных дисциплин задачи.

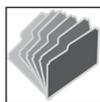


Для проведения исследования в области истории науки от философа требуется исходить из некоторой эпистемологической перспективы, которая так или иначе говорила бы о том, каким образом понимается знание и на каких принципах основывается процесс познания. Для французской исторической эпистемологии такой эпистемологической перспективой становится концепция исторического разума, основанная в свою очередь на новом понимании рациональности в том виде, в котором оно было сформулировано Башляром. Программа обновления философии, т.е. создания научной философии, подразумевает под собой обращение к истории науки и ее постоянному пересмотру в отношении современного состояния научного знания. Таким образом, «философия не должна лезть “вперед” науки, чтобы диктовать ей условия. В то же время философия не должна идти “после” науки, размышляя над ее застывшим или устаревшим состоянием» [Braunstein, 2002: 927].

Теоретическим основанием всех пунктов критики классического рационализма является базовая предпосылка, на которой строится концепция исторического разума: *о разуме, познании и знании исследователь узнает, только наблюдая результаты процесса познания*, наиболее плодотворными из которых являются результаты научных изысканий. На этой предпосылке базируется, в том числе, и понимание эпистемологии как критической рефлексии над историей науки.

В этом отношении *история науки является историей разума*. Поэтому для того, чтобы высказывать суждения о разуме и рациональности, эпистемологу необходимо обращаться к истории науки. На этой же предпосылке основывается разделение задач между философом и ученым, причем требование научной философии в данном случае ставит эпистемолога по отношению к ученому (неважно, к какой естественно-научной дисциплине он принадлежит) в подчиненную позицию. В рамках концепции исторического разума в задачи эпистемолога не входят определение того, что является знанием или истиной (в формальном отношении), выявление критериев истинности и норм научного исследования, разработка научного метода. Все эти критерии разрабатываются (постулируются) учеными. Истина — это современное состояние научного знания. Это знание не является окончательным и абсолютным, так как научный процесс никогда не может быть завершен, но современные достижения всегда находятся на ступеньку выше, превосходя достижения прошлых лет, а не наоборот.

Для адекватной оценки прошлого науки философу необходимо хорошо ориентироваться в ее настоящем, в том, что занимает науку на данный момент. Ракурс из настоящего в прошлое фактически превращает философию науки в оценочную историю науки, а философа — в историка. Тезис Башляра заключается в следующем: историк науки должен ставить себе позитивную задачу описать историю нау-

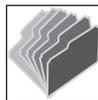


ки такой, какой она должна была бы быть с точки зрения современного состояния научного знания: «история науки всегда должна быть описана как история прогресса знания» [Bachelard, 1972: 139].

Историк науки может в некоторых случаях пренебрегать такой эпистемологической установкой, например, обращаясь к тем историческим периодам, когда наука находилась в состоянии стагнации. Однако с точки зрения истории науки, основанной на концепции исторического разума, такая история попросту бессмысленна, так как не добавляет ничего нового в прогрессивную модель развития научного знания. В лучшем случае она может предостеречь от некоторых ошибок, совершенных учеными в прошлом. Таким образом, историк науки должен стать эпистемологом, если он хочет внести вклад именно в историю науки, а не в историю школы, государства или цивилизации.

Библиографический список

- Башляр, 2000а — *Башляр Г.* Прикладной рационализм // Г. Башляр. Избранное. Т. 1. Научный рационализм. М.; СПб.: Университетская книга, 2000. С. 7–198.
- Визгин, 1996 — *Визгин В.П.* Эпистемология Гастона Башляра и история науки. М.: ИФРАН, 1996. — 263 с.
- Визгин, 2013 — *Визгин В.П.* Философия науки Гастона Башляра. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. 288 с.
- Пэнто, 2004 — *Пэнто Л.* Эскиз философского поля Франции в 1960–1980-е гг. // *Логос.* 2004. № 3–4 (43). С. 205–230.
- Соколова, 1995 — *Соколова Л.Ю.* Историческая эпистемология во Франции. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1995. 136 с.
- Сулье, 2004 — *Сулье Ш.* Анатомия философского вкуса // *Логос.* 2004. № 3–4 (43). С. 123–170.
- Фуко, 1993 — *Фуко М.* Жизнь: опыт и наука // *Вопросы философии.* 1993. № 5. С. 43–53.
- Bachelard, 1972 — *Bachelard G.* L'actualité de l'histoire des sciences // G. Bachelard. L'engagement rationaliste. P.: PUF, 1972. P. 137–155.
- Bachelard, 2004 — *Bachelard G.* La formation de l'esprit scientifique: contribution à une psychanalyse de la connaissance. P.: VRIN, 2004. 306 p.
- Blay, 2007 — *Blay M.* (éd.). Dictionnaire des concepts philosophiques. 2 édition. P.: PUF, 2007. 880 p.
- Bontemps, 2010 — *Bontemps V.* Bachelard. P.: Les Belles Lettres, 2010. 244 p.
- Braunstein, 2002 — *Braunstein J.F.* Bachelard, Canguilhem, Foucault. Le «style français» en épistémologie // *Les philosophes et la science.* Paris: Gallimard, 2002. P.: 920–963.
- Braunstein, 2006 — *Braunstein J.F.* Abel Rey et les débuts de l'Institut d'histoire des sciences et des techniques (1932–1940) // *L'épistémologie française, 1830–1970.* P.: PUF, 2006. P. 173–191.
- Canguilhem, 1957 — *Canguilhem G.* Sur une épistémologie concordataire // *Hommage à Gaston Bachelard: Etudes de philosophie et d'histoire des sciences.* P.: PUF, 1957. P. 3–12.



Engel, 2005 — Engel P. Introduction générale // Philosophie de la connaissance: Croyance, connaissance, justification. P. : VRIN, 2005. P. 7–29.

Gayon, 2003 — Gayon J. Bachelard et l'histoire des sciences // J.J. Wunenburger Bachelard et l'épistémologie française. P. : PUF, 2003. P. 51–114.

Gutting, 2001 — Gutting G. French Philosophy in the Twentieth Century. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 436 p.

IHPST, Présentation — Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques — Présentation [электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.ihpst.cnrs.fr/node/1431> (Дата обращения: 12.04.2016)

Lalande, 2010 — A. Lalande (éd.). Vocabulaire technique et critique de la philosophie. 18 édition. P. : PUF, 2010. 1376 p.

Lecourt, 1978 — Lecourt D. Pour une critique de l'épistémologie (Bachelard, Canguilhem, Foucault). P. : François Maspero, 1978. 134 p.

Lecourt, 2006 — Lecourt D. La philosophie des sciences. P. : PUF, 2006. 127 p.

Soler, 2009 — Soler L. Introduction à l'épistémologie. P. : Ellipses, 2009. 335 p.

References

Bachelard, 2000a — Bachelard G. Applied Rationalism [Rationalisme Appliqué]. In: Bachelard G. *Selected Papers, vol. 1. Scientific Rationalism*. Trans. by A.F. Zotov. Moscow, Saint Petersburg, Universitetskaja kniga, 2000, pp. 7–198.

Bachelard, 2004 — Bachelard G. *The Formation of Scientific Mind: A Contribution to a Psychoanalysis of Objective Knowledge* [La formation de l'esprit scientifique: contribution à une psychanalyse de la connaissance]. Paris, VRIN, 2004. 306 p.

Bontemps, 2010 — Bontemps V. *Bachelard*. Paris, Les Belles Lettres, 2010. 244 p.

Braunstein, 2002 — Braunstein J.F. Bachelard, Canguilhem, Foucault. The “French Style” in Epistemology [Bachelard, Canguilhem, Foucault. Le «style français» en épistémologie]. In: *Philosophers and Science — Les philosophes et la science*. Paris, Gallimard, 2002, Pp. 920–963.

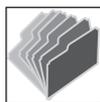
Braunstein, 2006 — Braunstein J.F. Abel Rey and the debut of the Institute of History of Sciences and Technics (MCMXXXII–MCMXXXX) [Abel Rey et les débuts de l'Institut d'histoire des sciences et des techniques (1932–1940)]. In: *French Epistemology, 1830–1970 — L'épistémologie française, 1830–1970*. Paris, PUF, 2006, pp. 173–191.

Canguilhem, 1957 — Canguilhem G. On the Concordat in Epistemology [Sur une épistémologie concordataire]. In: *Tribute to Gaston Bachelard: Studies in philosophy and history of science — Hommage à Gaston Bachelard: Etudes de philosophie et d'histoire des sciences*, Paris, PUF, 1957, pp. 3–12.

Engel, 2005 — Engel P. General Introduction [Introduction générale]. In: *Philosophy of Mind: Belief, Knowledge, Justification — Philosophie de la connaissance: Croyance, connaissance, justification*. Paris, VRIN, 2005. pp. 7–29 (in French).

Gutting, 2001 — Gutting G. *French philosophy in the twentieth century*. Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 436 p.

Soler, 2009 — Soler L. *Introduction to Epistemology* [Introduction à l'épistémologie]. Paris, Ellipses, 2009. 335 p.



АКТУАЛЬНОСТЬ ИСТОРИИ НАУКИ¹

Гастон Башляр

L'ACTUALITÉ DE L'HISTOIRE DES SCIENCES

Gaston Bachelard

Когда заходишь во Дворец открытий и изобретений² и видишь эту удивительную выставку новшеств, каждое из которых свидетельствует о принципиальной современности сегодняшней науки, невольно задаешься вопросом, не является ли в действительности анахронизмом прийти сюда для того, чтобы сделать доклад о прошлом науки?

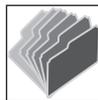
Современную науку и ее революционные открытия можно во всех отношениях определить как *ликвидацию прошлого*. Выставленные здесь открытия сводят недавнюю историю [науки] в ранг предыстории. Поэтому прошлое науки в некоторых случаях могло бы представлять собой всего-навсего простую историческую любознательность. Иногда кажется, что некоторые области истории науки стоит рассматривать только как отдых для ума или игры эрудиции.

И здесь мы находимся перед героической диалектикой научной мысли нашего времени, которая отделяет естественное любопытство от научного любопытства: первое хочет *видеть*, второе — *понимать*.

Эта диалектика, по-моему, и есть философия Дворца открытий и изобретений. И действительно, посетитель не должен приходить во Дворец, чтобы увидеть, он должен приходить туда (и приходить часто), чтобы понимать. Дворец открытий и изобретений — это не музей для зевак. Здесь не прогуливаются в дождливый день, чтобы скоротать или убить время. Сюда приходят работать. Сюда приходят для

¹ Перевод выполнен по изданию: *Bachelard G. L'actualité de l'histoire des sciences // G. Bachelard. L'engagement rationaliste. P., 1972. P. 137–155.* Оригинальный текст доступен в электронной библиотеке Les classiques des sciences sociales (<http://classiques.uqac.ca/>).

² Данный текст представляет собой доклад Г. Башляра во Дворце открытий и изобретений в 1951 г. Дворец открытий и изобретений (*Palais de la découverte*) — музей в Париже, открывшийся в 1937 году нобелевским лауреатом по физике Жаном Перреном. Основная задача музея — популяризация естественнонаучного знания: помимо постоянной экспозиции, в музее располагаются лаборатории, в которых ученые демонстрируют широкой публике научные эксперименты с их последующим объяснением. — *Прим. перев.*



того, чтобы работать над своим духом³. Сюда приходят с пониманием науки в ее новизне, здесь создают новый дух. Сверх того, доклады, которые вы слушаете здесь из недели в неделю, — за исключением моего — это доказательства того самого нового духа, который характеризует современную науку. И последующие доклады перенесут вас на вершину человеческого знания и даже поставят лицом к лицу перед будущим науки. Когда вы наконец отдадите себе отчет в блестящей современности Дворца открытий и изобретений, вы поймете, что я, отложив всякую скромность, буду говорить об анахронизме, который представляет собой доклад философа-историка.

Тем не менее я озаглавил это выступление «Актуальность истории науки». И действительно, мой проект — это совместный с вами поиск того, при каких условиях и в какой форме история науки может оказывать позитивное воздействие на научную мысль нашего времени.

Прежде всего, первый пункт для размышления: история науки не может быть точно такой же историей как другие истории. Уже из того факта, что наука эволюционирует в смысле явного прогресса, история науки необходимо является определением последовательно смещающих друг друга ценностей научной мысли⁴. Еще никогда не была написана история, большая история, *упадка научной мысли*. Напротив, в большом количестве описывались истории упадков народа, нации, государства, цивилизации.

Конечно, на закате цивилизации неведение охватывает умы людей. Люди вступают в темные века. Но если историки цивилизации стремятся восстановить события этих периодов неведения, описать падение нравов, интеллектуальную и моральную нищету, то историк науки может только в одной строке обрисовать эти периоды бездействия научной мысли. В любом случае, взятая в своей сущности, *наука не может быть*

³ Понятие «научного духа» (*esprit scientifique*) является одним из основных в эпистемологии Башляра. Помимо стремления к познанию и пониманию окружающего мира «научный дух» характеризует (в отличие, например, от здравого смысла или религиозного миропонимания) рациональность, которая, в свою очередь, является продуктом научной деятельности. Так как рациональность не является свойством человека самого по себе, а конструируется в результате научного поиска, «научный дух» находится в постоянном развитии, и чтобы обладать им, требуется постоянное обучение. — *Прим. перев.*

⁴ Под «рациональной ценностью» Башляр понимает «меру рационального» той или иной научной концепции. Рассматривая научный факт, эпистемолог должен выделить в нем: «меру рационального и эмпирического», потому что «решить научную проблему — значит, выяснить ценность ее рациональности» [Bachelard, 1972b]. Например, таблица Менделеева представляет собой рациональную ценность, так как предлагает классификацию химических элементов, которая (а) упорядочивает химические элементы в отношении выделенного критерия, (b) может корректироваться и (с) дает предсказания. В связи с этим Жорж Кангилем указывает на конфликт установок историка, который пытается вывести будущее науки из ее прошлого, и эпистемолога, который «оживляет» прошлое с позиций актуальной деятельности науки [Canguilhem, 1963]. — *Прим. перев.*



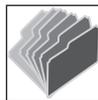
причиной регресса знания. Кроме того, и только частично, плохо организованная научная мысль может стать причиной стагнации.

Кажется, что в периоды общего регресса истина ждет. Она ждет возрождения. Для историка науки найденная истина является итогом истории, она является завершением определенной линии исследования. От этого итога или завершения может начаться новая линия исследований. Но историк науки выполнил свою задачу, когда он описал историю одной истины. Конечно, время может привести к тому моменту, когда найденная истина будет забыта. Однако историк науки вовсе не интересуется процессом такого забвения. Он вновь возьмется за выполнение своей позитивной задачи, когда забытая истина вновь будет найдена. Но тогда, после периода неэффективности, научная истина вновь начнет свое развитие; она будет функционировать, как она уже функционировала психически, то есть она последует той же психической динамике заявленного прогресса. Когда старый принцип Архимеда, примененный к жидкостям, был применен к газам, он привнес новые феномены, подчеркивающие ту же силу понимания, ту же силу рационального убеждения. Научная истина — это понятая истина. Из одной истинной идеи, понятой в качестве истинной, нельзя вывести ложную идею. Темпоральность науки проявляется в росте числа истин, углублении соотношения этих истин друг с другом. История науки — рассказ об этом росте и углублении.

Опишите, если вам угодно, истории упадка цивилизации, даже истории упадка образования. Вы опишете упадок, который, вне всякого сомнения, реагирует на прогресс науки или его останавливает. Но эти описания являются внешними по отношению к науке, они не принадлежат, собственно, ни к какой позитивной истории науки.

Если вы возразите мне, что это разделение искусственно, если вы думаете, что оно направлено на то, чтобы развоплотить научную мысль, лишив ее воздействия на людей определенной местности и определенного времени, я просто обращусь к фактам, как они есть, к исторической культуре, какова она есть. Откройте любой учебник по истории науки — от книг для начальной школы до самых что ни на есть ученых — и вы увидите постоянный и значимый факт: история науки всегда описывается как история прогресса познания. Она ведет читателя от состояния, когда люди знали мало, к состоянию, когда они узнали больше. Мыслить исторически научную мысль — это мыслить ее от меньшего к большему. И никогда наоборот: от большего к меньшему. Иначе говоря, центральная ветвь истории науки точно развивается в русле улучшения понимания и увеличения опыта.

Если иногда необходимо описать закат какой-либо отдельной теории (например, закат картезианской физики), то только потому, что прогресс научной мысли обнаружил другую ветвь увеличения ценностей понимания (например, ньютоновскую физику). Эта новая,



позитивная, ветвь вскрывает нечто вроде наивности внутри науки. Здесь мы затрагиваем диалектику ликвидации прошлого, столь характерную для некоторых революций научной мысли⁵.

Сверх того, отдадим себе отчет в том, в какой точке обязанность описать прогресс присуща истории науки. История искусства, например, является во всех отношениях полностью отличной от истории науки. В истории искусства прогресс был бы простым мифом. И действительно, история искусства располагает произведениями, которые в любую эпоху могут обладать смыслом вечности, произведениями, которые обладают первичным совершенством, совершенством наброска. Такие произведения сковывают рассуждение, сосредотачивают на себе восхищение. Роль историка — придание им значения.

История философии могла бы предоставить место для сходных замечаний. Великие системы узнаются в их изолированности. Понятие прогресса не свойственно описанию их появления.

Конечно, я вел бы слишком красивую игру, если бы сравнивал эмпиризм понятия «прогресс» в истории политики с рационализмом этого понятия в истории науки. То, что в истории политики является прогрессом для одного историка, для другого историка часто является упадком: здесь мы имеем дело с царством плохо установленных ценностей, или, точнее, мы открыты для полемического установления ценностей. Хороший историк, несомненно, отстраняется от этого, или думает, что отстраняется. Он обращается к фактам. Но неясная интерпретация может затруднять определение фактов.

А значит, оставим эти чересчур простые сравнения и вернемся к нашей строго определенной проблеме, которая должна пролить свет на квазиабсолютную позитивность научного прогресса.

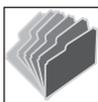
Эта абсолютная позитивность научного прогресса проявляется как неустраняемая, если мы рассматриваем историю образцовой науки, историю математики. Здесь становится очевидным, что нельзя описать упадок, так как уменьшение в соотношении истин тут же стало бы ошибкой. Если бы история науки занималась бы историей ошибок, которые были сделаны после открытия математической истины, она была бы историей плохих учеников от математики, а не историей настоящих математиков. Такая история покинула бы русло позитивной истории.

Но я сказал уже достаточно, чтобы обосновать то замечание, которое я сделал в начале: примем то, что в своей совокупности история науки стоит перед необходимостью абсолютного развития. Или она развивается, или ей вообще нечего сказать.

В действительности, в полную противоположность предписаниям, которые велят историку не судить, нужно напротив, требовать от

⁵ Обратим внимание читателя на то, что термин «научная революция» (а также «лингвистическая революция» в науке) Башляр начинает использовать еще в 1930-е гг., предвосхищая концепцию Томаса Куна. — *Прим перев.*





историка науки ценностные суждения. История науки является, по меньшей мере, тканью имплицитных суждений о ценности научных мыслей и открытий. Историк науки, который ясно объясняет ценность всякой новой мысли, помогает нам понять историю науки. Короче, история науки в сущности является историей, подлежащей суждению, детальному суждению ее каркаса, причем так, чтобы ценности науки непрерывно стремились к совершенству. История науки не может быть просто записанной историей, историей фактов. Акты академий, естественно, содержат большое число документов истории науки. Но эти факты, на самом деле, не образуют историю науки. Нужно, чтобы историк науки следовал линиям прогресса.

Сейчас у меня есть все элементы, чтобы сделать небольшую демонстрацию, к которой меня обязывает название этой конференции.

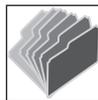
В действительности, если историк науки должен быть судьей истинных ценностей, касающихся данной науки, где он должен научиться своему ремеслу? Ответ не вызывает сомнений: историк науки, чтобы судить о прошлом, должен знать настоящее; он должен знать все возможное о той науке, историю которой он предлагает написать. И именно в этом история науки, хотим мы того или нет, прочно привязана к современности науки.

В той пропорции, в которой историк науки будет знать ее современное состояние, он выделит более многочисленные и тонкие нюансы в историчности науки. Знание о современном состоянии и знания об историческом состоянии здесь строго пропорциональны.

Отталкиваясь от современных научных истин, яснее изложенных и лучше скоординированных, прошлое истины яснее выступает как прогресс самого прошлого. Кажется, что ясность истории науки вовсе не может быть современной ее развитию. Драма великих открытий, которую мы наблюдаем на протяжении ее развития в истории, настолько проще, что мы приняли участие в пятом действии.

Иногда внезапный свет выявляет ценность прошлого. Несомненно, знание прошлого проясняет развитие науки. Но можно сказать, что в некоторых обстоятельствах именно настоящее освещает прошлое. Это прекрасно видно на расстоянии двух веков, когда Брианшон представил свою теорему, двойственную знаменитому мистическому шестиугольнику Паскаля. Все, что было эпистемологически мистического в мистическом шестиугольнике Паскаля, с тайны снимается завеса. Кажется, что в двойственности Паскаль—Брианшон, удивительная теорема Паскаля удваивает свою ценность⁶.

⁶ Шарль Жюльен Брианшон (1783–1864) — французский математик и артиллерист. В 1810 г. он обосновал теорему, двойственную теореме Паскаля о шестиугольнике. Обе эти теоремы (наравне с теоремами Дезарга и Паппа) являются классическими теоремами проективной геометрии. — *Прим. перев.*



Естественно, этот рекуррентный свет, который так четко играет в развивающейся гармонии математической мысли, может быть намного более неопределенным в фиксации исторических ценностей в таких ветвях науки как физика или химия. Желая сделать актуальными мысли прошлого, можно совершить настоящие рационализации, рационализации, которые прибавляют некий преждевременный смысл открытиям прошлого. Леон Брюнsvик⁷ это тонко отметил, критикуя текст Улевиня⁸. Изучив проделанные в 1659 году опыты по растворению золота, Улевинь писал: «С помощью этих чисто химических методов Лангелот в 1672 году установил физический метод, заключающийся в растирании нарезанного на мелкие листы золота в течении месяца в так называемой «философской мельнице», несомненно в ступке, пестик которой приводился в движение с помощью рукоятки. По истечении данного срока он получил пудру тончайшего помола, которая при взаимодействии с водой, удерживалась в ней, образуя очень красную жидкость; эта полученная Лангелотом жидкость... — мы знаем ее сегодня, это коллоидное золото. Именно так, преследуя свою химеру, алхимики открыли коллоидные металлы, удивительные свойства которых Бредиг покажет двести пятьдесят лет спустя»⁹.

Но Леон Брюнsvик, с присущим ему вниманием к нюансам, одним словом останавливает эту «рационализацию»: «Их открытие, — пишет он, — существует только для нас, оно не существовало для них. В действительности, нельзя сказать, что кто-то знает нечто, даже когда он это сделает, пока он не знает, что именно он делает. Уже Сократ признавал, что знать — это быть способным научить» [Brunschiwig, 1931: 68].

Предупреждение Брюнsvика было возведено в ранг направляющих максим истории науки. Нужен истинный такт, чтобы умело обращаться с возможными рекуррентностями. Но он с необходимостью сопротивляется удвоению истории развития фактов историей развития ценностей. По достоинству оценить ценности можно только зная доминирующие ценности, ценности, которые активны в современной научной мысли.

⁷ Леон Брюнsvик (1869–1944) — французский философ, эпистемолог и историк науки, один из учителей Башляра и предшественник исторической эпистемологии в ее французской версии. — *Прим. перев.*

⁸ Луи Улевинь (Houlléviqne, в некоторых источниках Houlléviqne) (1863–1944) — французский физик и историк науки. — *Прим. перев.*

⁹ Здесь Башляр не приводит ссылки на цитату, однако, речь идет скорее всего о работе Улевиня «Эволюция наук» [Houlléviqne, 1914]. Джозл Лангелот (1617–1680) — немецкий врач и алхимик, наиболее известна его работа 1672 года *Epistola ad praecellentissimos naturae curiosos* (Письмо о прекраснейшем природном любопытстве). Георг Бредиг (1868–1944) — немецкий физик и химик, в 1907 году предложил теорию асимметрического катализа. — *Прим. перев.*



Философская позиция, которую я здесь утверждаю, конечно, трудна и опасна. Она содержит в себе разрушительный элемент: этот разрушительный элемент — эфемерный характер современности науки. Если следовать идеалу модернистского напряжения, который я предлагаю для истории науки, нужно, чтобы история науки часто переделывалась и часто пересматривалась. В действительности, это именно то, что и происходит. И это требование прояснения историчности науки для научной современности делает из истории науки вечно молодую дисциплину, одну из наиболее живых и наиболее познавательных научных дисциплин.

Но мне не хотелось бы создавать впечатление, что здесь я ограничиваюсь абстрактной философией науки, не прибегая к конкретным историческим примерам. Я хочу дать очень простой пример, который послужит мне для двух целей:

(1) он покажет вам, что характер истории, всегда подлежащей суждению, более или менее четко, присутствовал в истории науки;

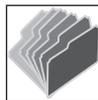
(2) он покажет вам, что ассимиляция прошлого науки научной современностью может быть разрушительной, когда наука еще не завоевала свое место в иерархии ценностей, которое характеризует, в частности, науку XIX и XX веков.

Пример, который я хочу использовать в качестве объяснения, это голландский физик Ян Ингенхауз в конце XVIII века претендовавший на то, что он выявил свойства пороха. Он предпринял попытку объяснить свойства пороха с помощью новых концепций химии Лавуазье, то есть, на уровне современной науки его времени.

Ян Ингенхауз объясняет это так:

«Порох является еще более чудесным ингредиентом, о котором без имеющихся у нас на настоящий момент знаний о различных видах воздушных флюидов, а именно о воздухе без флогистона (т.е. без кислорода) и воспламеняемом воздухе (т.е. водороде), было бы невозможно а priori вообразить такую смесь. То есть, раньше нельзя было догадаться, что эти три субстанции (сера, уголь, селитра, или даже две последние, потому что первая, сера, не является абсолютно необходимой), смешанные вместе, могут производить столь удивительный эффект» [Ingenhousz, 1785: 352].

И Ян Ингенхауз логично объясняет, почему в целом невозможно было изобрести порох. Он претендует также на то, чтобы дать понять, в актуальности науки своего времени, то, что не могло быть понято в тот момент истории, когда было зафиксировано само открытие. Точнее, наука времен Ингенхауза еще не дает возможность появиться рекуррентному объяснению, которое выявляет ценности, и поэтому объяснение Ингенхауза дает хороший пример запутанных текстов, столь характерных для истины в процессе ее установления, но все еще отягощенных донаучными понятиями.



Дадим резюме этой преждевременной модернизации. С нашей точки зрения, она является примером начинательной истории науки, историей науки, которая пытается установиться.

Селитра, говорит Ингенхауз, состоящая из углекислого калия и кислоты, «называемой селитрянной», не содержит никакого огненного начала, углекислый калий «далек от возможности воспламеняться, присущей огню, и даже лишает возможности воспламеняться огненные тела, которые в нем содержатся». К тому же, «селитряная кислота в любой концентрации не может быть воспламенена, и даже гасит огонь, как вода». Союз этих двух субстанций, не воспламененный в селитре, не создает для Ингенхауза воспламеняющее начало. «Можно даже погрузить раскаленное железо в массу красной и расплавленной селитры, и оно не воспламенится» [Ingenhousz, 1785: 354].

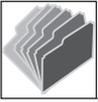
«Уголь, который является вторым необходимым ингредиентом для пороха, — продолжает Ингенхауз, — не дает нам ничего для того, чтобы подозревать малейшую опасность обращения с ним. Он забирает огонь и сводит его к пеплу без единого треска или движения».

Следовательно, по заключению Ингенхауза, составляющие не заключают в себе ни принципа возгорания, ни взрывной силы, само собой, что порох не может ни воспламениться, ни взорваться. Старый изобретатель, по словам Ингенхауза, не мог понять своего изобретения, исходя из общих познаний о субстанциях, которые он смешивал.

А теперь посмотрим на Ингенхауза за работой, чтобы дать предыдущему историческому знанию актуальность на уровне науки его собственного времени.

Он полагает, и не без основания, что селитра является источником дефлогистированного воздуха (кислорода). Он полагает, и напрасно, что уголь является источником воспламеняющего газа (водорода). Он знает, что смесь этих двух «воздухов» воспламеняется «с исключительной жестокостью при приближении к огню». Он верит в то, что обладает всеми элементами для понимания феномена взрыва. Он актуализирует историю вновь воображая открытие пороха, которое он считает рациональным. «Мне представляется вероятным, — говорит он, — что эти новые открытия (кислорода и водорода), сделанные вне всякой идеи применить их к природе пороха, привели бы нас скорее к открытию этой ужасной смеси, если бы она уже не была открыта случайно».

Также в этом простом примере мы видим в действии необходимость переделать историю науки, попытку понять ее модернизируя. Здесь эта попытка является неудачной, и она могла быть неудачной только в то время, когда термины для понимания взрывчатых веществ не были сформулированы. Но и сама эта неудачная попытка принадлежит истории и представляет собой, как мы полагаем, некоторый интерес для исследования этой страницы в истории науки, этой истории



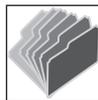
науки в процессе рефлексии над самой собой, истории всегда рефлексивной и всегда вновь начинаемой.

Чтобы окончательно выразить свою мысль: я полагаю, что история науки не могла бы быть эмпирической историей. Она не могла бы быть описанной в нагромождении фактов, так как в сущности, в своих более развитых формах, она является историей прогресса рациональных связей знания. В истории науки — иначе в причинно-следственной связи — устанавливается связь между основанием и последствием. Следовательно, она некоторым образом представляет собой двойное соединение. Она должна все больше и больше открываться рациональным организациям. Чем ближе мы приближаемся к нашему веку, тем больше мы ощущаем, что рациональные ценности ведут науку. И если мы возьмем современные открытия, мы увидим, что в течении нескольких десятилетий они переходят от эмпирической стадии к рациональной организации. И точно также, в ускоряющемся мире недавняя история воспроизводит то же присоединение к рациональности, что и процесс прогресса, который замедленно развивается в более древней истории.

Теперь возьмем проблему истории науки в ее современной версии. Рассмотрим для начала современные интересы истории науки. До этого момента мы достаточно занимались философией; приступим во второй части доклада к рассмотрению замечаний, в которых нам указали на роли, которые история науки должна играть в научной культуре.

Существует само собой очевидное наблюдение: современная наука развивается на фоне культуры современности. Количество современных проблем настолько велико, что не нужно искать далеко в прошлом нерешенные проблемы. Но чтобы быть на пике культуры, в которой можно участвовать в научном прогрессе, естественно, нужно знать предыдущие прогрессы. Все оригинальные исследования содержат библиографию исследуемого предмета, то есть, небольшую историческую преамбулу. Эти оригинальные исследования, возможно, должны были бы быть более приемлемыми для общей научной культуры, продемонстрировать свое укоренение в классическую культуру, если бы они заранее показали их в истории своей проблемы. Я мимоходом указываю на этот вид неудовлетворенного желания истории. Любой философ науки, я полагаю, должен чувствовать его, пока он понимает, что любая философия науки должна служить упрощению доступа к научной современности.

Если кто-то и колеблется вписать подготовительные библиографии в счет истории науки, то только потому, что он привык читать историю науки в ограниченном виде, который охватывает промежутки в несколько десятков лет. Но история науки должна, приближаясь к современному периоду, приобретать настоящее напряжение. Имен-



но она должна взять на себя столь присущее современности ускорение.

Можно было бы лучше почувствовать это напряжение, если в большей степени изучить историю науки на протяжении всех последних веков, и особенно в течении такого чудесного научного века, каким был XIX век. Но здесь нужно отметить странный парадокс. Именно в те периоды, которые было бы полезным изучать в первую очередь, работники истории науки наименее многочисленны. Есть совсем немного историков науки XIX века. Но среди них есть блестящие исследователи. Прекрасная диссертация Рене Татона, который также участвует в настоящей конференции, прекрасное тому подтверждение. Другой докладчик во Дворце открытий и изобретений, Морис Дома, собрал очень ценные документы. Но задача настолько обширна, что группы [исследователей] должны увеличиваться. Чем сложнее становится наука, тем в большей степени необходимо, чтобы фиксировалось зарождение проблем, которые в ней ставятся, в любой момент, классический период и эволюционные отклонения; иначе говоря, определить для всех областей науки то, что Жорж Булиган называет в отношении математики глобальным синтезом, из которого берут начало проблемы¹⁰.

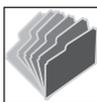
Пока я исследовал историю науки в ее отношении к проблемам сегодняшнего дня, как и значится в заглавии моего доклада.

Но для истории науки существует актуальная, менее напряженная форма, которую мне хотелось бы сейчас рассмотреть. И действительно, необходимо, чтобы мы обратили внимание на переход науки из одного поколения в другое, на образование научного духа, глубокой вписанности научной мысли в человеческую психику. Этой последней формулой я хотел бы отметить, в стиле современной философской антропологии, очеловечивающую мощь научной мысли.

И сначала нужно переместить науку такой, какой она остается в истории человечества сегодня, по крайней мере на такой уровень, до которого она развилась для людей вчерашнего дня. Нужно скорее поддерживать интерес к научной мысли, что неудобно в то время, когда науке легко навязывают человеческие ошибки, за которые она не несет никакой ответственности.

Чтобы поддержать этот интерес к научной культуре, нужно интегрировать научную культуру в общую культуру. Здесь история элементарных наук приобретает первостепенную важность. Наверное, с этим все согласятся и все инстинктивно ощущают добродетель в ис-

¹⁰ Рене Татон (1915–2004) — французский историк науки, издатель журнала *Revue d'histoire des sciences*; Морис Дома (1910–1984) — химик и историк науки, основатель истории техники во Франции; Жорж Булиган (1889–1979) — французский математик. — *Прим. перев.*



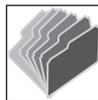
тории великих ученых. Можно требовать, чтобы преподаватель естественных наук знал научных гениев, как и преподаватель гуманитарных наук знал литературных гениев. С простой человеческой точки зрения упорный научный поиск является таким великим примером энергии, напряженности, что молодежь всегда будет интересоваться жизнью Бернара Палисси, Галилея, Кеплера. История науки должна передавать воспоминания о героях науки. Ей необходимо, как и любой другой дисциплине, сохранять свои легенды. Легенда, пишет Виктор Гюго по поводу Уильяма Шекспира, не является ли она «видом истории, также истинной или ложной как любая другая»? Но эта иллюстрированная история науки не пойдет далеко, если о Бернаре Палисси будут помнить только тот факт, что он сжег свою мебель, даже не зная, что же он обжигал в печи. Образ Бернара Палисси, разводящего свой огонь, затемняет его долгие поиски химических субстанций, плотности пород¹¹.

Следовательно, нужно вернуться к более детальным историческим исследованиям. Нужно отобразить скорее множественность сложностей, которые препятствуют прогрессу. С этой точки зрения, чтобы не прийти к утверждению, на манер Огюста Конта, о параллелизме развития индивида и развития человечества, параллелизме слишком упрощенном, чтобы предоставить плодотворные замечания, нужно понимать, что история науки полна примеров для педагогики. Именно в педагогике, по моему мнению, можно рассматривать историю науки как огромную школу, как череду классов, с начальных классов до высших. В этой школе есть и хорошие ученики, а есть и посредственные. Я уже достаточно сказал в начале этого доклада, что позитивная история науки в сумме является историей хороших учеников, чтобы попросить вас посмотреть на минуту на влияние посредственных.

Иначе говоря, если и есть в течении истории науки переход истин, то всегда есть некая постоянная возможность ошибки. Как говорил ван Свинден два века назад в своем произведении «Аналогии между электричеством и магнетизмом»: «Кажется, что одни и те же ошибки встречаются в различные периоды, но всегда в несколько иной форме и адаптированы к философии времени» [van Swinden, 1785: 23]¹². Глубокое замечание, особенно в последнем аргументе.

¹¹ Бернар Палисси (1510–1589) — французский естествоиспытатель, а также художник по керамике. Его исследования посвящены преимущественно химии и минералогии, производству керамики и цветных эмалей. В 1580 г. Палисси опубликовал свой основной труд «О гончарном искусстве, его пользе, об эмалях и огне». Башляр здесь имеет в виду случай с Палисси, когда в ходе эксперимента по получению эмали определенной степени белизны он сжег в печи свою мебель и даже половые доски. В результате этих и других опытов Палисси удалось создать новый сорт фаянса. — *Прим. перев.*

¹² Ян Гендрик ван Свинден (1746–1823) — нидерландский математик и физик, один из основателей Нидерландской королевской академии наук.



Кажется, что запоминающиеся ошибки, которые замедляют прогресс наук, являются философией, которая ошибается. Она включает научные теории в более общие системы. Следовательно, нужно, чтобы философ научной мысли всегда был готов к тому, чтобы измерить то, что тормозит прогресс науки.

Также стоит отметить, что в книге, уже ставшей древней, я предложил понятие эпистемологического препятствия, и я пытался классифицировать различные эпистемологические препятствия, в зависимости от их философского аспекта¹³. Я ограничился несколькими общими примерами.

Когда рассматривают современные физику и химию, то очевидно, что они уже порвали с повседневным опытом. Так не следует ли в элементарной педагогике, обратить внимание на этот разрыв? Когда пытаются объяснить юным ученикам законы электричества, встречаются с теми же трудностями, которые были препятствием для быстрого развития науки XVIII века. Также и непосредственный опыт — что бы о нем не думали большинство философов — может быть препятствием для опытного познания.

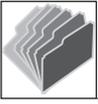
Иногда чрезмерный субстанциализм маскирует глубокие законы. Например, Алдини, племянник Гальвани, полагает, что электричество подпитывается теми субстанциями, через которые оно проходит. Если оно пересекает мочу, то дает «белый разряд» и имеет острый вкус; при переходе через молоко, у него мягкий, окисленный вкус и красный разряд; через вино — кисловатый вкус; через уксус — пикантный; через пиво — пикантный вкус и беловатый разряд...

Когда читаешь такие страницы, то видишь перед собой человека, которому нечем было заняться, человека, который настойчиво и постоянно ошибается. Какая реформа научной мысли и опыта нужна была для того, чтобы отсюда дойти до научного понятия электрического сопротивления, чтобы установить игру понятий, которые объективируют и координируют научные феномены.

Ограничиваясь физикой и химией, я могу объединить некоторые тексты, наподобие текста Альбини. Довольно часто в преподавании физики и химии я мог узнать, что некоторые препятствия, которые замедляют историю, замедляют и культуру. Также я обнаружил в истории науки настоящие педагогические тесты. Именно там тщательная актуальность старых ошибок обозначает трудности современной начальной педагогики.

Я попытался систематизировать эти замечания в психоанализе объективного знания. Слово психоанализ подверглось некоторой критике. Тем не менее, мне представляется естественным предположение, что между специфически научными трудностями получения

¹³ Речь идет о книге [Bachelard, 1938]. — *Прим. перев.*



научного знания есть и более общие трудности, более интимные, глубже укорененные в человеческом духе. В психологии не так уж много доктрин, чтобы осветить это темное основание, которое мешает научной работе.

Также история науки, осмысленная в ценностях прогресса и сопротивления эпистемологическим препятствиям, открывает нам действительно цельного человека. И если эта история имеет очевидную актуальность, то именно благодаря тому, что все знают, что она репрезентирует глубокие черты человеческой судьбы. Наука стала интегрирующей частью человеческого состояния. Стала? Не была ли она ей уже, когда человек осознал интерес незаинтересованного поиска? Не была ли она со времен Античности настоящим социальным действием одиночки? В действительности, нет эгоистичной научной мысли. Если бы научная мысль была изначально эгоистичной, она бы не могла быть продолженной. Ее назначение в другом. Ее история — это история прогрессивной социализации. Наука, в действительности, является насквозь социализированной. На протяжении нескольких веков история науки стала историей научного города. Научный город в настоящее время связывает рациональную и техническую составляющие, которые расходятся обратно. Историк науки, следуя сквозь темное прошлое, должен помочь духу осознать глубоко человеческую ценность сегодняшней науки.

Перевод с французского Т.Д. Соколовой

References

Bachelard, 1938 — *Bachelard G.* La Formation de l'esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective. Paris: VRIN, 1938. — 256 p.

Bachelard, 1972a — *Bachelard G.* L'actualité de l'histoire des sciences // Bachelard G. L'engagement rationaliste. Paris, 1972, p. 137–155.

Bachelard, 1972b — *Bachelard G.* Le nouvel esprit scientifique et la créations des valeurs rationnelles. // Bachelard G. L'engagement rationaliste. Paris, 1972, p. 89–99.

Brunschvicg, 1931 — *Brunschvicg L.* De la connaissance de soi. Paris: F. Alcan, 1931. — 196 p.

Canguilhem, 1963 — *Canguilhem G.* L'histoire des sciences dans l'œuvre épistémologique de Gaston Bachelard. // Annales de l'Université de Paris, Janvier-Mars, 33 an., n^o1, 1963, p. 24–39.

Houllévigue, 1914 — *Houllévigue L.* L'évolution des sciences. Paris: Librairie Armand Colin, 1914. — 297 pp.

Ingenhousz, 1785 — *Ingenhousz J.* Nouvelles expériences et observations sur divers objets de physique. Paris: Theiophile Barrois le jeune. 1785. 489 p.

van Swinden, 1785 — *van Swinden J.H.* Analogie de l'électricité et du magnétisme ou Recueil de memoires, Couronnés par l'Académie de Bavière. Vol. 1. Paris: La Haye, 1785. — 506 p.



ИСТОРИЯ НАУКИ А LA BELLE LETTRE: ОПЫТ ЛАУРЫ СНАЙДЕР

Илья Теодорович Касавин — доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий сектором эпистемологии Института философии РАН. E-mail: itkasavin@gmail.com

Две книги американского философа и историка науки Лауры Снайдер посвящены исследованию личности и учения Уильяма Хьюэлла — британского философа и ученого, одного из основателей позитивизма XIX в. Автор показывает роль коммуникативных структур, образующихся вокруг выдающихся философов и ученых Викторианской эпохи, среди которых Хьюэлл занимал особое и нередко лидирующее положение. Назначение этих дискуссий и бесед, этих выделенных фрагментов дискурсивного пространства или зоны обмена состояло не только и не столько в том, чтобы найти окончательную научную истину. В большей степени они вели к тому, чтобы легитимировать и упрочить место научно-философского спора в структуре научной деятельности и обосновать самоценность последней. Снайдер дает под этим углом зрения хронику научно-технической революции XIX в., которая вывела Англию в число ведущих мировых держав.

Ключевые слова: Уильям Хьюэлл, позитивизм, викторианская наука, диспут, научная коммуникация, история и философия науки.

HISTORY OF SCIENCE A LA BELLE LETTRE: A CASE OF LAURA SNYDER

Ilya Kasavin — PhD in philosophy, professor, correspondent member of the Russian Academy of Sciences, head of the department of social epistemology, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.

Two books of American philosopher and science historian Laura Snyder are dedicated to the study of personality and teachings of William Whewell — an outstanding British philosopher and scholar, one of the father figures of the 19th century positivism. The author shows the role of communicative structures formed around prominent philosophers and scientists of the Victorian era, among which Whewell held a special and often the leading position. The purpose of these discussions and conversations, this selected discursive space or a trade zone served not only to find the final scientific truth. Much more they led to legitimating and consolidating the place of scientific and philosophical dispute in the structure of scientific activity and to justifying the latter. In this perspective, Snyder gives the chronicle of scientific-technical revolution of the 19th century, which brought England to the top of the leading world powers.

Key words: William Whewell, positivism, Victorian science, dispute, scientific communication, history and philosophy of science.

Популяризация науки рассматривается специалистами в области science and technology studies в качестве характерной контрверсы нашего времени [Sismondo 2010, 168–179]. Прежде всего она призвана преодолеть разрыв между новейшими научными достижениями и массовым

уровнем научного образования (обыденным сознанием). Помимо выполнения этой просветительской общественной задачи популяризация науки расширяет сознание самих ученых: есть четкая корреляция между массмедийным пиаром конкретного открытия и последующим ростом ци-



тируемости его авторов в специальных изданиях. Однако действующие ученые нередко избегают работы на поприще популярной науки, опасаясь «криков беотийцев» (К. Гаусс). Популяризация рассматривается как искажение подлинного смысла научного знания. Случай С.П. Капицы, которого так и не избрали в члены РАН, в этом смысле весьма поучителен. Помимо этого в ряде стран (к которым, к сожалению, в настоящий момент принадлежит и Россия) формируется негативное отношение к науке и интеллектуальной деятельности и, как следствие, пренебрежительное отношение к их популяризации. В это время крупнейшие издания на Западе (*Wall Street Journal*, *The Times*, *Frankfurter Allgemeine Zeitung* и др.) посвящают постоянные рубрики и целые развороты популяризации науки, в том числе и средствами философии и истории науки. Феномен Л. Снайдер — пример именно из этой области.

Непременная отличница и выпускник престижных частных американских университетов (Брандейса и Хопкинса) Лаура Дж. Снайдер специализировалась в области истории идей, философии и истории науки и в настоящий момент занимает должность профессора в Университете Дж. Хопкинса. Свою академическую деятельность она успешно совмещает с литературной работой — с научно-художественными книгами по истории науки, статьями в *Wall Street Journal* на

эту тему. Она лауреат ряда премий и стипендий, экс-президент Международного общества истории философии науки. Особенное внимание привлекли две ее работы, посвященные науке в контексте Викторианской эпохи: «Реформация философии. Викторианский спор о науке и обществе» и «Завтраки в философском клубе. Четыре замечательных человека, которые трансформировали науку и изменили мир». В многочисленных рецензиях на эти книги подчеркивается блестящий литературный стиль автора, ее глубокое знание предмета, пусть даже изложение иногда грешит упрощением и включает значительную часть вымысла. Для российского читателя эти тексты представляют особый интерес по крайней мере с трех точек зрения. Во-первых, они имеют широкое социальное звучание, поскольку повествуют о периоде, который сыграл значительную роль в формировании англосаксонского научно-технического и образовательного лидерства, выстроиться в кильватер к которому сегодня стремятся многие страны. Во-вторых, исследования Снайдер позволяют уточнить наше понимание логической структуры и социального контекста позитивистского философствования — важнейшего идейного истока современной философии науки и техники. Наконец, в-третьих, Снайдер дает поистине блестящий пример популяризации нау-



ки, который вполне достоин подражания.

«Реформация философии» [Snyder, 2014] презентует Викторианский период в Великобритании как «эпоху реформ» в самых разных областях общественной жизни. Неудивительно, что и два крупнейших интеллектуала этой эпохи не могли остаться в стороне от мейнстрима и даже задавали ему направление, позиционируя себя в качестве реформаторов. Речь идет о Джоне Стюарте Милле и Уильяме Хьюэлле (William Whewell — ошибочно транскрибируется как «Уэвелл»; перевод его главного труда как раз готовится к печати) [Хьюэлл, 2016]. Они оба были убеждены, что реформирование философии окажет решающее воздействие на социально-политические процессы.

Примечательно, что Милль и Хьюэлл довольно резко противостояли друг другу в том, что касается социальных реформ, и это проявилось в реальных дебатах по поводу политики, экономики, науки и морали. Снайдер помещает их дискуссии в широкий контекст Викторианской эпохи и показывает, как две разные личности схватывали и выражали духовные тенденции своего времени и завоевывали внимание образованной публики, включавшей мировые авторитеты искусства, науки и философии (С. Кольридж, М. Фарадей, Ч. Лайель, Ч. Дарвин и др.).

Историки философии также по-разному позиционируют их в рамках историко-философско-

го процесса и по-разному оценивают их значение и влияние на последующую интеллектуальную традицию. До сих пор Милль как философ и логик, внесший вклад в разные науки, включая политэкономия, а также политик и парламентарий, остается канонической фигурой англо-американской мысли. Хьюэлл, напротив, будучи англиканским священником, ученым и педагогом, принадлежит к забытым фигурам не только в России, но и в англоязычных странах. При этом он был исключительным авторитетом в науке своего времени. Снайдер учитывает это обстоятельство и путем включения Милля и Хьюэлла в интеллектуальный, культурный и коммуникативный контекст пересматривает сложившиеся оценки. Она показывает, что идеи обоих этих викторианских мыслителей сохраняют актуальность и сегодня. Книга Снайдер — это первый опыт обстоятельного исследования спора Милля и Хьюэлла во всей полноте его философских и исторических измерений. Он привлечет внимание философов и историков науки, всех, кто интересуется историей идей.

Вторая книга Снайдер [Snyder, 2012] подхватывает и развивает линию, обозначенную в первой. Она представляет собой рассказ о жизни и деятельности людей, которые встретились и подружились в студенческих аудиториях английского Кембриджа. Их дружба сохрани-



лась на долгие годы и выразилась в интенсивном научном общении. Это были Чарльз Бэббидж (Charles Babbage), Джон Гершель (John Herschel), Уильям Хьюэлл и Ричард Джоунс (Richard Jones). Их объединила любовь к науке, а также пристрастие к хорошей еде, выпивке и душевной беседе. Итак, они стали встречаться каждое воскресное утро и обсуждать ситуацию в британской и мировой науке. Этот Клуб философских завтраков (Philosophical Breakfast Club) унаследовал и развил программу другого кембриджского студента, Фрэнсиса Бэкона, ученого-реформатора и политика, выдвинув идею нового реформирования науки. И в значительной мере друзьям удалось ее реализовать, пусть и не вполне непосредственным образом.

Снайдер живописует политические страсти, религиозные импульсы, дружбу, соперничество и любовь, знания и энергию, которые вели этих необычайно талантливых и инициативных людей. Хьюэлл не только придумал слово «ученый», но также основал области кристаллографии, математической экономики и науки приливов и отливов. Бэббидж — математический гений, который изобрел механический прототип программируемого компьютера [Halasy, 1970]. Гершель был энциклопедистом, математиком, астрономом, составившим карту Южного полушария, химиком, ботаником, изобретателем и экспериментальным фотографом. Наконец, заслуга викария Джон-

са, о котором мы знаем менее всего, состояла в придании политической экономии и статистике дисциплинарной формы. Все четверо были в авангарде модернизации науки. Книга Снайдер — увлекательное повествование о людях и идеях, хроника интеллектуальной революции, которая продолжает формировать наше понимание окружающего мира и нашего места в нем. Опираясь на объемную переписку между этими учеными за 50 лет их работы, Снайдер показывает, как дружба стимулировала интеллектуальные достижения и как она давала им возможность трансформировать науку и способствовать созданию современного мира.

Нам не раз приходилось писать о том, насколько научная коммуникация важна для развития научного знания [Касавин, 2015]. Лаура Снайдер показывает роль коммуникативных структур, образующихся вокруг выдающихся философов и ученых Викторианской эпохи. Назначение этих дискуссий и бесед, этих выделенных фрагментов дискурсивного пространства не только и не столько в том, чтобы найти окончательную научную истину. В большей степени они служили тому, чтобы легитимировать и упрочить место научно-философского спора в структуре научной деятельности и обосновать самоценность последней. И это достижение викторианских интеллектуалов есть их непреходящее наследство.



Библиографический СПИСОК

Касавин И.Т. Коллективный субъект как предмет эпистемологического анализа // *Epistemology & Philosophy of Science*. 2015. № 4. С. 5–17.

Хьюэлл У. Философия индуктивных наук, основанная на их истории. Т. I ; под ред., с вводной статьей и примечаниями И.Т. Касавина и Т.Д. Соколовой, пер. А.Л. Никифорова. М., 2016 (в печати).

Halacy D.S., Charles Babbage, Father of the Computer. Crowell-Collier Press, 1970.

Sismondo S. An Introduction to Science and Technology Studies. Oxford : Blackwell, 2010.

Snyder L.J. *Reforming Philosophy: A Victorian Debate on Science and Society*. Chicago : University of Chicago Press, 2014.

Snyder L.J. *The Philosophical Breakfast Club: Four Remarkable Men who Transformed Science and Changed the World*. Broadway Books, 2012.

References

Kasavin I. Collective agent as a matter of epistemological analysis [Kollektivniy subjekt kak predmet epistemologicheskogo analiza]. *Epistemology & Philosophy of Science*, 2015, no. 4, pp. 5–17.

Whewell W. *The Philosophy of Inductive Sciences founded upon their history*, vol. I, ed. and introduction by I. Kasavin, commentaries by I. Kasavin and T. Sokolova, transl. by A. Nikiforov. Moscow, Knorus, 2016 (in print).

Halacy D.S. *Charles Babbage, Father of the Computer*. New York, Crowell-Collier Press, 1970. 170 p.

Sismondo S. *An Introduction to Science and Technology Studies*. Oxford, Blackwell, 2010. 244 p.

Snyder L.J. *Reforming Philosophy: A Victorian Debate on Science and Society*. Chicago, University of Chicago Press, 2014. 386 p.

Snyder L.J. *The Philosophical Breakfast Club: Four Remarkable Men who Transformed Science and Changed the World*. Broadway Books, 2012. 448 p.



СВОБОДНАЯ КОСВЕННАЯ РЕЧЬ И ЕЕ СЕМАНТИКА¹

FREE INDIRECT DISCOURSE AND ITS SEMANTICS

Петр Сергеевич

Куслий — кандидат философских наук, научный сотрудник сектора социальной эпистемологии Института философии РАН. E-mail: kusliy@yandex.ru.

Petr Kusliy — PhD in philosophy, research fellow at the department of social epistemology, Institute of philosophy, Russian.

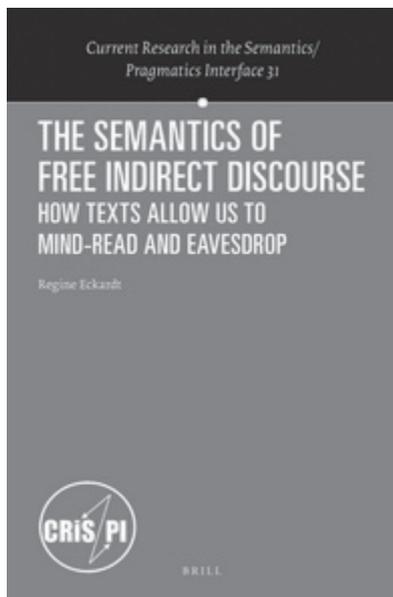
(Рецензия на книгу: *Экардт Р.* Семантика свободной косвенной речи. О том, как тексты позволяют нам читать чужие мысли и подслушивать.) (*Eckardt, R.* The Semantics of Free Indirect Discourse. How Texts Allow Us to Mind-Read and Eavesdrop. Leiden; Boston, 2014. 284 p. ISBN: 9789004266728)

Книга Регины Экардт, профессора кафедры английской филологии Университета Гёттингена (Германия), посвящена исследованию одной из центральных тем современной философии языка и формальной семантики — проблеме композиционной семантической интерпретации предложений, содержащих свободную косвенную речь.

Свободная косвенная речь — специфический способ передачи чужой мысли или речи, зачастую используемый в художественной литературе, когда автор стремится «привести речь персонажа... не отказываясь от признаков своего нарративного присутствия» [Шмид, 2003: 123]. Особенно часто свободная косвенная

речь используется, когда иллюстрируется поток сознания персонажа или когда автор передает содержание мысли/речи персонажа так, как она представляется самим персонажем, но при этом демонстрируя свое к ней

О
Т
Н
О



¹ Подготовлено при поддержке РГНФ, проект № 14-33-01370.



шение. Следующий пассаж из «Войны и мира» Л.Н. Толстого является одним из примеров свободной косвенной речи (цит. по: [Шмид, 2003: 123]):

Княгиня <Лиза Болконская>... сообщила, что *она* все платья свои оставила в Петербурге и здесь будет ходить бог знает в чем, и что Андрей совсем переменялся, и что Китти Одынцова вышла замуж за старика, и что есть жених для княжны Марьи *roug tout de bon*, но что об этом *поговорим* после.

Свободная косвенная речь, таким образом, не являясь в прямом смысле цитированием, в целом ряде аспектов не может считаться и косвенной речью. И именно этот ее пограничный статус вызывает интерес к ней в современных исследованиях в области формальной семантики уже на протяжении более 10 лет (см., например: [Schlenker, 2004; Sharvit, 2008]).

Предложения в свободной косвенной речи оказываются проблематичными для семантического анализа, опирающегося на стандартную интерпретацию языковых выражений относительно конкретного контекста произнесения [Kaplan, 1989]. Согласно стандартной теории Каплана, индексные выражения в косвенном контексте не меняют своего значения, поэтому в предложениях типа «Коля сказал, что я устал» местоимение «я» может обозначать только говорящего,

но не Колю. В терминах теории Каплана это значит, что местоимение «я» интерпретируется относительно контекста произнесения всего предложения и обозначает говорящего в этом контексте, а не индивида Колю в момент произнесения им реплики о том, что он устал (подобная ситуация описывалась бы предложением «Коля сказал, что он устал»). На основании подобных наблюдений Каплан сформулировал эмпирический тезис о том, что значения индексных выражений (например, местоимения первого лица единственного числа) не зависят от контекста их интерпретации. Данное утверждение отделяло индексные выражения от многих других (определенных дескрипций, например), которые, как известно со времен работ Г. Фреге и Б. Рассела, в косвенном контексте могут менять свое значение.

Однако установленная Капланом закономерность в интерпретации индексных выражений, соблюдаемая в русском, английском и многих других языках, соблюдается, тем не менее, не всегда. Как было показано в [Schlenker, 1999], в таких языках, как, например, амхарский, «я» в косвенном контексте уже может обозначать не только говорящего, но и индивида Колю. При этом очень важно, что имелась в виду не прямая, а косвенная речь. Согласно концепции Шленкера, это означало, что интенциональные глаголы в амхарском языке способны изменять кон-



текст интерпретации местоимений, входящих в сферу их действия. Шленкер и ряд других исследователей показали, что изменения контекста оценки могут влиять и на значение других индексных выражений помимо личных местоимений. (Считается, например, что в русском языке настоящее время во вложенном предложении способно обозначать не момент произнесения всего предложения, а какой-то момент в прошлом (или будущем), одновременный времени глагола главного предложения. В предложении «В субботу в пять часов вечера Коля сказал, что он устал» настоящее время вложенного глагола не обязательно означает, что Коля устал в данный момент; у этого предложения есть и значение, согласно которому Коля был уставшим в соответствующую субботу в пять часов вечера.)

Свободная косвенная речь оказывается крайне интересным материалом для анализа языковых выражений применительно к контекстам их интерпретации. В приведенном выше отрывке из «Войны и мира» выделенное курсивом местоимение «она» интерпретируется относительно общего контекста произнесения всего отрывка (т.е. как бы от имени автора) и поэтому обозначает княгиню Лизу Болконскую, но выделенный курсивом глагол «поговорим» при этом уже не интерпретируется от имени автора (ибо тогда подразумевалось бы, что автор и кто-то еще собирается о чем-то с кем-то поговорить).

Этот глагол интерпретируется от имени Лизы Болконской, ибо это она якобы собиралась поговорить. Подобное употребление было бы простым для понимания, если бы было закавычено и представляло собой прямую речь. Но приведенный отрывок однозначно сформулирован в косвенной речи! И именно в силу таких смешанных характеристик, объединяющих и прямую и косвенную речь, свободная косвенная речь представляет интерес для специалистов в области семантики.

Рецензируемая монография является первым систематическим исследованием свободной косвенной речи с точки зрения формальной семантики естественного языка. Эта работа представляет собой не только обстоятельное введение в проблематику, дополняя и развивая такие новаторские работы, как [Schlenker, 2004 и Sharvit, 2008], но и задает новые горизонты для исследований в этой области.

Одна из центральных задач, которую ставит перед собой автор, заключается в объяснении семантических эффектов свободной косвенной речи для целого ряда выражений языка без изменения их семантического содержания в зависимости от того, как они употребляются. Иными словами, автор пытается выстроить систему интерпретации, позволяющую для ряда выражений с неизменным содержанием предсказывать изменение их содержания в том случае, если имеет место свободная косвенная



речь. Эту задачу Экардт достигает путем введения двух контекстов, относительно которых может интерпретироваться то или иное выражение языка. Контекстуальный параметр интерпретации задается, таким образом, упорядоченной парой контекстов: <С,с>. Только отдельные выражения языка чувствительны ко второй составляющей (контексту героя повествования).

Данный метод анализа не является новаторским и уже встречается в более ранних работах в этой области. Поэтому одна из глав книги посвящена компаративному анализу предлагаемой в книге семантической системы и других уже существующих систем. Представляемый здесь обзор систем может послужить введением в проблематику для неискушенного читателя.

Однако помимо компаративного анализа автор предлагает также аргументацию в пользу именно своей системы по сравнению с ее предшественницами. И один из главных доводов здесь в том, что система Экардт позволяет объяснить семантические эффекты смещения контекста интерпретации для более широкого набора выражений, чем это обычно принято делать. К таким выражениям относится, к примеру, восклицание: «Какой же Том высокий!» Данное выражение вполне можно перефразировать как обычное повествовательное: «Я удивлен ростом Тома; он существенно превышает средний рост». Однако в контексте сво-

бодной косвенной речи эти два предложения ведут себя по-разному: восклицание допускает интерпретацию с точки зрения героя повествования, а обычное предложение — нет. Действительно, в отрывке «Боб удивленно смотрел на Тома. Какой же Том высокий!» второе предложение допускает интерпретацию с точки зрения Боба, тогда как в отрывке «Боб удивленно смотрел на Тома. Я удивлен ростом Тома; он существенно превышает средний рост» мы этого уже не наблюдаем.

Немалая часть книги посвящена исследованию таких выражений, которые в художественном произведении способны интерпретироваться с точки зрения героя повествования, равно как и конструкций, допускающих интерпретацию исключительно с точки зрения автора. Одной из таких конструкций является, например, прошедшее совершенное время (*past perfect*), которое как в английском, так и в немецком языке, по утверждению Экардт, всегда требует интерпретации содержания соответствующего предложения с точки зрения автора, а не героя.

Интересным аспектом исследования является роль наклонения, способного быть маркером не только свободного косвенного дискурса, но и того, что именно в нем передается. Так, если в английском языке свободная косвенная речь всегда передается в изъявительном наклонении, независимо от того, идет ли речь



о мыслях или словах героя произведения, то в немецком языке индикатив выражает исключительно мысли. Если же передаются слова героя, то обязательно должно использоваться сослагательное наклонение.

Основное внимание в работе уделено свободной косвенной речи в немецком языке. Однако автор все время проводит параллели с английским, зачастую рассматривая английские примеры, а не немецкие в переводе. Данное обстоятельство может показаться недостатком книги отечественному философу языка, который специально не исследует семантику немецкого языка. Однако подобное заключение было бы ошибочным, поскольку именно в этом и состоит одно из достоинств книги: являясь обстоятельным исследованием свободной косвенной речи для немецкого и английского языков, она содержит много материала, указывающего на те аспекты, которые релевантны для данной проблематики. Их анализ в других языках, в том числе и в русском, до сих пор не осуществлен, что дает желающим, готовым освоить предлагаемый в работе формальный аналитический аппарат, широкие возможности для дальнейших самостоятельных исследований.

Книга содержит приложение, в котором обстоятельно излагается формальный аппарат, используемый автором. Его экспозиция может быть доступна для человека, знакомого с лямбда-исчислением, широко используемым в со-

временной теоретической лингвистике и философии языка. Однако и для читателей, не знакомых с лямбда-записью, книга не будет сложной в понимании. Одним из ее достоинств является попытка автора сблизить узкие задачи формального семантического анализа с более широкими проблемами литературоведения.

В частности, автор стремится представить свою работу так, чтобы она помимо вклада в формальную семантику была еще и вкладом в исследования тех принципов, в соответствии с которыми читатель интерпретирует текст, правильно ориентируясь в предлагаемых смысловых перипетиях. Интересный аспект бинарного контекстного анализа заключается в том, что он вполне применим к текстам, в которых, как считается, вообще нет голоса автора (инстанция автора отсутствует). Наконец, важным представляется ряд отличий свободной косвенной речи от цитирования, на которые указывает автор и которые имеют отношение к выразительным способностям этих двух видов повествования. Если определенное предложение вкладывается в уста героя посредством цитаты, то невозможно избежать вывода о том, что герой в полной мере осознает его содержание. Напротив, свободная косвенная речь делает подобный вывод не обязательным. Экардт приводит обширные иллюстрации, которые я здесь рассматривать не буду, но попробую проиллюстрировать сказанное,



использовав уже имеющуюся цитату из Толстого. Если содержание этого отрывка выражать цитатой из слов Лизы Болконской, то уже нельзя было бы избежать вывода, что Лиза считает мужа Китти именно стариком, а не господином в возрасте, пожилым человеком и т.п. Свободный косвенный курс позволяет все же оставлять подобные выводы за скобками.

Книга содержит много других интересных наблюдений и иллюстраций и поэтому, несмотря на свою значительную теоретическую составляющую, может быть интересна довольно широкому кругу читателей, интересующихся современными проблемами философии языка, теоретического языкознания и нарратологии.

Библиографический список

Шмид, 2003 — Шмид В. Нарратология. М. : Языки славянской культуры, 2003. 312 с.

Kaplan, 1989 — Kaplan D. *Demonstratives*. Oxford, 1989.

Schlenker 2004 — Schlenker P. Context of Thought and Context of Utterance: A Note on Free Indirect Discourse and the Historical Present // *Mind & Language*. 2004. № 19.3. P. 279–304.

Schlenker, 1999 — Schlenker P. *Propositional Attitudes and Indexicality: A Cross Categorical Approach*. Diss. Massachusetts Institute of Technology, 1999.

Sharvit, 2008 — Sharvit Y. The puzzle of free indirect discourse // *Linguistics and Philosophy*, 2008. № 31.3, pp. 353–395.

References

Kaplan D. *Demonstratives*. Oxford, Oxford University Press, 1989. 690 p.

Schlenker P. Context of thought and context of utterance: A note on free indirect discourse and the historical present. *Mind & Language*, 2004, 19.3, pp. 279–304.

Schlenker P. *Propositional attitudes and indexicality: a cross categorical approach*. Diss. Massachusetts Institute of Technology, 1999. 453 p.

Sharvit Y. The puzzle of free indirect discourse. *Linguistics and Philosophy*, 2008, 31.3, pp. 353–395.

Shmid V. *Narratology*. Moscow: Yazyki slavyanskoi kul'turi, 2003. 312 p.



ПРОБЛЕМА РЕАЛЬНОСТИ КАК «ТРУДНАЯ ПРОБЛЕМА» ФИЛОСОФИИ НАУКИ

Владимир Иванович Аршинов — доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН.
E-mail: varshinov@mail.ru

В рецензии обсуждаются философские и междисциплинарные вопросы проблемы реальности в современном естествознании в том их виде, как они рассматриваются в предлагаемом сборнике. Отмечается, что авторам сборника удалось осуществить определенный сдвиг в понимании этой «трудной проблемы» в ее философском и междисциплинарном контекстах.

Ключевые слова: междисциплинарность, проблема реальности, реализм, антиреализм.

THE PROBLEM OF REALITY AS A “HARD PROBLEM” OF PHILOSOPHY OF SCIENCE

Vladimir Arshinov — PhD in philosophy, chief research fellow, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences.

The review discusses philosophical and interdisciplinary issues of the problem of reality in modern natural sciences as they are represented in the book. It is noted that the authors of the book managed to make some progress in the understanding of this «hard problem» in its philosophical and interdisciplinary contexts.

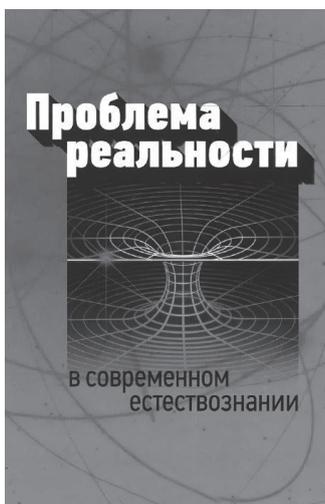
Key words: interdisciplinarity, problem of reality, realism, antirealism.

(Рецензия на книгу: Проблема реальности в современном естествознании ; отв. ред. Е.А. Мамчур. М. : Канон+ Реабилитация, 2015.)

(Book review: *The Problem of Reality in Modern Natural Sciences* ; ed. by E.A. Mamchur, Moscow, Kanon+, Reabilitatsija, 2015. 384 p.)

В середине 1990-х гг. Дэвид Чалмерс, обсуждая проблему сознания в контексте возможности построения теории сознания в ее междисциплинарном (когнитивистском) и философском измерениях, отнес эту проблему к классу «трудных» (hard). Думаю, что к этому же классу трудных проблем с полным правом можно отнести и проблему реальности, даже безотносительно к тем контекстам, в которых она конкретно рассматри-

вается. При этом вполне очевидно, что и проблема сознания, и проблема реальности сходны между собой не





только в смысле их «трудности», как бы мы не понимали эту характеристику. Обе они имеют свою достаточно древнюю традицию в истории философии, и обе сегодня стали междисциплинарными. Более того, при внимательном рассмотрении можно обнаружить их особого рода переплетенность (entangled) в проекции на плоскость объектно-ориентированной онтологии таким образом, что мы можем больше не мыслить их в терминах двух отдельных самостоятельных областей или двух миров — человеческого и нечеловеческого. Как мне представляется, в неявном, имплицитном виде, интенцией на именно такой неонтологический подход к проблеме реализма и ориентировался в конечном счете авторский коллектив рецензируемой книги. Хотя, конечно, в фокусе его рассмотрения находились вопросы, непосредственно касающиеся проблемы реальности в современном естествознании, а не «трудной проблемы» сознания как таковой. Что же касается современности, то, как подчеркивается в предисловии к книге, для авторского коллектива современная проблематизация понятия реальности связана с «переходом к изучению ненаблюдаемых существей...»

Специфика современной физики состоит в том, что она вводит принципиально ненаблюдаемые объекты, которые тем не менее играют ключевую роль при построении теоретических моде-

лей реальности. Такого рода объекты имеют существенно конструктивный характер. В связи с этим возникает вопрос, насколько конструктивистское истолкование природы совместимо с позицией реализма (С. 3). На этом ключевом моменте современной проблематизации понятия реальности, погружаемой в контекст дихотомии наблюдаемости/ненаблюдаемости, я остановлюсь чуть позже. А пока обращусь к самой книге, которая вполне могла бы иметь подзаголовок: «На пути к онтологическому реализму».

Во всяком случае именно такое название, на мой взгляд, лучше всего соответствовало бы содержанию открывающей сборник статьи С.Н. Жарова «Бытие и реальность в современном естественно-научном познании», автор которой ставит своей целью ответить, существуют ли проблемные основания для разграничения «бытия» и «реальности», или их различие носит характер лексической привычки (С. 6). Отправляясь в путь в поисках ответа на этот вопрос, автор (и рецензент вместе с ним) констатирует: «Реальность, как бы мы ее не толковали, так или иначе навязывает себя извне; в этом смысле она рецептивна, даже если она не действует непосредственно на органы чувств. В противоположность этому бытие обнаруживает свою внутреннюю связь с нашей собственной глубиной, открываясь нам в мышлении и интуиции. Бытия может не



хватать, зато реальное — всегда в наличии; бытие зовет, а реальное навязывает себя (не является исключением и так называемая виртуальная реальность; примером могут служить виртуальные миры постмодерна)» (С. 9). Надо отдать должное автору, «на пути к онтологическому реализму» он четко рефлексировал основные развилки на этом пути, избегая привычной (а в чем-то уже поднадоевшей) аргументативной риторики «за и против» реализма и антиреализма как принципиально различных фундаментальных эпистемологических стратегий «доступа» субъекта к реальности.

Одной из таких развилочек в контексте становления физики XX в. безусловно является знаменитая полемика Бора и Эйнштейна, в центре которой была проблема понимания природы квантово-механической реальности и ее репрезентации, концептуального схватывания, доступа к ней. Автор уходит от соблазна приписывания Бору и Эйнштейну позиций реализма и антиреализма или утверждений, согласно которым «оба по-своему правы». Суть дела в том, что и Эйнштейн, и Бор с самого начала осознавали принципиальную новизну квантовой теории, которая сегодня именуется «запутанность», переплетенность (entanglement), несепарабельность, внутренняя неразделимость, целостность совместных состояний ранее взаимодействовавших квантовых систем.

Бор эпистемологически и онтологически узаконил Entanglement в своем принципе дополнительности и связанном с ним принципом несепарабельности средств познания и познаваемого микроявления. Что касается Эйнштейна, то он отвергал Entanglement как несовместимый с принципом пространственной сепарабельности (локальности) познаваемых систем. Существенно, что названный принцип был для него необходимым условием любого ориентированного на эксперимент познания природы как таковой.

Эпистемологический реализм Эйнштейна основывался на его принципе локальной каузальности как априорной предпосылки основанного на эксперименте познания природы. Если этот принцип нарушается, то, как писал Эйнштейн в своем письме к Бору, он вообще отказывается понимать, как мы способны познавать не зависимую от нас реальность. Тем не менее сейчас, после многочисленных экспериментов по проверке так называемых неравенств Белла, экспериментов, убедительно подтверждающих отсутствие локальных скрытых параметров в квантовой механике и соответственно ее принципиальную нелокальность, мы можем, следуя традиции, говорить о нелокальности реальности Entanglement. Однако здесь возможно (и как я убежден, нужно) использовать иной язык, следуя другой традиции, а именно язык «бытия». По



словам С.Н. Жарова, «Эйнштейн... в некотором смысле прав, говоря о том, что пси-функция не описывает реальность. Но это перестает быть недостатком, если непосредственным предметом квантово-механического описания является “бытие”, которое лишь отчасти может быть спроецировано на реальность, постигаемую в макроскопических терминах» (С. 15). Соглашаясь с этим утверждением, отмечу в дополнение, что бытие как сложно переплетенное (Entangled) разнообразие потенциально существующих объектов, открытое на уровне квантово-механического познания, последовательно переоткрывается и на макроуровне переплетенного разнообразия объектов в контексте онтологического реализма. Связанность, нелокальность, целостность бытия открываются нам в сложностном многообразии различных и сконструированных квантовыми наблюдателями контекстов.

Сходными доводами С.Н. Жаров руководствуется, обсуждая статус концептов бытия и реальности в контекстах собственно математических дискурсов: «Математику создает человек как культурно-исторический субъект, этот субъект в известном смысле есть лишь медиум, прикасающийся к некоему неисчерпаемому источнику и (сообразно духу времени) извлекающий оттуда все новые и новые формы. Математические формы порой кажутся оторванными от реаль-

ности, однако, будучи введены в естественно-научную проблематику, вдруг обнаруживают свою онтологическую значимость... Однако онтологическая значимость математики до сих пор остается малоразработанной темой» (С. 26).

Этой малоразработанной теме в книге посвящена специальная глава «О природе математической реальности», написанная В.Я. Перминовым. «Мы хотели бы понять, — пишет автор, — соответствуют ли математическим теориям стороны бытия, которые играют для них роль, сходную с ролью физических процессов для физических теорий. Этот вопрос, поставленный еще Платоном и Аристотелем, оказался чрезвычайно трудным. Надо признать, что мы до сих пор не имеем на него достаточно обоснованного и убедительного ответа» (С. 239). В рамках данной рецензии нет возможности подробно останавливаться на обзоре этой содержательно насыщенной статьи. Остановлюсь лишь на краткой характеристике предлагаемого Перминовым деятельностного подхода к проблеме математической реальности и соотносенной с ней онтологии. Замечу, что и здесь, как в ряде других статей сборника, автор пытается предложить свое решение между крайностями как реализма, так и антиреализма. Это решение отсылает нас к деятельностному определению математической онтологии и математической реальности, позволяющему, по



мнению автора, «построить более последовательную защиту математического реализма».

Позицию Перминова можно было бы назвать деятельностным реализмом; реализмом, в каких-то отношениях созвучным деятельностному реализму Карен Барад (*Barad K. Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and Entanglement of Matter and Meaning. Durham: Duke University Press*), реконцептуализирующему процесс научной активности, посредством которого исследуются объекты и порождается знание. При этом Барад существенно опиралась на «философско-физические идеи Н. Бора, согласно которым приборы и аппараты не просто пассивные инструменты и средства наблюдения, но вещи, которые принимают участие в оформлении самого процесса научного наблюдения». В свою очередь Перминов опирается на попытку Г. Динглера выстроить деятельностное понимание геометрической реальности как априорной структуры организации всякого физического эксперимента, как одного из тех мест, где встречаются миры человеческого и нечеловеческого, означенного и неозначенного, наблюдаемого и ненаблюдаемого, бытия и его становления.

Здесь уместно обратиться к исчислению различий, представленному Джорджем Спенсером-Брауном в его книге «Законы формы», и его исходному предписанию: «Чтобы наблю-

дать, надо провести различие». Согласно Спенсеру-Брауну, каждое различие порождает асимметрично сконструированное пространство, образованное из примыкающих друг к другу означенных и неозначенных областей, разделенных уголком — меткой различием. Кроме того, помимо указания «провести границу» по умолчанию также предполагается указание эту границу пересечь. Тем самым предполагается, что и неотмеченная область, будучи непосредственно ненаблюдаемой, тем не менее «открыта доступу».

Таким образом, обе стороны — помеченная и непомеченная — онтологически сосуществуют в единстве их реальности и бытия. Они, если пользоваться языком квантовой онтологии, несепарабельны и вместе конституируют то, что Спенсер-Браун называет формой. Здесь важно, что введение различия и формы как сосуществования различенных помеченной и непомеченной сторон может также пониматься как введение наблюдателя, точнее двух наблюдателей, один из которых «обитает» в означенной области и «не видит» самого различия, в то время как другой наблюдатель второго порядка, находясь в рефлексивной позиции, различает само различие и наблюдает ненаблюдаемую для первого наблюдателя непомеченную сторону формы. При этом существенно, что оба наблюдателя связаны рекурсивно организованным процессом коммуника-



ции. В связи с этим мне представляется перспективным посмотреть в оптике «Законов формы» Спенсера-Брауна на утверждение Перминова о необходимости разделять эмпирическую и онтологическую реальности математики. «Мы должны понять, — пишет автор, — что кроме представлений о реальности, навязываемых опытом, мы имеем представления о реальности, навязанные деятельностью и заключающиеся в непосредственном созерцании структур деятельности как высшей реальности».

Статью Перминова удачно дополняет статья В.А. Бажанова, развивающего весьма плодотворную идею о тройной детерминации математической реальности и пытающегося найти третью линию между реализмом и антиреализмом как конкурирующими подходами к проблеме существования математических объектов. Вначале автор уточняет, что именно ныне понимается под реализмом и антиреализмом в философии математики. Реализм предполагает объективное существование некоторой математической реальности и ее элементов, которые открываются соответствующим образом подготовленному разуму, владеющему конгруэнтными этой реальности когнитивными инструментами. Но при этом сама математическая реальность в конечном счете остается независимой от специфики средств и конкретных условий доступа к ней или наблюдения ее «очами математиче-

ского разума». Антиреализм, напротив, связывает процесс математического познания с деятельностью когнитивного конструирования его объектов таким образом, что их реальность оказывается неотделимой (как и в постбелловской интерпретации квантовой механики) от реальности порождающих их логических и лингвистических средств и может быть представлена как таковая только вместе с ними. Несколько упрощая, можно сказать, что математическая реальность здесь оказывается объектом коммуникативного конструирования, становясь тем самым и обусловленной определенными социокультурными предпосылками. Однако между реализмом и антиреализмом в их традиционном понимании можно (и нужно) найти место еще одной реальности — биологической, реальности эволюционирующего человеческого мозга, медиума-посредника, открывающего и конструирующего все многообразие тех реальностей, в которые он погружен и частью которых он сам же и является...

Однако вернемся к проблеме реальности в физике. Этой проблеме посвящены статьи Тьян Ю. Цао «Неполное, но реальное. Конструктивистское обоснование референции», М.С. Чернаковой «Эквивалентные описания в физике в контексте проблемы реализма», В.Д. Эрекаева «Проблема физической онтологии», А.Ю. Севальникова «Онтология квантовой механики, или От физики к философии», Е.А. Мамчур



«Интерпретация квантовой механики в свете проблемы реальности», А.Д. Панова «Квантовая реальность. Вычисления и искусственный интеллект», Л.Г. Антипенко «Проблема физической реальности: 40 лет спустя». В своей совокупности эти статьи создают весьма впечатляющий многомерный образ проблемы реальности в естествознании как не только «трудной», но и «коварной» (wicked) проблемы, если пользоваться терминологией дискурса современной парадигмы сложности. В таковую она превращается в процессе ее конвергенции с проблемой сознания, чему специально уделяется внимание в статье А.Д. Панова. Обсуждая вопрос о природе невычислительной активности мозга, по Роджеру Пенроузу, и подчеркивая, что «именно мозг является самой сложной из известных нам природных систем» (С. 173), автор заключает: «Окончательный

вывод Роджера Пенроуза является, по моему личному мнению, более чем поразительным. Получается, что в новую физику может вести вовсе не только создание гигантских коллайдеров для исследования физики микрочастиц или лишь ненамного менее гигантских и сложных телескопов для исследования в области космологии ранней Вселенной, но наука о сознании» (С. 174).

Итак, мы «здесь и теперь» осознаем нашу встречу с проблемой реальности не только как с проблемой проблемы в ее междисциплинарном социокультурном измерении, но и как с проблемой возможности ее перевода из класса «wicked problems» — коварных проблем в класс «tame problems» — послушных проблем. Рецензируемый сборник дает основания для осторожного оптимизма в прогнозировании достижения успеха в этом рискованном предприятии.



Памяти Е.Е. Ледникова

16 апреля ушел из жизни известный отечественный философ, специалист по логике и философии науки, профессор Евгений Евгеньевич Ледников.

Он родился в Киеве в 1938 г., окончил историко-философский факультет Киевского государственного университета (1961) и поступил в аспирантуру Института философии АН УССР. В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблема конструктов в анализе научных теорий». С 1966 г. работал в Институте философии сначала младшим, а с 1971 г. — старшим научным сотрудником отдела логики научного познания. В 1976 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Критический анализ номиналистических и платонистических тенденций в современной логике» и с 1978 г. работал в Москве заведующим кафедрой философии Московского института тонкой химической технологии.

Основной сферой научных интересов Е.Е. Ледникова была логика. Широкую известность приобрела его книга, написанная на основе докторской диссертации. Ему принадлежат глубокие исследования в областях модальной логики, логических проблем существования, анализа теоретического знания. В его работах выявлена существенная роль теоретических конструктов в научном познании, дана философско-методологическая оценка разных подходов к логической реконструкции научного знания; для широкого класса модальных логик им построена теория определенных дескрипций расселовского типа. Труды Е.Е. Ледникова пользовались признанием как среди логиков, так и среди философов.

Он был дружелюбным и общительным человеком, любителем острых и нелюбимых дискуссий. Последние годы его жизни были омрачены событиями на Украине: он глубоко переживал сложившуюся ситуацию и беспокоился о друзьях в Киеве, с которыми поддерживал связь.

Мы навсегда сохраним память о нашем коллеге — интересном мыслителе и достойном человеке.

Редколлегия



Владимир Алексеевич Колпаков (1955-2016)

23 апреля 2016 года на 62-м году жизни скончался заведующий сектором социальной философии Института философии РАН, доктор философских наук, член редколлегии нашего журнала с момента основания, наш друг и коллега Владимир Алексеевич Колпаков.

Владимир Алексеевич родился в Керчи 25 января 1955 г. Окончил механико-математический факультет Томского государственного университета (1972–1977). На последнем курсе особенно интересовался логикой под руководством В.Б. Родоса и А.К. Сухотина. Поступил в очную философскую аспирантуру ТГУ (1981–1984) и, специализируясь по логике, защитил кандидатскую диссертацию «Философский анализ отношений в естествознании». В.А. Колпаков работал на кафедре философии МПГУ, в Министерстве образования. Включился в частный бизнес (1989), интерес к которому он сохранил на всю жизнь, участвуя в ряде инновационных технологических проектов, в том числе в качестве резидента «Сколково».

В.А. Колпаков работал в Институте философии РАН с 2003 г., сначала в секторе теории познания, а затем старшим и ведущим научным сотрудником сектора социальной эпистемологии, участвуя во многих проектах сектора (2005–2013). Основные интересы В.А. Колпакова находились в области философии и методологии экономической науки, социальных технологий, природы капитализма. Опубликовал книги «Социально-эпистемологические проблемы современного экономического знания. Экономическая наука эпохи перемен» (2008), «Глобальный капитализм: три великие трансформации. Социально-философский анализ взаимоотношения экономики и общества» (2008, в соавт. с В.Г. Федотовой и Н.Н. Федотовой, 1-е место на конкурсе Института философии РАН). В том же году защитил докторскую диссертацию «Социально-эпистемологические проблемы современного экономического знания» (научный консультант И.Т. Касавин). Это была новая область исследования для Института, принесящая автору известность среди экономистов и политологов. Последние время он занимал должность заведующего сектором социальной философии Института философии РАН (2014–2016).



Владимир Алексеевич был человеком, который сам себя сделал, а затем продолжал переделывать себя заново, расширяя сферу своей деятельности и общения. Обладая большой эрудицией, ясным умом, разнообразными интересами, он умел и любил дружить с людьми, был добрым, всегда готовым помочь и при этом скромным человеком: выступал анонимным спонсором ряда исследовательских и издательских проектов

Нам трудно говорить о нем «был». Он остался в наших сердцах. Глубоко соболезнуем его друзьям, коллегам, семье в связи с безвременной кончиной этого глубокого исследователя, талантливого организатора и хорошего человека.

Редколлегия

Памятка для авторов

1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При написании статей рекомендуется учитывать профиль издания и строить содержание и форму статьи применительно к одной из рубрик журнала. Предлагаемые материалы должны являться не опубликованными ранее научно-философскими текстами, обладающими актуальностью и новизной. Объем любого материала – до 1 а.л.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ:

- материалы принимаются по электронной почте в формате doc (шрифт – Times New Roman, размер – 12, междустрочный интервал – одинарный);
- на первой странице статьи должно быть: русское и английское названия текста, русскоязычные и англоязычные данные об авторе (ФИО, ученая степень, должность и место работы, e-mail), русскоязычная и англоязычная аннотации с ключевыми словами (англоязычная аннотация должна быть расширенной – около 1,5 тыс. знаков с учетом пробелов);
- сноски размещаются в низу страницы, сквозная нумерация;
- ссылки на литературу даются в тексте статьи в квадратных скобках – фамилия автора и год (если надо, номер страницы): [Сидоров, 1994: 25]. После текста на последней странице прилагается библиографический список в алфавитном порядке, где для каждой ссылки сначала приводится ее сокращенное обозначение (которое в тексте давалось в скобках, но уже без указания статьи) и рядом через тире полные выходные данные: Сидоров, 1994 – *Сидоров И.И.* Название книги. Город, год;
- в конце статьи также следует предоставлять библиографический список на латинице, в котором выходные данные русскоязычных источников будут транслитерированы по правилам научной транслитерации русского языка: http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_transliteration_of_Cyrillic;
- к тексту статьи следует прилагать фотографию автора.

В ССЫЛКАХ ОСТАВЛЯТЬ ТОЛЬКО СЛЕДУЮЩИЕ СОКРАЩЕНИЯ:

- нем., англ., амер., греч., лат. – и др. языки;
- пер. – перевод;
- соч. – сочинение, сочинения;
- кн. – книга;
- Т. – том;
- Ч. – часть.

СОКРАЩАЮТСЯ НАЗВАНИЯ ГОРОДОВ (В ССЫЛКАХ):

М., Л., СПб. – Москва, Ленинград, Санкт-Петербург.

L., P., N.Y., F.a.M. – Лондон, Париж, Нью-Йорк, Франкфурт-на-Майне.

Сначала идут русские названия (если есть), затем – названия на иностранном языке. Автор, название, место и год издания – Л., 1965; М., 1995. Работы отделяются друг от друга точкой с запятой (;). Если в библиографию включается статья, то книга или журнал, в которых она напечатана, приводится через знак //. Названия журналов – без кавычек, без курсива и без сокращений.

Иванов В.С. Либерализм Ф. Хайека. М., 1997; *Popper K.* Open Society. Vol. 1. Oxford, 1956.

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СТАТЬИ

Материалы рассматриваются в течение трех месяцев двумя независимыми рецензентами и далее редколлегией, которая принимает окончательное решение о публикации.

4. МАТЕРИАЛЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:

journal@iph.ras.ru

5. По желанию автора ему может быть представлен мотивированный отзыв в случае отказа редакции журнала от публикации его статьи.

6. С автором текста, одобренного редколлекцией, заключается договор о передаче ООО «Издательство «КноРус» исключительных прав на его публикацию сроком на 1 год.

За публикацию материалов плата не взимается и гонорар не выплачивается.

Information for Contributors

All manuscripts are submitted by e-mail and must be sent to: journal@iph.ras.ru.

Requirements for articles and book reviews:

Please, use DOC file type. Page size: A4. Font: Times New Roman, size 12. Do not double-space. Author information, abstract and key words must be sent in a separate file while another separate file containing the text must be devoid of personal data and prepared for the blind peer review. Please, use notes on the page they appear in the text. The list of references must follow the manuscript. In the text we prefer the references to be of the following style: author's last name (date), section or page(s).

The article's recommended size is 3000–6000 words.

Review and Publication Time

Evaluation time for manuscripts of articles by blind peer reviewers is up to 3 months. All evaluated materials can be revised by the editorial board within 3 months after evaluation. Publication time for approved materials is within 3 months. Total publication time is up to 9 months.

Unsolicited book reviews are invited. The standard size of a review is 1 thousand words.

Подписка

Уважаемые коллеги. Наш журнал распространяется как в розницу, так и по подписке. Журнал выходит ежеквартально. Годовая подписка состоит из 4 номеров.

Кроме того, в настоящее время альтернативную подписку журнала осуществляют: «Интерпочта» (Москва), «Информнаука» (Москва), «Красносельское агентство «Союзпечать»» (Москва), «Пресс Инфо» (Казань).

Читатели могут также получить любое количество номеров журнала (от 1 до 4 в год), лично обратившись в редакцию.

Индекс в каталоге Респечати: **46318**

Адрес редакции:

109240, Москва, ул. Гончарная, д. 12,
стр. 1

Институт философии РАН

Телефон: (495) 697-9576

Факс: (495) 697-9576

Электронная почта:

journal@iph.ras.ru

Адрес издательства:

117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14,
корп. 2

ООО «Издательство «КноРус»

Тел./факс: +7 (495) 741-4628

Электронная почта: welcome@knorus.ru

Более подробную информацию см. на сайте журнала <http://iph.ras.ru/journal.htm>

Subscription Information

All potential subscribers from outside the Russian Federation or CIS countries must contact the editor: journal@iph.ras.ru.

Current rates for institutional subscribers: 270 USD per year, 80 USD per issue; for individual subscribers: 220 USD per year, 60 USD per issue.

For more information please see the journal's web page: eng.iph.ras.ru/journal.htm.

Вниманию подписчиков

Журнал «Эпистемология и философия науки» прошел перерегистрацию в Агентстве «Респечать» и с 1 января 2015 г. выходит под названием «**Epistemology & Philosophy of Science / Эпистемология и философия науки**». Все обязательства по подписке сохраняют свою силу, подписной индекс не меняется. С июня 2014 г. журнал входит в международную базу данных «Philosophy Documentation Center», которая будет обеспечивать open access журнала.

К публикации принимаются статьи на русском и английском языках.

**Epistemology & Philosophy of Science / Эпистемология
и философия науки. 2016. Т. XLVIII. № 2**

Главный редактор чл.-кор. РАН *И.Т. Касавин*
Заместители главного редактора: д-р филос. наук *И.А. Герасимова*,
канд. филос. наук *П.С. Куслий*
Ответственный секретарь: *Л.А. Тухватулина*

Подписано в печать 07.06.2016
Формат 60 × 100 ¹/₁₆. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Печ. л. 15,0. Тираж 800 экз. Заказ №

ООО «Издательство «КноРус»
Адрес: 117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2
Тел./факс: +7 (495) 741-4628
E-mail: welcome@knorus.ru

Адрес редакции: 109240, Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1
Институт философии РАН. *Тел.:* (495) 697-9576
Факс: (495) 697-9576. *E-mail:* journal@iph.ras.ru